# Ветер с океана

# Сергей Снегов

Галине Николаевне Ленской — жене, помощнице, первому критику

### Часть первая

### ПРИЗВАНИЕ

1

Ольга Степановна проснулась за час до того, как позвонил будильник. С минуту она лежала на кровати, всматриваясь в светлеющее окно, потом стала торопливо одеваться. Торопиться было незачем, до прихода судов, возвращающихся из зимней экспедиции в Северную Атлантику, оставалось больше трех часов; ночью она звонила диспетчеру, тот порадовал, что погода на Балтике хорошая, суда идут ходко, ни одно не отстает — к берегу подойдут точно в восемь утра. Но Ольга Степановна ничего не могла с собой поделать: ожидание встречи стало непереносимым, оставшиеся часы лучше было провести на пристани, а не в комнате.

Она подошла к окну. Тьма еще окутывала землю. По небу проносились белые облачка, они создавали иллюзию рассвета. В дверь осторожно постучали условным стуком. В комнату вошла Матрена Гавриловна, соседка по дому.

— Так и знала, что ни свет ни заря поднимешься, — сказала она. — Деток-то не разбудила?

— Их раньше девяти не поднимешь, — ответила Ольга Степановна. — В воскресенье в детский сад не надо, они любят выспаться. Так ты посмотришь их, Гавриловна?

— Посмотрю, посмотрю. А задержитесь в порту, умою и накормлю. Можешь идти спокойно. Я бы и сама пошла встретить Кузю, да мой старик говорит — не рыбацкое дело музыку и речи на берегу устраивать. — Она поспешно добавила, чтобы не обидеть Ольгу Степановну: — Я не к тому, чтобы ты не шла, ты иди, твое дело особое. Надо, надо муженька порадовать!

Гавриловна подошла к шифоньеру. На шифоньере стоял в вазе букет цветов — розовые и красные тюльпаны, синие гиацинты, белые с золотом нарциссы и — пламенным бордюром вперемешку с темно-зеленым папоротником — кольцо высоконогих гвоздик. В центре роскошного букета — главным его украшением — вздымали яркие головы три розы. Гавриловна восхищенно покачала головой. Она любила цветы, сама разводила их в маленьком садике при доме, но на ее участке не вырастало таких.

— Розы! — сказала она. — И где ты их достаешь, Степановна? Ведь только апрель, когда-то еще розы пойдут! Небось, половину мужниного аттестата на букеты убиваешь? Достанется тебе от Сергея Нефедыча!

Ольга Степановна радостно засмеялась. Сергей огорчился бы, если бы она встретила его без цветов. Сегодняшняя встреча в порту, к тому же, была юбилейной. Пошел седьмой год, как они поселились в Светломорске — за это время Сергей участвовал ровно в десяти промысловых экспедициях, сперва в Северном море — штурманом, потом в Атлантике — капитаном. И каждое свидание на берегу — какое бы ни было время года — с цветами. Она залюбовалась прекрасным букетом, он был лучше всех прежних, — как раз такой, чтобы отметить юбилейную встречу.

— Я пошла, Гавриловна! — Ольга Степановна тихонько, чтобы не потревожить детей, прикрыла дверь.

Солнце еще не взошло, но небо порозовело, на улицах уже было светло. В обычные дни Ольга Степановна побаивалась выходить в такую рань одна, в городе было полно разрушенных домов, в центре целые улицы лежали в развалинах — жестокие сражения последнего месяца войны мрачно напоминали о себе руинами. Ольга Степановна побаивалась развалин, поговаривали, будто в них скрываются бродяги и преступники. И хотя ни с ней самой, ни с ее знакомыми ни разу не происходило чего-либо плохого, а милиция, периодически производившая облавы в районах больших разрушений, обнаруживала почти всегда только мирных жителей, собственным усердием приспосабливающих под жилье комнаты в невосстановленных еще домах, недоброжелательство к руинам не выветривалось — даже днем, если надо было далеко идти, она выбирала дорогу подлиннее, но по восстановленным, оживленным улицам, чтобы не пробираться через разрушенные кварталы.

В дни возвращения рыбацких караванов страхи эти пропадали: город просыпался рано, автобусы и трамваи выходили на улицы не по расписанию, а всей массой, женщины и дети торопились в порт, на пристани выстраивался оркестр. И сегодня, чуть Ольга Степановна вышла и направилась по самой короткой дороге к рыбной гавани, ее стали обгонять другие женщины, подростки, пожилые мужчины.

На пристани было уже полно нарядно одетых людей. Оркестр, примостившийся на первом причале, начал опробовать свои инструменты. Ольга Степановна то и дело раскланивалась со знакомыми. Из города, сквозь частокол заводских труб, вырвалось солнце, красное, крупное, по темной воде канала побежало сияние — оркестр в честь солнца грянул «Катюшу». Две женщины заплясали в кругу зрителей на гранитной мостовой, протянувшейся вдоль причальной линии, их поддержали смехом и аплодисментами, какой-то лихой парень ворвался в круг и самозабвенно переплясывал женщин. Ольга Степановна услышала, как один проходивший мужчина громко сообщил другому, что караван уже два часа стоит у канала, но не дают «добро» на вход — вероятно, встреча часа на два запоздает. Встревоженная, она уже хотела пойти в диспетчерскую доведаться, так ли это, но ее остановил председатель рыболовецкого колхоза «Рассвет» Матвей Иванович Крылов, он тоже встречал своих рыбаков, возвращавшихся в составе каравана.

— Не волнуйся, Оля, все в порядке! — сказал он, посмеиваясь. Невысокий, наголо лысый, хотя ему еще не было пятидесяти, председатель колхоза был из тех, кто даже выговоры объявляет с улыбкой. А когда кто-нибудь при нем шутил, Крылов первый смеялся, и так заразительно, что все кругом тоже начинали хохотать. — Караван, верно, стоит у Балтийских ворот, просто поджидают отставшие немного суда, а как все соберутся, в полном параде пойдут по каналу. Ни на минуту не опоздают.

Крылов, прихрамывая — побаливала раненная в войну нога, — ушел в дальний конец пристани, а Ольга Степановна, успокоенная, ходила по второму причалу, именно здесь, так ей обещали в диспетчерской, ошвартуется «Кунгур» Соломатина. Народу все прибывало. И так как мало кто знал, где какое ошвартуется судно, встречающие сгущались всего больше на первых причалах, никто не торопился в дальний край пристани.

В порт въехала машина, из нее вышли Алексей Прокофьевым Муханов и Николай Николаевич Березов. Это были друзья Соломатина, а Муханов еще и сосед по дому. Березов сказал, показывая на букет:

— Конечно, самый роскошный! Везет же Сергею! Только его жена умеет доставать такие великолепные цветы. И за что ему выпало это счастье? Рыбак как рыбак — ну, может, немного покрасивей да поудачливей других. Пожалуй, еще поумней да подобрей.

— По-твоему, этого мало — быть покрасивей, поудачливей, поумней и подобрей других? А чего еще женщине желать от мужа? — Ольга Степановна, счастливая, наклонила лицо к букету, от цветов шел тонкий аромат. Соломатина хвалили часто и искренне, все признавали, что он и моряк выдающийся, и человек хороший. А она все не могла привыкнуть к похвалам по адресу мужа, каждая радовала ее, словно впервые услышанная, — Ольга Степановна краснела, сердце начинало учащенно биться.

Особенно приятно было, что хвалил Сергея Березов, а Муханов подтвердил его слова одобрительным кивком. В Светломорске Николай Николаевич Березов слыл знаменитым капитаном, только Михаил Бродис, пожалуй, мог померяться с ним морской славой. В прошлом военный моряк, а ныне заместитель управляющего трестом «Океанрыба», Березов первый осваивал промысел в Северном море, первый вел рыболовные караваны в Атлантику, на Нью-Фаундлендские отмели и к Фарерским островам, Соломатин, тогда выпускник Одесского шорского училища, семь лет назад попал третьим штурманом на траулер к Березову — и быстрое возвышение Сергея началось с того, что он увлеченно перенимал морское умение своего капитана, усердно постигал под руководством Березова сложное искусство кораблевождения. Березов, второй год трудившийся на берегу, часто говорил, что видит в Соломатине своего преемника и уверен, что ученик скоро превзойдет учителя.

Березов обвел рукой шумящую, заполненную нарядными рыбачками пристань.

— Праздник, Алеша! Лучший рыбацкий праздник — всенародная встреча с родными при возвращении в родной порт! А мы с тобой усердно работаем, чтобы сделать такие праздники невозможными. Тебе не жалко, скажи по правде?

Муханов пожал плечами. Невысокий, худой, немногословный, он любил отвечать на иные вопросы не так словами, как выразительными жестами. И сейчас молчаливое пожатие плеч сказало Березову и Ольге Степановне, что он и не подумает убиваться, если больше не будет таких праздников.

— Сухарь ты, Алеша! — весело объявил Березов. — Временами удивляюсь, за что тебя люблю. Нет, правда, морские нужды ты понимаешь превосходно, а морская душа тебе во многом, очень во многом — темна. У хорошего моряка есть слабости, с ними надо считаться, товарищ Муханов. А ты ни у кого не признаешь слабостей, ото всех требуешь совершенства.

Муханов показал на оркестр, отдыхавший после игры.

— Ты относишь это к радостям встречи, с которыми надо считаться? Оркестров, парада, огромной толпы, торжественных речей скоро не будет, это правда. А радостные встречи, цветы, поцелуи сохранятся, только перестанут быть такими многолюдными, превратятся в повседневные из квартальных и полугодовых. Счастье встреч не нарушится, оно будет интимней, но отнюдь не уменьшится. Против чего ты, собственно, возражаешь? Против своего собственного проекта превратить экспедиционный лов в круглогодичный?

— Ни против чего не возражаю. А утраты кое-чего жалею, правда, — ответил Березов со вздохом. — Пора кончать с караванами и экспедициями! Но, понимаешь, одно дело, когда в порт возвращаются через день по одному траулеру, и совсем другое, когда к пристани раз в квартал подходит целый отряд судов!

Ольга Степановна не вмешивалась в разговор. О том, что сезонный экспедиционный лов собираются превратить в круглогодичный промысел, говорили уже давно. Лишь недостаток квалифицированных моряков мешал перестройке промысла: суда выходили в океан не по мере готовности, а отрядами, которыми командовали самые опытные капитаны. В ожидании, пока сформируется караван, иные суда теряли недели, а то и месяцы. Сергей часто говорил жене, что разрешили бы ему идти в море, никого не дожидаясь, — он раза в полтора увеличил бы добычу.

— Когда же собираетесь покончить с караванами? — спросила она.

— Еще один, летний, отправим, а с осени перейдем на долгосрочный лов, — ответил Березов. — Теперь уже хватает капитанов, которым можно доверить самостоятельные океанские рейсы. А перед этим проведем одно важнейшее мероприятие. Подготовляем особый приказ. Вот шуму будет! Кто за голову схватится, кто кулаками замахает.

Ольга Степановна засмеялась. И об этом приказе она слыхала. В «Океанрыбе» собрались провести чистку среди моряков: пьяниц, нерадивых, недисциплинированных людей либо увольняли из треста, либо списывали в береговые команды и на сухопутные должности. Она сказала:

— Надеюсь, Сергея Соломина ваш страшный приказ не коснется?

— Не надейся, Ольга! — возразил Муханов. — В первую голову твоего Сергея коснется наш приказ. Отношение имеет к нему самое непосредственное.

— Вроде бы Сергей не пьяница, не озорник, не прогульщик, в неумении не обличен...

— Правильно. Но ты называешь одни отрицательные признаки. А есть и более важные — положительные: опытен, талантлив, настоящий морской пахарь. Придется учесть и эти его свойства.

— В общем, жди перемен! — добавил Березов и громко засмеялся.

Оба, похоже, ожидали радостных расспросов, а у нее тоскливо стеснилось сердце. Алексей Муханов, секретарь парткома «Океанрыбы», местный старожил, как и Березов, — оба воевали на этой земле и остались на ней жить — недели две назад дал понять при встрече, что Сергею прочат повышение., Она догадывалась, что за повышение готовят мужу. Она не желала перемен, какие оно могло вызвать в их семейной жизни, но поостереглась откровенничать с Мухановым. Об этом человеке, на редкость, честном, до резкости прямом, правильно сказал его друг Березов: Муханов не сочувствовал человеческим слабостям. Он, Ольга Степановна в том и не сомневалась, сурово осудит ее желания, объявит вздорными ее чувства, со всей своей неизменной резкостью отвергнет планы, какие она втайне вынашивала. До решающего разговора с мужем Алексею нельзя было и намекать на то, что она задумала. И она постаралась увести разговор подальше от опасной темы.

— Я слышала от Марии, что в вашей семье ожидается пополнение? — сказала она Муханову. — Когда приезжают гости?

Надолго сюда?

— Не гости, Оля. Свои, родные — отец и брат... И не на — время, постоянно жить здесь.

И, отвечая на новые вопросы Ольги Степановны, Муханов объяснил, что отец третий год на пенсии, на работу устраиваться не будет, писал в последнем письме, что мечтает о хорошем отдыхе — посидеть дома с книжкой, в саду поковыряться, по хозяйству помочь Марии, за внуком присматривать... С братом — сложней. Миша бредит морем: написал, что хочет немедленно в Атлантику. Ему вообразилось, что выход в море совершается так: явился, поздоровался за руку с начальником отдела кадров и тут же выбирай судно, которое по душе. А для него получение разрешения к загранплаванию, и само по себе дело хлопотное, будет трудней, чем для любого другого. Он молодой, всего двадцать три года, но с детства рос взбалмошным и своенравным, с родными и сверстниками — дерзок. Упрям, непослушен, к обычной дисциплине относится, как к несносному ярму...

— В общем, из тех, кого стали теперь называть трудными детьми, — сказала Ольга Степановна.

Муханов кивнул. Точно, трудный. Матери в войну от младшего сына досталось. Нелегко пришлось и отцу, когда тот после победы возвратился домой. Теперь Миша рвется в море, а каков будет в море? Народ на судах разный — попадаются и забулдыги, озорники, забубённые головушки, великие истребители спиртного... К кому он пристанет? Среди кого найдет приятелей?

— Жените Мишу поскорей, — посоветовала Ольга Степановна. — Семья укрощает самых своенравных, дисциплинирует самых диких. Вероятно, Миша весельчак и охотник до девушек. Таким вредно засиживаться в холостяках.

— Да нет, ты ошибаешься, Оля, — сказал Муханов. — Совсем Миша не весельчак, скорей даже мрачен, а не весел. Порывист, нетерпелив, это правда, а на гулянки не охоч, выпивает, конечно, но к пьянкам не пристрастился. То же и с девушками — особенно не увлекается. Не то, чтобы настоящей любви, далее подружек пока не заводил. Отец писал: «Нет в нашем городке подходящих для него, так Миша объясняет свою неподатливость».

— Здесь поддастся, — уверенно предсказала Ольга Степановна. — Особенно, если будет ходить в море. Моряк и любовь — понятия неотделимые. Не думаю, чтобы твой Миша явился тут исключением. Но на время он тебе с Марией жизнь осложнит.

— Пусть осложняет, только бы на пользу ему пошло. Признаюсь тебе, я сам позвал сюда отца с Мишей, когда узнал, что Миша мечтает о море. Но только просил о моем приглашении ему не говорить, чтобы не вообразил, что едет на все готовенькое. Хотелось, чтобы инициатива переезда исходила от него самого и чтобы он сам, без протекций боролся за свою судьбу.

Ольга Степановна засмеялась, Муханов посмотрел на нее с удивлением.

— Ужасно похоже на тебя, Алексей, — объяснила она. — Всегда ты стараешься показать себя хуже, чем есть. Уверена, что думаешь о брате больше, чем сам он о себе думает, а представляешь дело, будто чуть ли не равнодушен. Готов опекать его больше отца, но страшишься, что это заметят.

— Помогать готов, опекать не буду. Говорю тебе, он сам должен бороться за то, чтобы стать на хорошую дорогу. А иначе, что это за жизнь — всюду с чужой помощью, на наставлениях, как на костылях?..

Березов, прогуливаясь по пристани, пытливо осматривал причалы, лицо его становилось хмурым. Муханов поинтересовался, что беспокоит друга. Березов ответил, что суда придется ставить в три-четыре нитки вдоль причалов, впритык борт к борту — о нормальной разгрузке и думать нельзя. Да и половину ширины канала заполнят траулеры, осложнится движение других судов из гавани в море и с моря в гавань.

— Сколько нам еще мучиться без своего рыбного порта? — сказал он с досадой. — Пока разговоры да разговоры, утрясают ассигнования, уточняют проект, а строителей и не видать. Хоть бы площадку расчищали, все было бы как-то легче.

Он показал рукой на противоположный берег канала. Ольга Степановна тоже смотрела в ту сторону. Во всем Светломорске, вероятно, не было места более унылого, чем тот низкий, захламленный, заболоченный берег. Темная вода накатывалась пенными валами на пустынный песок. Ольга Степановна знала, что там собирались выстроить самый крупный в стране рыбный порт — километровой длины молы, бетонные пирсы, гигантские склады, клубы и скверы. Но никаким усилием воображения она не могла оживить эту городскую окраину, эту болотистую пустошь противоположного берега. А Березов и Муханов заговорили о еще несуществующем рыбном порте, как о чем-то реальном, Березов не соглашался с намеченной емкостью складов, складов не хватит для приема всей привозимой из океана продукции, да и пирсов будет маловато, надо бы удлинить причальную линию хотя бы на полкилометра. Он с таким оживлением доказывал недостатки проекта, так тыкал рукой то в одно, то в другое место, словно и не было в той стороне низкой пустынной окраины, а стояли дома и тянулись высокие молы и пирсы. Они с увлечением говорили об этих несуществующих постройках, как о чем-то реальном, а она видела только низкий, серый берег, темные волны, накатывающиеся на песок...

— Ты прав, конечно, — сказал Муханов. — Но подумай и о том, что любая новая переделка проекта задержит его выполнение. Синица в руках лучше журавля в небе! Тем более, что и обещанное нам — грандиозно. — Он посмотрел на часы. — Уже, идут по каналу, скоро появятся передовые суда. Идем к трибуне. Ты с нами, Оля?

— Нет, у меня свое место, всегда встречаю Сергея там.

Березов и Муханов направились к маленькой трибуне, возведенной на причале, где расположился оркестр, а Ольга Степановна еще некоторое время ходила вместе с другими встречающими. Затем толпу охватило возбуждение, с дальних причалов закричали, что показались суда. Все стали тесниться к воде, а Ольга Степановна отошла назад, перебежала мостовую, поднялась на прибрежный холм. Отсюда ей хорошо был виден канал. Она знала, что и с подходящих судов этот холм виден. Из канала выплыл первый траулер, в толпе закричали, что идет «Звенигор» Бродиса. В кильватер «Звенигору» вымчалась «Березань» Новожилова. А затем показался третий траулер, его появление встретили дружным криком: «Соломатин идет, Соломатин!» У Ольги Степановны забилось сердце, она высоко подняла букет, радостно махала цветами, упоенно повторяла вместе с другими: «Соломатин идет!»

Оркестр грянул марш.

2

Поезд не подъезжал, а подползал к городу. Прокофий Семенович Муханов с сыном молча глядели в окна. Открывавшийся за окном пейзаж угнетал. С левой стороны поблескивало болото, с правой громоздились развалины заводских корпусов и жилых домов. Приближавшееся здание вокзала тоже не радовало: вокзала, собственно, не было, было переплетение ферм и колонн, железный каркас некогда стеклянной крыши, продырявленные снарядами стены. Только очищенная колея светила полосами рельс, да на перроне выбоины были заделаны кирпичом.

Впечатление разрухи пропало, когда поезд остановился. На перроне суетились встречающие с цветами. Их было так много, оживленных, празднично одетых мужчин и женщин, они так толкались, протискиваясь к своим, восклицания были так громки, что ничего уже не замечалось, кроме радостно гомонящей толпы. Так встречают только поезда дальнего следования.

Миша заметил среди встречающих Алексея и прыгнул на перрон.

— Чертушка! — кричал Миша и в восторге то тряс, то обнимал брата. — Ну, такой же, не переменился!. Алексей поцеловался с братом и отцом. Прокофий Семенович опросил, где стоят такси, вещей много, надо бы и носильщика.

— Вот еще — носильщика! — возмутился Миша. — А мы с тобой на что? И Алеха вроде с руками!

Он влетел в вагон и появился с чемоданами. Прокофий Семенович вытащил два баула. У вагона выросла горка багажа. Алексей огорченно смотрел на вещи.

— Машины не будет, отец. Моя служебная в ремонте, а такси вряд ли поймаем, их у нас пока мало.

Муханов покачал головой. Алексей стоял сутулый, серьезный, у него было виноватое лицо. Прокофий Семенович ласково дернул старшего сына за плечо.

— А далеко ли до тебя?

— На площади сядем в автобус. Живу я, в общем, далековато.

Толпа приехавших и встречающих валила в туннель. По опустевшему перрону прохаживался милиционер, носильщиков не было. Прокофий Семенович со вздохом взял чемодан потяжелее. Миша отнял чемодан и вручил отцу баул. Алексей спустился в туннель. В туннеле было темно и сыро, сквозь трещины в стенах просачивалась вода. Муханов спросил, неужели и здесь шли сражения — повреждения словно бы от взрывов. Алексей ответил, что бои в городе шли в воздухе и на земле, в подвалах и на крышах.

На вокзальной площади повторилось, только в обратном порядке, впечатление, испытанное, когда поезд остановился у перрона. Сперва Мухановы попали в людской водоворот — и снова ничего не видели, кроме радостных лиц и негромко рычащих машин. Высокий мужчина зычно кричал в мегафон: «Кто по переселению, прошу в наши автобусы!» Один за другим два автобуса наполнились и отъехали. В другой стороне взывала женщина: «Товарищи с курортными путевками, сюда, сюда, в машину санатория!» — к ней тоже шли. Через несколько минут площадь стала пустеть.

И тогда Мухановы увидели, что вокруг изуродованного вокзала громоздятся руины домов. И противоречие между радостной толпой, сновавшей по площади, и грядой мертвых зданий, окаймлявших площадь, было так кричаще, что Прокофий Семенович опустил, пораженный, наземь баул. Последние машины отъехали, уже никого не оставалось перед вокзалом, а Муханов все осматривался.

Потом он сказал с упреком:

— А писал — хороший город! Где город, Алеша? Кладбище зданий...

Алексей пожал плечами.

— Этот район еще не восстанавливали. Там, где я живу, лучше.

— А трамваи у вас ходят?

— Ходят вообще-то...

— Что значит — вообще ходят? А конкретно?

— Час назад движение трамваев через главный мост прекращено. Воинская часть ведет неподалеку какие-то раскопки. Автомашинам предписано идти в обход по дальним мостам.

— Ты сказал — сядем в автобус здесь на площади.

— Я не ее имел в виду. У нас имеется другая, главная — площадь Победы. Все ее зовут просто площадь. Там центральная автобусная станция.

— Значит, пешком до нее? Если в километрах, то сколько? Пять, шесть?

— Ну, зачем же? Километра два.

Мухановы шли по узкой улице. Когда-то ее образовывали многоэтажные дома. Сейчас это был туннель между их остовами и грудами битого кирпича. Брусчатая мостовая, чистенькая, прочеркнутая двумя трамвайными узкоколейками, опускалась вниз. Шальная зелень покрывала нагромождения щебня и бетона, на стенах, лишенных крыш, покачивались молодые березки. Ветер шумел в развалинах. Прокофий Семенович сказал, что город разрушен, но не грязен — идеально подметенные руины!

Алексей объяснил, что дожди смыли пыль, а что осталось, то защищено от размыва разросшейся травой. Сейчас они идут по бывшему центру, здесь не было ни деревьев, ни садов — склады, храмы, доходные дома. Зато и разрушения здесь огромные: английские самолеты дважды превращали этот район в сплошное пожарище.

— Больших боев в центре было немного, — закончил Алексей. — По этой улице я после захвата вокзала проскочил на бронетранспортере без выстрела до набережной. А у реки сражение шло трудное...

— Сколько камней наломали! — Отец вздохнул.

Алексей рассеянно оглянулся по сторонам — и видел, и не видел руины. Расспросы отца возродили воспоминания о том, как он впервые вышел на эту улицу. Он сказал, что проскочил ее без выстрелов, и верно — выстрелов не было. Зато было пламя, перекрывшее улицу. Пламя рвалось из окон, мощные языки выбрасывало как под давлением. Бронетранспортер остановился, Алексей всматривался в огненную завесу. Надо ехать дальшей, а что там? Широк ли очаг пожара? Удастся ли проскочить?

— Рискнем на один глаз, товарищ майор? — предложил водитель. Водителя, отчаянного паренька, ничто не страшило. И сквозь завесу огня он тогда проскочил, и еще из десятка опасных положений выкарабкался в этот день, а на другой, в дымное апрельское утро, погиб от шальной пули — за час до полного прекращения огня.

— Давай! — сказал Алексей, и бронетранспортер ринулся в пламя.

Оно оказалось нешироким, всего два дома соединил пламенный мост, вот эти два дома — две горки наваленных кирпичей...

А за ними снова была пустынная улица, брошенные жителями дома, склады, склады, склады...

Развалины улицы вплотную подступали к реке. Вдоль нее в прошлом тоже тянулась улица, сейчас лишь груды бетона и кирпичных блоков заваливали набережную. Из руин вздымались стены кирх: церковные постройки были прочнее жилых. Только у моста через реку поднималось неразрушенное затейливое здание с колоннами и лепными украшениями. Издали оно казалось совсем целым, но когда Мухановы подошли поближе стало видно, что внутри оно выгорело.

— Прежде здесь помещалась биржа.

Прокофий Семенович прошел через мост и остановился. Со стрелки острова, где сливались два рукава реки, открывался фантастический вид. На западе мертвое переплеталось с живым, среди развалин вставали восстановленные дома, дымили заводские трубы, виднелись мачты судов, а берега реки соединял исполинский портальный кран. И оттуда, несмотря на ранний час, доносились свистки паровозов, гудки пароходов, сопение паровых машин.

На север и на восток простирались нагромождения развалин. Черным силуэтом на фоне посветлевшего неба вздымались руины собора. На невысоком холме поднимал черные стены древний замок — массивный камень надменно нависал над обвалами домов, башни с бойницами высились по углам, за оградой устремлялась вверх колокольня, четырехугольная призма с конической головой.

Мухановы свернули налево. Мостовая, единственное, что осталось от улицы, прихотливо вилась в нагромождениях кирпича, повторяя обводы замкового холма. Алексей показал рукой вперед.

— Вот и площадь Победы, отец.

Площадь была странная: обширное пространство, окруженное руинами зданий, массивных, многоэтажных, вылупивших пустые глазницы окон и распахнувших, как рты, провалы парадных входов: только два дома, восстановленные или непострадавшие, высились живыми четырехэтажными фасадами.

А то, что происходило на площади, опять, как и на вокзале, поражало все тем же противоречием кипящей жизни и мертвечины руин. Час был ранний, солнце только всходило, а на площадь въезжали с разных сторон автобусы, из машин вылезали колхозники с корзинами, женщины с сумками и кошелками, мужчины с портфелями, моряки в форме. Машины, предупреждающе гудя, поворачивали и уходили, быстро пропадая в извилинах почти десятка улиц, сходившихся к площади.

— Недалеко центральный рынок, — пояснил Алексей. — Здесь жизнь начинается рано.

Прокофий Семенович в автобусе занял место у окна, рядом поместился Миша, позади — Алексей. Автобус мчался по неровной — где широкой, а где резко сужающейся — улице, она, видимо, была главной — на перекрестках светили вывесками магазины, — потом свернул на широкий проспект, снова углубился в кривульки старых улиц. Сердце Прокофия Семеновича отходило: с каждым новым кварталом город преображался, разрушений становилось меньше, появлялась зелень, кустики сменялись деревьями, деревья мощными стволами выстраивались вдоль тротуаров, темными кронами перекрывали мостовые.

— Да это сад! — воскликнул Прокофий Семенович, когда они вышли из машины.

Это был, конечно, не сад, за стволами деревьев проступали двух- и трехэтажные дома, но могучие липы, каштаны и клены оттесняли здания — те пропадали в глубине, затененной нарядными великанами.

Алексей направился в зеленый туннель, образованный двухобхватными каштанами. Вскоре показался штакетный заборчик, калитка, двухэтажный дом в глубине сада, кусты сирени перед домом.

— В особняке живешь, как фон-барон, — со смехом сказал Миша.

Алексей пожал плечами. Таких фон-баронов четыре семьи в их доме. — По лестнице ходите осторожней, она шатается.

Железная лестница не только шаталась, но и звенела. На первом этаже заскрипела дверь, пожилой мужчина с рыжей щетиной на щеках высунул голову, что-то приветливо проговорил, — Алексей обернулся и молча кивнул. Навстречу гостям вышла Мария Михайловна, жена Алексея.

— Принимай гостей, Мария! — Прокофий Семенович расцеловался со снохой. — А внук где?

— Спит. Входите смелей, ему скоро просыпаться. Прокофий Семенович вошел первый, сел на диван, иронически поглядел на Алексея.

— Хоромы! В письмах они были как-то привлекательней! Комната, большая, высокая, на два окна, казалась убогой от наполнявшей ее старой мебели, двух примитивных олеографий на стенах — на одной в лесу слонялись олени, на другой эти же олени спасались от охотничьих псов — а всего больше от несоразмерно мощного, на толстых тумбах, стола. Почти треть комнаты занимала дубовая кровать с высокими спинками и бортами, как на корабельных койках.

Пока сыновья вносили вещи, Прокофий Семенович прошел в другую комнату. Она была поменьше и потемнее — деревья за окнами заслоняли листвой небо. В кровати лежал мальчик лет десяти. Прокофий Семенович с нежностью наклонился над ним, осторожно поправил подушку, погладил волосы — Юрий, внук, трудные 1947—48 годы еще несмышленышем прожил у деда с бабкой, тогда еще живой, пока Мария с Алексеем после демобилизации обживались в новом городе. Расставание с внуком бабка пережила тяжело, Прокофий Семенович тоже тосковал — тогда и появилась мысль переехать на постоянное жительство к старшему сыну, чтобы больше не расставаться с внучонком. Но выполнить эту задумку Прокофию Семеновичу удалось лишь после смерти жены.

— Будить его надо, а не гладить. — Алексей хотел потрясти сына за плечо, но Прокофий Семенович отвел его руку.

— Тебя будить надо, а не Юрку, — сказал он, когда они возвратились в большую комнату. — Так всю эпоху проспишь, сынок. Ну у кого ты сегодня увидишь такую рухлядь? Здоровый быт — Здоровый дух, помнишь, как я учил тебя еще мальцом? Насчет быта твоего — эх и ох!

— Не до мебели, отец, — серьезно ответил Алексей. Он все воспринимал серьезно, даже остроты. — Столько времени берет работа... Выискивать мебель по магазинам нет физической возможности.

— Возьму на себя реконструкцию вашего быта, — решил отец. — Боюсь, если ты будешь ходить по магазинам, толку все равно не получится.

Мария расставляла на столе тарелки и рюмки.

— Ругаете Алексея? — сказала она одобрительно. — Вот уж муж достался! Все знакомые роскошествуют в новых квартирах, а Муханов как попал в это логово, так и не выбирается.

— А ты смени мужа, — посоветовал Прокофий Семенович. — Зачем с неудачником жить?

— Я бы сменила, да сын противится. Не знаю, чем он его приворожил к себе.

Она смеялась, с веселой нежностью глядела на молчаливого мужа. Мало было людей, так привороженных друг к другу, как эта пара — Алексей и Мария. В их семье организующим началом была она, Алексею досталась роль помощника при властном хозяине. Над ним здесь беззлобно посмеивались — с пониманием и уважением — и любили.

— Я ухожу, — сказала Мария. — Вчера оперировали пожилого больного, ночью он спал плохо. Два раза давали кислород. Возможно, приду поздно, управляйтесь без меня.

— Управимся, — пообещал Прокофий Семенович. — А ты тоже после завтрака уходишь, Алеша?

— Часок могу задержаться.

— Отлично. Расскажешь, что нового в твоем тресте. Ты мне писал, но письмо — одно, живое слово — другое.

После завтрака Миша с проснувшимся Юрой стал распаковывать багаж в отведенной ему с отцом третьей комнатке. Прокофий Семенович уселся со старшим сыном на диван в гостиной. Алексей рассказывал, как идут дела в «Океанрыбе», что за новые люди появились у них, какие вступили в строй новые суда, как меняются задачи треста. Прокофий Семенович любил такие разговоры с Алексеем, при встречах — раньше они велись только, когда Алексей с Марией приезжали в отпуск в его родной городок, — он всегда заставлял сына подробно рассказывать о своих делах. Суховатый старший сын, рассказывая, менялся. Он как бы загорался — не сразу, не с первых слов, увлеченность его не выплескивалась наружу, она таилась где-то внутри — лишь слегка оживляя рассказ внутренним жаром. Посторонние люди, и не заметили бы, что деловая информация постепенно превращается в живое повествование, Алексей, и увлекаясь, не позволял себе пышных слов, жесты оставались такими же скуповатыми и четкими, но чуткое ухо Прокофия Семеновича отмечало меняющиеся интонации в голосе.

Алексей говорил о том, что в истории их рыбодобывающего треста открывается новая глава, он бы назвал ее индустриализацией океанского промысла. Они, наконец, кончают с остатками кустарщины, отказываются от древнего фарта, от расчета на авось, на везение. Промысел становится разновидностью промышленного производства. Предпосылки для этого созданы — построены суда, о которых прежде и не мечтали, воспитаны высококвалифицированные кадры мореходов, изучены районы промысла... По существу, одно осталось: очистить их рыбацкий коллектив от всего изжившего себя, от стихии недисциплинированности, от рвачей, пьяниц, прогульщиков, лежебок. В начальные годы кадров не хватало, после войны за каждого работника хватались, на многие недостатки закрывали глаза. Теперь будем очищать коллектив от сора.

— Готовится приказ об укреплении дисциплины на судах, — закончил Алексей. — Около пятидесяти человек будет уволено, больше ста понижено в должностях, переведено на берег. Соответственно выдвигаются вперед достойные люди.

— Сегодня вечером рано придешь, Алеша?

— Рано не обещаю.

Алексей ушел в трест. Отец убрал со стола, вымыл на кухне посуду и выбрался наружу.

3

Прокофий Семенович обошел дом, вышел на улицу, снова вернулся в сад. Дом был кирпичный, потемневший, давно не ремонтированный. Под полом имелись подвалы, сухие, светлые и столь обширные, что их хватило бы на иной магазин, а над двумя этажами нависала красная черепичная кровля, такой высоты и так выступавшая над стенами, что дом исчезал под ней. Угрюмый и насупленный, дом словно бы надвигал крышу, как исполинский шлем, на подслеповатые глаза окон. Дом и привлекал и отталкивал, в нем были удобства и что-то чуждое спокойной жизни. Не нашего бога черт, решил Прокофий Семенович.

А сад ему понравился — небольшой, сотки на три, густо засаженный ягодными кустами и плодовыми деревьями. Прокофий Семенович увидел и малину, и крыжовник, и смородину — черную и красную, — и клубнику, а меж ними — кривобокие яблоньки, две груши, две сливы, с десяток вишен и даже алычу, редкое деревце, не по географической широте. И над всем этим фруктовым изобилием два пирамидальных тополя взметались вверх, а в углу сада покачивалась на несильном ветру березка, до того стройная и изящная, что Прокофий Семенович, растрогавшись, сперва нежно похлопал ее по коре, а потом обнял — больше всех деревьев он любил березу. Неподалеку от неё стояла скособочившаяся скамейка. Он осторожно присел, скамейка скрипнула и зашаталась. Впереди, полукругом на единственной в заросшем саду полянке, куда свободно проникал солнечный луч, теснились розовые кусты, на иных уже появились бутоны. Воздух в саду был пряный, чуть терпковатый, с ароматом молодых трав и влажной коры. Ветер с запада усилился, сад зашумел, кусты зашевелились, яблоньки и вишенки переплетались ветвями, алыча шарила длинной ветвью по стене дома и скрипела, въедливый скрип как бы перерезал все иные звуки. В воздухе возникли новые запахи, не от растений, Прокофий Семенович ощутил холодноватую сырость, воздух из мягкого вдруг превратился в жесткий.

— С приездом, Прокофий Семенович! — проговорил приветливый голос. Между яблонями показался пожилой человек, недавно выглядывавший из нижней квартиры. — Сосед буду, Куржак мне фамилия. Петр Кузьмич Куржак, будем знакомы.

Прокофий Семенович передвинулся на край скамейки, Куржак присел рядом. Он был невысок, узкоплеч, узкогруд, весь какой-то заросший, какими бывают лишь старые пни: огненно-рыжая щетина покрывала и голову и лицо — здесь она подбиралась к глазам, лишь острый нос вылезал из волосяных зарослей, — и оголенные по локоть руки, и грудь, видневшуюся в распахе темной косоворотки. «Бородатые руки», — с насмешливым удивлением определил Прокофий Семенович соседа. А среди этого волосяного богатства светили такие яркие и такие добрые голубые глаза, и с губ не сходила такая дружелюбная улыбка, что Прокофий Семенович сразу почувствовал к соседу расположение.

— Слыхали, слыхали про вас. — Куржак говорил с белорусским акцентом, беля звук на «а», как называют такой выговор певцы. И голос его, глуховатый, неторопливый, тоже был располагающим. — И Мария, и Юрка, и сам Алексей Прокофьевич — все одно: вот скоро наши приедут, вот скоро наши... И приехали. И как же, нравится у нас?

Прокофий Семенович заговорил о разрушениях, нигде он еще не видал столь страшного нагромождения развалин — ужасна, ужасна была здесь война! А вот зеленые улицы их района и эти низенькие домики в садах нравятся, здесь легко дышится. И единственное, что поражает, он скажет сильнее — возмущает, так это пренебрежение жителей, к своему жилью. Этот дом, к примеру, он же давно нуждается в ремонте.

— Сколько ругались в домоуправлении, им трын-трава, — равнодушно сказал Куржак. — Живете — и живите, вот их сказ. Силы брошены на восстановление, не до ремонтов.

— Сами жильцы, значит, должны поработать, не ожидая милостей от дяди из домоуправления! А сад? Это же черт знает что, каждый клочок земли, каждая ветка молит о помощи. Здесь нужно немедленно браться за лопату, за кирку, за садовые ножницы.

Куржак кивал кудлатой головой — точно, живем в захламленности, надо, надо приукрасить жилье. Но Прокофий Семенович угадывал в его вежливых кивках, что соседа не интересовали ремонт и расчистка.

— Ветер с Атлантики, — сказал Куржак. Он всматривался в реденькие белые тучки, побежавшие по белесому небу, вслушивался в шум деревьев. Прокофий Семенович с досадой установил, что к звукам, наполнившим сад, сосед прислушивается внимательней, чем к его словам.

— С Балтики, — поправил Муханов. — До Атлантического океана тридевять земель и морей.

— С Атлантики ветерок, Прокофий Семенович. Муханову захотелось подразнить соседа.

— По запаху узнаете? Или на язык? А может, на слух?

— И по запаху. На вкус — посолоней будет. И что на слух, так еще верней, голос у дальнего ветра свой. Кабы и не передали по радио, что ждать циклона, узнал бы сам.

— Кто вы по профессии?

— Рыбаки мы. И я, и сынок, Кузей зовут, Кузьма Петрович, в деда имя. Я на заливе бригадирствую в колхозе, а Кузя в океан ходит, даль — голова кружится! Матрена Гавриловна, жена моя, иначе не высказывается: мужики мои — мастера-мореходы. Ну, хватает лишку, где нам в мастера!

— И до Светломорска рыбаком были?

Нет, до Светломорска Куржак о море и не мечтал. Родился в Мозырьских лесах, глушь, болота, сосед от соседа — выстрела не услыхать. Там и вырос, и женился, и с Матреной Гавриловной начали Кузю растить, и уже оба думали, что в чащобе и голову в домовину положат — нет, война все перевернула! Все было в войну — и окружение, и выход к своим, и госпитали, а в сорок пятом, весной, наступали на Германию, неподалеку от этих мест — вырвались на берег моря. По глазам резануло — мать же честная, до чего широко!

— После леса море поражает...

— Разбило душу! Только жаль, у моря побыли всего два дня — бросили нашу дивизию на юг.

— После демобилизации вернулись сюда?

— Где там! Подался к себе. Три года маялся на пепелище, домишка живого не осталось...

И Куржак рассказал, что в сорок восьмом году у них появился вербовщик из Светломорска, и как стал уговаривать перебираться, и как он первым записался в переселенцы в полеводческий совхоз, и как выдали ему тут же две тысячи рублей — сроду таких денег руки не держали, — и как приехал, а здесь — бери, пожалуйста, домик, крепость просто, огород, корова породистая — лучше не надо, десять мешков картошки до нового урожая. И как он вышел на залив и смутился душой: не тянет в совхоз, в поле и на огороды, и в тот добротный дом. Море — глаз не оторвать! И как нашлись добрые люди, быстренько переадресовали путевку на рыболовецкую артель, приняли на себя и авансы, и картошку, и жилье предложили другое, а корову возвратил — так и стал рыбаком.

— Сынок ваш, Алексей Прокофьевич, в этом деле помог, — с чувством сказал Куржак. — Ой, как помог — век его благодарить!.. — Он помолчал. — Одно горе — образования не набрал. Пять классов... На Балтике промышлять не доверяют, шастаю по заливу, один год у одного берега мои ставники, второй год у другого.

— Сегодня не промышляете?

— Катер на ремонте. Моя бригада такая: если выход не запретили — и цепью не удержать. Отчаянные на рыбалку!

Из дома вышли Миша с Юрой.

— Идем в трест «Океанрыба», — сказал Миша. — Юра покажет дорогу. К обеду не ждите, перекусим где-нибудь там.

4

До площади ехали в автобусе, дальше пошли пешком.

Дорога от площади в порт походила бы на аллею, если бы с левой стороны в гуще деревьев не проступали руины зданий — там, по словам Юры, находились остатки астрономической обсерватории. Мишу заинтересовал форт из красного кирпича с бойницами и орудийными амбразурами. Он стоял на пересечении двух улиц, так хорошо вписанный в обе дороги, словно это был жилой дом, а не грозный механизм разрушения. Парк набегал на форт, поднимался на его крышу, прикрытую двухметровым слоем земли — рослые каштаны и липы возвышались над сводами. На стене висела надпись, что строение — памятник архитектуры и охраняется государством.

Метров через сто Миша остановился перед новым памятником. Это была братская могила. Тысяча двести человек нашли здесь вечное упокоение, гласила надпись на обелиске, фамилия каждого убитого была высечена отдельной строчкой на гранитной плите. Вечный огонь трепетал у входа. У одной из могильных плит стояла женщина в темно-сером платье. Миша вполголоса читал номера дивизий: 18-я, 25-я, 84-я, 83-я, 31-я...

— Простите, — сухо сказала женщина, Миша по рассеянности толкнул ее.

— Вы меня извините! — поспешно проговорил он. Женщина медленно прошла мимо. В ее облике было что-то необычное, Миша не сразу сообразил что, и лишь когда она отошла, понял: весь облик женщины гармонировал с величественной печалью братской могилы, она сливалась с этим местом так, словно сама была живой деталью памятника. Остальные посетители были просто посетителями, людьми со стороны.

Он раза два оглядывался, пока они с Юрой обходили памятник. Женщина не торопилась уйти. На улице Миша потянул Юру назад. Женщина его заинтересовала. Она показалась очень красивой.

Она сходила со ступенек памятника, когда Миша подошел к ней. Он сдернул кепку, его лицо стало развязно-льстивым. Он часто напускал на себя такое притворное выражение, когда разговаривал с девушками: оно, казалось ему, вполне подходило для знакомства.

— Разрешите словечко? Надо кое о чем поговорить. Женщина холодно взглянула на Мишу.

— Мне — не надо. — У нее был низкий, звучный голос.

— Все-таки позвольте пару слов.

Миша загородил дорогу. В глазах женщины вспыхнул гнев.

Миша, поправляя неудавшееся начало, заговорил серьезней. Он приехал с отцом к брату Алексею Муханову, квартирка у брата маленькая. Нет ли в городе желающих сдать комнату смирному холостяку?

— Алексея Прокофьевича я знаю, — сказала женщина. — Так вы его брат?

— Михаил... Можно и Мишей звать, не обижусь. Она сказала с прежней холодностью:

— Если что узнаю о квартире для вас, сообщу Алексею Прокофьевичу. А теперь разрешите пройти.

— Характерец, — вслух сказал Миша, когда она ушла. — А внешность — ничего, только старовата. Лет около тридцати.

— Посмотрите еще парк за памятником, — предложил Юра. — Очень красиво там.

Они прошли за памятник в подступивший вплотную парк. Гранитная лестница спускалась вниз к ручью, Миша присел на ее ограду. Теплый ветер метался в кронах огромных, в два обхвата, лип и вязов, каштанов и дубов. В нескольких шагах отсюда царила торжественная тишина вечного человеческого упокоения, а здесь гомонила весна, все поглощалось ее голосами — грохотом падающей воды, свистом и треньканьем птиц, влажным шумом лип и дубов, — каменная неподвижность надгробий сменялась суетливым трепыханием распускающихся листьев, порханием пичужек. Миша задумался. Он вдруг с болью ощутил, как много людей похоронено в братской могиле. Он как бы видел их, какие они были перед смертью — высокие и низкорослые, все в военной форме, все с оружием в руках...

А ведь многие были моих лёт, были и моложе меня, думал он...

— Мне пора идти в школу, дядя Миша, — сказал Юра. — Вы теперь сами дойдете до «Океанрыбы». Она в конце этой аллеи, никуда не надо сворачивать.

5

«Океанрыба» размещалась в двухэтажном доме на пристани. Миша из тихого парка вдруг попал в толчею людей и машин. По набережной мчались грузовики, у домов стояли такси и служебные машины, по площади ходили мужчины в морской форме — площадка перед зданием шумела человеческими голосами, оглушала гудками, визжала тормозами.

Рыбную пристань заполняли вернувшиеся с промысла, разгружающиеся суда, и суда, готовящиеся идти на промысел. Куда ни обращался взгляд, всюду виднелись трубы и мачты, всюду к причалам жался рыбацкий флот, в три-четыре ряда заполнивший узкую водную дорогу — ОРТ, средние рыболовные траулеры.

Миша шел по набережной, вслух читая названия судов. «Кунгур», «Марс», «Воргуза» — прочитал он в одном ряду; «Рында», «Румб», «Медведица», «Поронай» — читал он в другом; а названия тех, что были дальше, он уже не видел и все шел, чтобы прочитать, что у них написано на корме.

Над судами вращали стрелы башенные краны, в воздухе проносились стропы с бочками, заливались предупреждающие звонки, то на пристани, то на палубе раздавалось протяжное: «Майна», «Вира», «Майна помалу!» От бочек с сельдью, от сетей, горками уложенных на палубе, от судов, от автомашин, нагруженных выше бортов и тяжело отваливающих от причалов, даже от булыжника улицы, приткнувшейся к набережной, несло пряным духом рыбы и водорослей, горелого машинного масла и моря.

— Океан! Пахнет океаном! — восхищенно пробормотал Миша.

Миша загляделся на траулер в третьем ряду. На корме было выведено название «Бирюза». Траулер был как все прибывшие издалека суда — обшарпанный, со ржавчиной на бортах. Стропы из десяти бочек выплывали из его трюмов и укладывались на причал. Дурманящий запах солений от «Бирюзы» несся так густо, что першило в горле.

С мостика «Бирюзы» сбежал рыбак в новенькой форме, с папкой под мышкой. Он ловко перепрыгнул на палубу соседнего судна, вскочил на траулер у причала, а оттуда на пристань.

Он так быстро пронесся мимо, что Миша успел заметить только, что на верхней его губе черточкой, почти ниточкой, протянуты усики.

Миша пошел в управление треста.

На первом этаже в коридоре было полно людей, на втором поменьше. В приемной пожилая секретарша охраняла дверь в кабинет начальника отдела кадров. Она сказала Мише:

— Посидите на диване.

У окна беседовали два капитана: один толстый, хмурый, с громким голосом, другой подтянутый, улыбающийся. Первый кинул на Мишу невнимательный взгляд и отвернулся, второй осветил его дружеской улыбкой.

В приемную вбежал моряк с «Бирюзы», которого Миша видел на пристани. Он взмахнул папкой, приветствуя двух капитанов.

— Как здоровье, милорды? — развязно закричал он. — Над чем трудит голову прославленный рекордист лова Борис Андреевич Доброхотов? Проблема сетей, намотавшихся на винт, или загадка пучины: как поймать за хвост селедку, нырнувшую под киль?

Он с таким преувеличенным вниманием ждал ответа, склонив набок голову, словно и впрямь задавал вопросы серьезно. В нем было что-то актерское, он казался играющим под моряка, а не моряком. И форма, щегольски новенькая, сидела слишком картинно, и лицо было картинное, красивое, смуглое, насмешливое, с холеными светлыми усиками, с чубом, по-казацки, выбивающимся из-под фуражки с «крабом»; ненатуральным казался даже голос, быстрый, легко меняющий интонации с уважительных на язвительные, с серьезных на веселые, невыговаривающий какие-то буквы — даже прислушиваясь, нельзя было различить, что это за буквы.

— Ёрник ты, Леонтий Леонидович! — добродушно сказал толстый капитан. — Слова человеческого от тебя не услышишь, все с вывертами. За что тебя Николай Николаевич любит? Карнович, Карнович — только и слышно от него.

— За селедку! — быстро ответил молодой капитан. — Вас не перегоню, Борис Андреевич, можете не тревожиться, но и далеко не отстану. И еще за двойку, которую схлопотал на курсовом экзамене в Бакинской мореходке.

Доброхотов высоко поднял брови.

— А кадровики врут, что у тебя диплом с отличием.

— Отличие появилось в результате двойки. После нее знаю все, что нужно рыбаку на судне. Березов ценит такое знание.

— Если бы ты так же хорошо знал, что не надо делать, цены бы тебе не было, — с тем же добродушием проворчал Доброхотов.

Карнович обратился ко второму капитану:

— Искал вас, Андрей Христофорович. Я в вашем караване. Разгрузку заканчиваем завтра, завтра же начну погрузку. Сам побегаю по всем складам. Через неделю могу выходить на рейд.

Второй капитан с сожалением развел руками.

— Вы ошиблись. Вашей «Бирюзы» в списках моего каравана нет.

— Как нет? — с Карновича мигом слетела актерская наигранность. — В отделе флота мне сказали: караван под командованием Трофимовского, выходите через неделю.

— Советую уточнить. Сам я ничего толком не знаю.

— Постой! — Доброхотов задержал повернувшегося Карновича. — Слишком быстр ты, это не всегда нужно. Давай помозгуем. По-моему, ты попал в приказ. Ты Кантеладзе знаешь — крут... За что-то на тебя рассердился.

— Березов у себя?

— Заседает в обкоме с московской комиссией. Решают вопрос о строительстве рыбного порта. Там и Кантеладзе с Мухановым. Полчаса как уехали. До вечера не будут.

— До вечера я успею выяснить, на кого теперь жаловаться. — Карнович выбежал из приемной.

Доброхотов покачал головой.

— Отличный будет моряк, когда обломается. Мартынов, знаешь, как его зовёт — корсар Карнович. Два противника. Мартынов у тебя?

— У меня.

— Не приобретение. Старательный, дисциплина, но — без удачи. Рыбак без удачи не рыбак.

Оба капитана ушли. Начальник отдела кадров все не появлялся. Мишу опять потянуло на пристань, но он побоялся выходить: Алексей предупредил, что Миша непременно должен повидаться с заместителем Кантеладзе по кадрам.

Через полчаса томительного ожидания в приемную вышел низенький насупленный человек, худой, в морской форме, вместе с другим, таким же низеньким, но полным, лысым, с веселым лицом и в штатской одежде. Худой взял у секретарши папку с бумагами и недовольно посмотрел на Мишу. Полный кивнул ему, как старому знакомому.

— Михаил Муханов? — спросил худой. — И, конечно, хочется сразу в океан? Ближе Норвегии теперь никому море не в море! Идите к инспектору, он на первом этаже, заполните анкету, сдайте свои документы — рассмотрим и решим, куда вас.

— Решение скоро будет? — спросил Миша. — Сколько, примерно, дней?

Заместитель по кадрам равнодушно посмотрел на него.

— Не дней, а недель. Зависит от анкеты, от характеристики, от квалификации. Если данные неважные, отказа не задерживаем. Вы, кстати, морское дело знаете? Плавали когда? — Миша отрицательно покачал головой. — Неграмотный, короче. Не золото. Ничего, обучим. Пошли, Матвей.

— Я задержусь на минутку, — сказал полный. — Хочу с браточком Алексея Прокофьевича потолковать.

Худой понимающе закивал головой.

— Нашего кадра к себе переманивать будешь? Переманивай. За необученных не деремся.

Лысый, не начиная разговора, так весело смотрел на Мишу, что и тот, несмотря на огорчение от сухого приема начальника кадров, невольно заулыбался.

— Знаю, знаю Алешу, вместе штурмовали город, — сказал новый знакомый. — Мы ведь собственной кровью завоевывали эту землю. И как странно получилось! Алешу свалили на берегу, где сейчас мое рыбацкое хозяйство, а мне прострелили ногу в десяти метрах от теперешней «Океанрыбы». Породнились, можно сказать. А через него и с тобой родственники.

Миша промолчал.

— Теперь послушай меня, парень. Оформление в этом заведении ладно, если месяц, как начкадров пообещал, а бывает и три. А если в характеристике хороших словечек недобор, так и вообще отказывают. Иди-ка лучше ко мне в рыболовецкий колхоз «Рассвет». Брат у Алексея плохим быть не может — выпущу в море сразу. Для начала в Балтику на малых судах, а там и в Атлантику. Фамилия моя Крылов, Матвей Иванович, об этой фамилии плохого не услышишь, о капитанах моих тем более — здешним ни одному не уступят! Ваш сосед по дому Куржак — из моих бригадиров, поинтересуйся у него.

Мише музыки морской, так громко звучавшей в названиях траулеров и в наименовании «Океанрыба», в словечке «колхоз» не послышалось. Словечко было глуховатое — для полей и лесов. Но после обидного разговора с заместителем по кадрам отказываться наотрез было боязно. Он пробормотал, что надо бы подумать.

Крылов хлопнул Мишу по плечу.

— Думай! А надумаешь — приезжай в Некрасово, там наша контора.

Он удалился, припадая на больную ногу. Миша без радости пошел к инспектору заполнять анкеты.

6

Два капитана, Трофимовский и Доброхотов, стояли у входа в «Океанрыбу». Трофимовский, назначенный начальником каравана рыбацких судов, отправляемых на промысел в Северную Атлантику, договаривался с Доброхотовым, одним из своих капитанов, когда лучше выходить в море. Из управления вышел мрачный Карнович. Доброхотов задержал его.

— Что-нибудь выяснил, Леонтий Леонидович?

— В приказе числюсь, но почему, никто толком не знает, — хмуро ответил молодой капитан. — Формулировочка без оснований: «Бирюзу» направить на промысел в Балтику. Даже в Северное море выхода не дали!

— Поговори с Березовым, — сочувственно повторил Доброхотов. — Он тебя любит.

— Буду говорить с Кантеладзе, — раздраженно сказал Карнович. — Николай Николаевич меня предал. И, следовательно, разговаривать с ним бесполезно. Мне сказали, что еще стармех Сергей Шмыгов пострадал.

— И его тоже? — удивился Доброхотов. — Вот уж кого бы я с радостью взял на свою «Ладогу». Андрей Христофорович, — неужели без согласования с тобой? Это ведь твой механик! И ты ничего не знал?

Трофимовский с сокрушением развел руками.

— Пришлось уступить. Механик он, конечно, хороший, но на берегу буйствует. Поведение несоразмерное квалификации.

— Что значит буйствует? Не дерется, больше других не пьет, чудит, правда. Мог бы объяснить Кантеладзе!

— С ним, сам знаешь, какой разговор...

— Вон он, Шмыгов, смотрите! — закричал Карнович. — И, точно, чудит!

В стороне, куда показывал молодой капитан, по улице из парка двигалась группка ряженых.

В центре был осел, грустный, заморенный, уныло поводящий ушами, еще унылей перебирающий ногами. На шее у него висели желтые бусы, ноги и хвост были схвачены зелеными бантами, на ушах красовались белые. Верхом на осле восседал мужчина в цилиндре, пиджаке, одетом на голое тело, небритый и до того длинный, что ноги толкались о землю, и он, когда осел уставал двигаться, шел сам, таща осла. С одного бока у осла висел чемодан, с другого — второй, поменьше. Мужчина в цилиндре играл на аккордеоне, а другой мужчина позади осла, по виду — пропившийся бродяга, хмуро бил в барабан. Всех занятней был третий, шагавший впереди. Худой, темнолицый, в гражданском костюме, но в фуражке с «крабом», он тянул осла за узду и во весь голос читал стихи.

— Вот же дает Сережка! — хохотали кругом. — А Пашка, Пашка! Языком-то как чешет!

Когда группка приблизилась к управлению, передний поднял руку и заговорил:

— Которые хорошие — прошу к нашему шалашу, а плохие — иди своей дорогой! Выпивка за наш счет, а кому не нравится, что Сережка без галстука, так галстук он ближе Гибралтара не покупает.

— А бриться летаю в Москву, — сипло возгласил мужчина в цилиндре. — По случаю нелетной погоды третий день со щетиной.

Чтец стихов заметил капитанов и торжественно встал перед ними.

— Поэт и штурман Павел Шарутин приветствует промысловых испытанных руководителей! От музы штурманства и рифм, усевшейся в порту на риф, склоняюсь, сколько сам могу, пред мощными на берегу! — особо продекламировал он Доброхотову и добавил, подмигивая — Штурман Павел Шарутин получил два килограмма дензнаков, механика Сережку Шмыгова бухи завалили рейсовой получкой, пускаемся теперь в новое плавание, не так дальнее, как пьяное.

— Визу закрыть обоим! — сердито сказал Доброхотов. — Писатель, квалифицированный моряк, с кем связались? С бичами связались! — Он показал на барабанщика, уныло стоявшего позади осла.

— Убедили! Черт же, как я чуток к принципиальной критике! Меня надо воспитывать, я поддающийся! — Шарутин повернулся к своим товарищам и мощно продекламировал — Я камбузником был и коком, стал штурманом и поэтом. Теперь я презрительным оком взираю на вас, отпетые!

Шарутин подождал, пока утихнут хохот и свист, и обратился к капитанам. Голос его звучал издевательски-почтительно:

— А вас зато приглашаю, Леонтий Карлович и Борька; на стаканчик сладкого чаю и два стаканчика горькой. Вас не зову, Андрей Христофорович, — сказал он Трофимовскому. — Вы для Сережки — начальство, Сережка на берегу начальства не признает. Ваших забот и в море по горло, и здесь — за горло хватают. Надоели вы каждому, Андрей Христофорович.

— Скоморохи! — Доброхотов укоризненно качал головой. — Сергей Севостьянович! Для кого этот шутовской спектакль?

— Для Кантеладзе, для кого еще? Он с Кавказа, там ценят артистов, — просипел Шмыгов. Он махнул толпе рукой. — Кто попроворней? А ну, на второй этаж, приглашайте управляющего на персональный концерт. Добавим ветра в его двенадцатибалльные приказы.

Из толпы закричали, что управляющего нет. Шмыгов недоверчиво переспросил: так ли? Карнович подтвердил, что Кантеладзе уехал. Шмыгов соскочил с осла.

— Давай большой чемодан, Тимофей! — сказал он барабанщику. — Концерт окончен, проваливайте подобру-поздорову! — объявил он веселой толпе и зашагал в гущу деревьев.

Остывший Шарутин попросил извинения, что назвал Доброхотова Борькой, это для рифмы в стихах, а не для поношения. Доброхотов не обиделся. Штурмана встревожил мрачный вид Карновича. Не случилось ли чего на «Бирюзе»?

— Потом поговорим, — сердито сказал Карнович. — Пока ты не остыл от скоморошества, толковать с тобой бесполезно.

Толпа, понявшая, что представление окончено, возвратилась к «Океанрыбе». Из парка вышел Шмыгов, одетый нормально. Вместе с костюмом он, казалось, сменил и манеры, и голос — пропала сиплость от старого облика осталась только щетина на щеках. Шмыгов сказал Доброхотову:

— Три дня не брился — и напрасно. Не удалось попугать начальство! Тимофей, — обратился он к барабанщику, — ты по-быстрому крой в ту конюшню, верни осла со всеми причиндалами. Давай маленький чемоданчик, бери большой. На, держи монету, — он вытащил из чемоданчика пачку денег и, не считая, сунул, — заплатишь за амортизацию копыт и хвоста, еще добавишь на сорок градусов хозяину и на сено ослу, а что останется — возьми в магазине сухим и мокрым пайком и неси к себе, мы через полчаса прибудем.

Барабанщик потащил осла. Вместо чемоданчика на боку теперь висел аккордеон. Шмыгов взял под руку Доброхотова — А ты с нами, Борис Андреевич! Будем праздновать, что земля тверда под ногами. Четвертый день хожу по улицам — не качаются!

— Да меня Лиза со свету сживет, если опоздаю хоть на час! — Доброхотов сел в освободившееся такси.

Шмыгов увидел на тротуаре Мишу и знаком подозвал его. Хмурое лицо Шмыгова подобрело...

— Салага! Наниматься пришел, так? Море, море, зыбкая дорожка! Ох, и тянет! Пашка, что ты видишь в глазах чернявого? Особенные глаза, правда?

— Водянистые, — проворчал штурман.

— Об этом и речь. Морские глаза! Моторист, ясно. У меня младшего моториста нет, возьму. Тебя, парень, Семеном?

— Михаилом, — ответил Миша. Озорной стармех, разыгравший диковинное представление, ему нравился.

— А по глазам — Семен. Ладно, пусть Миша. Примирюсь. Ты с машиной накоротке? Шатун от цилиндра отличишь? Винт от гайки?

— Пока с машинами не работал.

— Еще лучше. Не надо переучивать. Мой кадр. Беру. Паша, этот парень пойдет с нами. На, понесешь. — Он сунул Мише чемоданчик.

— Да я занят, — неуверенно сказал Миша. Шмыгов страшно выкатил глаза.

— Чтобы Сергей Шмыгов приглашал, а гость отказывался? Сроду не бывало. И не допущу! Все занятия на сегодня отставишь. Точка. — Он с гримасой посмотрел на небо. — Скоро дождь грянет. Надо спасаться. Настоящий моряк воду на берегу недолюбливает.

7

Шмыгов шагал посередине, Шарутин и Миша по сторонам. Встречные часто кланялись Шмыгову, он был, видимо, человек известный. Шарутин то хохотал, вспоминая, какой они устроили чудесный концерт, то мрачнел, опасаясь, не вышло бы представление боком. Голос у Шарутина был мощный не по росту — сумрачный, гудящий бас, он пускал его в самые низкие ноты, огорчаясь.

Мишу удивили быстрые переходы настроения штурмана, но вскоре он понял, что и внезапное веселье и хохот, и внезапное уныние отнюдь не выражают истинного состояния Шарутина. Он был весь как бы в себе, шел сосредоточенный, смотрел рассеянно, а иногда словно спохватывался, что надо поддерживать связь с окружающим, и торопливо что-то говорил, а что приходилось к слову, ему, в сущности, было безразлично.

Ветер, начавшийся с утра, усиливался, в проводах засвистело, быстро несущиеся облака превратились в тучи, тучи густели, темнели, в теплый воздух вторглась прохлада, день помрачнел до хмурого вечера.

— Замочит! — Штурман с гримасой посмотрел на небо. Он поднял воротник, что-то забормотал, Миша разобрал повторяющиеся слова: «замочит, источит, изгложет, зальет, заболтает, зажмет», — штурман-поэт загонял полюбившиеся глаголы в загородки рифмованных строк. Усилившийся ветер был ему на руку, можно было идти и молчать, не отвлекаясь на разговоры.

— Айда побыстрее! — прокричал Шмыгов на площади Победы.

Миша в третий раз пересек главную часть города, в те два раза она запомнилась шумом машин, гомоном людей на тротуарах, сейчас и машин и людей было больше, но все они словно стали безгласны, так все заглушал грохот ветра. Шмыгов ножницами, не сгибая, выбрасывал длинные ноги, Миша с трудом поспевал за ним. Шарутин тоже поднажимал, чтобы не отстать.

Снова удивившись количеству улиц, вливавшихся в площадь, Миша стал читать названия на перекрестках. Они шли по широкому Советскому проспекту, здесь все дома были целы, затем свернули на Кировскую.

Кировская, узкая, вся в старых липах, выстроившихся по тротуарам, в отличие от Советского проспекта казалась выставкой развалин. Здесь только одно здание было целым — Дом офицеров с гостиницей и рестораном. На противоположной стороне громоздилась огромная руина — в прошлом целый поселок из одного трехэтажного дома, выходившего своими четырьмя фасадами на две улицы и два переулка. Шмыгов направился к этому дому.

Миша отстал, с интересом разглядывая здание. Среди стенных провалов попадались окна, затянутые, где целыми стеклами, а где фанерой и тряпьем. На балконах, заваленных щебнем, росли сорняки, на одном красовалась березка, на нее и загляделся Миша. Это было настоящее деревце, метра на два, стройное, кудрявое, веселое, сейчас оно металось на ветру, билось ветвями в окна и балконную дверь и кричало живым криком, даже на тротуар с третьего этажа доносился шум его крепкой молодой листвы.

— Давай, моторист! Чудак, деревьев, не видел! — крикнул Шмыгов, пропадая в одном из провалов в стене.

Лестница в бывшем парадном была без перил, в бетонных ступеньках зияли ямы, в них свободно могла провалиться нога. На первых двух этажах вместо квартир раскрывались коробки с выбитыми стеклами, на третьем этаже, обитаемом, на лестничную площадку выходили две целые двери, одна — обитая дерматином.

— Здесь Тимофеевы хоромы, — сказал Шмыгов. — А временно, до законной квартиры, и мои. Ключ в стене, запомните. В музей к Тимофею можно приходить без приглашения.

Он достал из щели между кирпичами заржавелый огромный ключ, вставил в замок, пнул дверь ногой.

Комната, куда они вошли, просторная, с одним широким окном, и вправду, напоминала скорей антикварный магазин, чем жилье. С потолка, отталкивая одна другую бронзовыми рожками и стекляшками, спускались две массивные люстры, хрустальные побрякушки в них позвякивали при каждом шаге по шаткому полу, если, как вскоре убедился Миша, топнуть ногой, то люстры начинали звенеть, и негодующий звон долго не умолкал. В углах громоздились мохнатые, угрюмые кресла, большие и маленькие. Еще был стол с пухлыми ангелочками на ножках, резной буфет с разномастным фарфором, какие-то тумбочки, шкафчики, мраморный умывальник на полу, два эмалированных унитаза, водруженных в зев одного из могучих кресел.

Но самым удивительным сооружением в этой необычайной комнате была исполинская кровать, и Миша уставился на нее. Это был даже не двухспальный, а многоспальный, совершенно квадратный ящик о четырех стенках красного дерева — передняя откидывалась на пол, когда хозяин осмеливался лезть внутрь. И все четыре стенки были покрыты яркими, эмалевыми, оттиснутыми, а не нарисованными картинами. На наружной стене торца трое гномов у горна с ухмылками раскаливали орудия пытки и скашивали красные глаза на пленника, голого, накрепко связанного мужчину. На внутренней стороне того же торца всадник в латах, с султаном на шлеме, мчался на диком скакуне прямо на ложе — передние копыта готовились обрушиться на покоящегося в нем. А на задней стенке дюжина зверообразных римлян похищала нагих сабинянок. Умыкание невест совершалось с такими подробностями, что обрести спокойствие можно было, лишь отвернувшись от ужасного зрелища. Но всего трагичней была картина в головах: на всю эту стенку разлеглась голая томная девица, а над ней, чуть не задевая ее крыльями и когтями, дрались не то за душу ее, не то за тело прекрасный ангел с безобразным чертом.

— Забавный паноптикум, — констатировал Шарутин, с любопытством осматриваясь. — И что же — накупил мебель твой Тимофей или уже была от старых хозяев?

— Натаскал. — Шмыгов развалился на кровати, знаком показав штурману и Мише, чтоб воспользовались креслами. — Он гробокопатель.

— Ты серьезно?

— Могилы не вскрывает, а в подвалы развалин проникает. Янтарные сокровища ищет, чтобы сдать государству. В милиции ему пригрозили, что вышлют за тунеядство. Теперь строитель, в бригаде по расчистке — те же развалинки ворошит, кирпичи таскает...

— В море его не соблазнил?

— Его соблазнишь! Бледнеет, когда видит воду. В прошлый отход провожал, на «Радуге» Трофимовского шли, — руку схватил, едва вступил на трап. Морская болезнь, в глазах кружится — сказал. А волна — балла на два. Я уж и злиться не стал, так смешно стало.

— Я его сегодня как увидел, сразу понял — тип!

— Тип, точно. Отличнейший парень. Работяга, душа. Думаешь, иначе бы я перебрался из общежития в это логово? Другого такого друга не было у меня. И не будет. Говорит Сергей Шмыгов, а каждое слово Шмыгова — гиря! Только веские слова признаю.

Штурман удивленно поднял брови.

— Мне он таким хорошим не показался. Угодлив. Твои команды без слова исполняет.

— От доброты, а не от угодливости. Ничего ты в Тимофее не увидел. Я тебе объясню, какой он натуры.

И Шмыгов стал рассказывать, как в прошлом году они с Трофимовским возвращались вечером из управления. В парке за оградой закричали две женщины; к ним приставали пятеро подвыпивших парней. На выручку кинулся проходивший мимо мужчина — этот самый Тимофей. Женщины убежали, а пятеро насели на одного. Трофимовский хотел бежать к телефону вызывать милицию, Шмыгов перелез через ограду на помощь Тимофею.

— Драка была — прелесть! Каждому досталось от него больше, чем ему ото всех! Один парень вытащил нож, он ножик вырвал, закинул в кусты, чтобы ненароком кого не резануть — так объяснял потом. Ох, и поработал я кулаками! Двое удрали, троих держим. «В милицию их теперь, кореш?»— спрашиваю. — «Отпустим, — говорит, — зачем парням биографию портить, еще образумятся». Ты бы послушал, как они нас благодарили, что не сдали под арест! Так я познакомился с Тимофеем.

— И сразу пошел к нему?

— Пошел в другой раз. Тоже забавная история. Иду в «Балтику» навеселе...

— Пьяный, короче.

— Много ты меня пьяным видел, штурман? Веселюсь, верно, люблю, чтоб изо рта святым духом несло, а понимание выветривать — прошу прощения! В «Балтику» не пускают, мест нет. Я всем у двери дензнаки сую — от стармеха Шмыгова, мол, визитка на память. Хохочут, из рук вырывают! Бичи, суходралы — народец! А тут появляется Тимофей, оттащил, усадил в такси, привез сюда, раздел, уложил. Утром просыпаюсь один. Вспоминаю — мать честная! Что за экспедицию натрудил, за один вечер вышвырнул. Нет, денежки на столе, стопочками, бумажка к бумажке, записочка, куда ключ положить. С того дня и живу у Тимофея, пока квартирой не одарят, чтобы семью переводить с Белого моря на Балтику.

— Деньги и здесь можно порасшвыривать, а это для тебя главное. — Шарутин зевнул.

— Моторист, где чемоданчик? Подай и раскрой!

Миша раскрыл чемодан. Он был наполнен пачками денег. Кучку крупных купюр охватывала бечевка, на связке была надпись: «В Архангельск».

— Две трети сегодня переведу. А оставшиеся поразбросаю. И всегда так — раньше семье отсчитываю, а что останется, того уже не считаю. Закрой, моторист, и сунь куда-нибудь.

— Загулял твой Тимофей на деньжата, что ты ему дал. — Шарутин зевнул, еще слаще и закрыл глаза. Огромное кресло тянуло в дрему.

— Придет. Он и в бухгалтерию со мной попер, чтобы охранить от растраты. В спектакле участвовал, а не из гуляк. Особенно теперь.

— Что за особенность?

— Влюбился в соседку. За стеной живет. Одинокая. С дочкой лет двенадцати.

Штурман оживился.

— И красивая?

— Смотреть приятно, но о себе думает с перебором. Компаний не поощряет, в гости не вытащишь. А Тимофей перед ней чуть не на коленях ползает. Я ему объяснил — при такой преданности успеха не будет, женщины любят, кто поразвязней. Наставлять Тимофея на правильное ухаживание — прилаживание горбатого к стенке! Придется помочь. Вот рассержусь и прикажу ей выйти за него замуж. Пусть только попробует отказать!

Миша, не вмешиваясь в разговор стармеха и штурмана, смотрел в окно. Хлынул дождь, до того густой, что Дома офицеров не стало видно — за стеклом потемнело от низвергающейся воды. В единственное окно Тимофеевой комнаты как бы прорывались иногда ветки, это была та балконная березка, которую они увидели с улицы, она росла у соседки Тимофея, ветер сгибал деревце в три погибели, и оно хваталось за стену и стекла, чтобы не переломиться и не улететь. Миша пожалел, что пришел сюда и что нельзя в такую погоду уйти. Он надеялся, что два бывалых моряка заговорят о промысле, о приключениях в океане, о бурях и штиле, о рыбе и морском звере, о машинах и снастях, рангоуте и такелаже. Его не интересовало, что за характер у Тимофея, какие соседки здесь, красивые или уродливые, строгие или податливые. Женщины были везде, он приехал в этот полуразрушенный город не ради них. И от досады, что даром теряет время, Миша помрачнел и перестал слушать, о чем говорят моряки.

Дверь распахнулась, ввалился мокрый Тимофей с кучей свертков.

— Не серчайте, ребята, — сказал он. — Очередь была большая, угря копченого выбросили., Стол у нас сегодня — мечта!

8

Двухэтажный дом, где жили Мухановы, состоял из четырех трехкомнатных квартир. В левом крыле второй этаж занимал Алексей, теперь, после приезда отца и брата, семья была из пяти человек. На первом этаже этого крыла жил Куржак с женой Матреной Гавриловной, а при них сын Кузьма и невестка Алевтина с четырехлетней дочкой Таней.

Правое крыло принадлежало двум капитанам «Океанрыбы» — Соломатину и Доброхотову. Сергей Нефедович Соломатин, моряк из молодых, слыл удачником, все ему в морской карьере давалось легко — за семь лет плавания бывали и штормы, и трудная промысловая обстановка, когда рыба не шла, и всегда получалось как-то так, что и аварии обходили «Кунгур» Соломатина и в «пролов» он ни разу не попадал. «Ты счастливчик, Сережа, тебе всегда везет!» — говорили приятели. «Соломатин — умелец, мастер моря!» — утверждало начальство. И как часто бывает при таком расхождении мнений, обе оценки были верны: Соломатин был счастлив на море, потому что знал и любил его. Он, впрочем, был счастлив и на берегу: Ольга Степановна, на которой он женился на последнем курсе мореходки, брала и умом, и добрым характером, а когда они вдвоем под руку шли по улице, на статную пару заглядывались прохожие. Впрочем, в последние три года такие прогулки выпадали нечасто, даже когда Сергей Нефедович задерживался на берегу, — Ольга Степановна, бросив службу — она работала техником-строителем, — все время отдавала уходу за четырехлетним Сеней и трехлетней Надей.

А три комнаты нижнего этажа занимал Борис Андреевич Доброхотов с женой Елизаветой Ивановной. Среди капитанов «Океанрыбы» Доброхотов выделялся особой, как шутили о нем, «не статью, а хватью». Он не блистал ни морским талантом и лихостью Бродиса, ни отвагой Новожилова, ни искусством Соломатина, но другого такого же старательного и усердного промысловика, как Доброхотов, на рыбацком флоте больше не было. «Хозяйственный мужик, никто так в рейс не запасается промвооружением, как он» — с уважением отмечали работники треста. «Борис Андреевич и на холоде три пота с тебя сведет, да зато потом бухгалтеры наложат дензнаков!» — говорили о нем его матросы.

Как и все капитаны «Океанрыбы», Доброхотов стал рыбаком только после войны. Но в отличие от военных моряков Березова, Бродиса и Новожилова, Доброхотов пришел из торгового флота. Еще до войны, плавая на судах Совторгфлота, он, сперва матросом, потом боцманом, а к войне уже штурманом дальнего плавания, обошел все океаны, знал «в лицо и за ручку» все крупные порты мира. Он мало читал, в театр не ходил, даже кино недолюбливал, но была у него одна страсть, ей удивлялись и признанные коллекционеры: из всех портов, где удалось побывать, он привозил сувениры, о всех морях, заливах и проливах, куда ходили его суда, имел какое-нибудь вещественное напоминание — раковину, чучело диковинной птицы или рыбы, отпрепарированного лангуста или краба, клык моржа, китовый ус, скелет марлина С гигантским мечом, затейливый коралл, просто диковинный камешек с морского дна. Коллекцией собрание его сувениров назвать было невозможно, слишком уж разнородны были собранные им образцы и слишком хаотично они была расставлены — не по характеру, а по местам, откуда он привозил их. Большая комната его квартиры была заставлена стеклянными шкафами, а на полках шкафов соседствовали дикарские статуэтки с кусками лавы, с рыбами, с образцами самодельных тканей, с дудками, колокольцами, чучелами змей и раков. «Визитные карточки морей и стран!» — так он сам квалифицировал свое собрание и водил гостей от шкафа к шкафу, любовно отмечая выжженые на полированных дощечках надписи на каждой полке: «Остров Тасмания», «Мыс Горн», «Остров Сейбл», «Фареры», «Рейкьявик», «Сингапур», «Гонконг», «Выборг», «Ярмут», «Трапезунд»... Названий было множество, и располагались они отнюдь не в географическом порядке, правильно чередуя параллели и меридианы, а в том, для географии не существенном и случайном расположении, в каком с этими районами знакомился сам Доброхотов: переходя от шкафа к шкафу, можно было довольно точно повторить историю его морских странствий.

Пополняемые после каждого рейса в океан стеклянные шкафы с диковинками были главными жильцами его большой, на восемьдесят квадратных метров, квартиры. Единственный сын Павел служил в Севастополе на военном корабле, там и женился, и, выехав в свое время из Светломорска, сам уже ни разу сюда не наведывался — Доброхотов с женой проводил отпуск у него в Крыму. Елизавета Ивановна, рыхлая, грузная женщина, сидела дома — днем со штопкой или вязаньем в руках, вечером с книжкой: в отличие от мужа, равнодушного к художественной литературе, она увлекалась приключениями, особенно морскими. И она всегда отлично знала, где в этот день, даже час, промышляет муж, — он аккуратно радировал ей, с неизбежной служебной сдержанностью, где ходит его «Ладога» и каковы дела. А если не хватало его информации, она звонила диспетчерам «Океанрыбы» — в тресте хорошо знали, что отговорками о незнании ее не успокоить, и точно осведомляли о районе промысла и погоде на нем. Знакомые часто, вместо справок у диспетчеров, звонили ей, если интересующие их люди промышляли недалеко от Доброхотова, — и ответы всегда были верными. «Говоришь, Лиза, словно по карте смотришь!» — наивно удивлялись иные подруги. Елизавета Ивановна к морским картам не прикасалась. Она любила ставить свое кресло у шкафа, в котором хранились диковинки того района, где в этот день промышлял муж, и любовалась ими, разговаривая по телефону.

У капитанов судов, возвращавшихся в караванном строю из экспедиционных рейсов, был заведен обычай: отмечать благополучный приход вечеринкой дома у одного из них. В клубе тоже устраивались торжественные вечера с президиумом на сцене, речами, а после речей — с музыкой и танцами, с хорошим буфетом, но то были официальные собрания, характер их зависел от того, удался ли промысел или «не пощастило» на улов. А дома собирались своим кругом, по приятельству. В этот весенний приход каравана очередь хозяйствовать на вечеринке выпала Соломатиным.

Ольга Степановна три дня бегала по магазинам, закупая припасы, по два раза на дню появлялась на рынке: всего собиралось сесть за стол человек около двадцати, наготовить на такое количество гостей было непросто. Ей помогали Гавриловна и Елизавета Ивановна, в свободные от службы часы забегала на кухню, превращенную в заготовительный цех, и Мария Муханова. Создание закусок, жаркого, печеного и вареного взяла на себя Гавриловна. А изготовление тортов оговорила себе Елизавета Ивановна: за годы супружеской жизни, ублажая странника-мужа в те редкие недели, какие выпадало провести вместе, она постигла искусство кондитера. Первую пробу с ее творений сняли дети Соломатиных, после чего их — чтобы не болтались под ногами — отправили к Куржакам. Куржак принес из своей квартиры дополнительный стол и стулья. Столы были накрыты в большой комнате, а две другие — детскую и кабинет Соломатина — отвели для танцев и для курцов, — в курительной, самой маленькой, предусмотрительно держали открытыми форточки.

— Угощение такое, что полгода будем помнить! — восторженно объявила Елизавета Ивановна, когда закуски и вина расставили на столах. Она отличалась охотой к преувеличенным оценкам.

Ольга Степановна вдруг вспыхнула.

— Почему полгода? Разве через три месяца не устроим такого же вечера у тебя, Лиза?

— Поговаривают, что промысел пойдет по-новому, задания меняются, сроки...

Их разговор прервала Мария, высунувшаяся из кухни:

— Оля, помоги нам с Гавриловной. Ольга Степановна поспешила на кухню.

Первыми, всей семьей, пришли Куржаки: сам Петр Кузьмич, сын Кузьма, матрос «Кунгура», его жена Алевтина, медсестра областной больницы, худенькая женщина, некрасивая, но с большими, быстро меняющими выражение глазами, и друг Кузьмы — Степан Беленький, боцман с того же «Кунгура», мужчина баскетбольного роста, широкоплечий, широколицый, с маленькими, умно поблескивающими глазами, с неизменной добродушной усмешкой на гладком розовом лице. Следом за Куржаками появились Прокофий Семенович с Мишей.

— Давай знакомиться, — сказал Кузьма Мише. Он так сильно тряхнул Мишину руку, словно хотел оторвать ее. — Тебя Михаилом, так? Меня — Кузьма. А вот этот верзила, эта верста коломенская — Степа. Наш боцманюга. Все боцманы — драконы, Степа — всех драконистей, просто змей из змеев. К тому же мой спаситель, вытащил меня из пучины, когда я вдруг смайнался к Нептуну. Так что я у него вечный должник, для него — все!.. Учти, если станешь с ним ссориться, с двумя придется иметь дело.

Степан дружески сжал руку Миши. В мягком пожатии рослого боцмана чувствовалась сдержанная сила, Миша подумал, что вот уж человек, с каким ссориться не следует — один с двоими справится. Слушая, как его расписывает Кузьма, Степан смеялся, широко раскрывая рот, и ничего не сказал, он был, похоже, из неразговорчивых. А громкоголосый Кузьма, высокий — на голову выше отца — очень худой, с красивым бледным лицом, порывисто ходил по комнате, куда их пригласили, и пока Алевтина налаживала радиолу, все говорил. И говорил, и ходил он с какой-то поспешностью, двигая руками, словно боялся, что не вовремя прервут или заставят вдруг стоять. Он резко поворачивался, приближаясь к какой-либо вещи, непременно за нее хватался — из него словно било движениями, они вырывались непроизвольно.

— На море нацелился? — говорил он. — Хорошая задумка. Иди к нам на «Кунгур». Капитан — орел! Ребята — один к одному. Будем корешами. Заявление в «Океанрыбу» подал? Рванем в управление, я тебя протолкну.

— А зачем меня толкать? — Миша пожал плечами. — Сам пройду.

— Завтра вечерок освобождай. Приглашаю.

— Куда и зачем?

— Найдем, куда. Днем выдача у бухов для «Кунгура», после выдачи повеселимся. Традиция. Вместе потопаем в управление. Что будешь сейчас делать?

— Как — что?.. Отец говорил — приглашены на вечер.

— Вечер — когда соберутся капитаны. Раньше чем через час никто не прибудет. Ногами дрыгаешь? В смысле — танцуешь?

— Танцор я не очень...

— Я тоже. Пусть Лина со Степой кружатся, а мы с тобой смайнаем на этажок ниже. У Бориса Андреича Доброхотова такие штуковины в шкафах — обмереть! Пошли, пошли!

Он потянул Мишу за руку. Алевтина встревоженно окликнула мужа:

— Кузя, ты куда?

— На свидание с некоторыми милыми особами, — Кузьма захохотал. — Пока вы со Степой под музыку будете обниматься, мы с Мишкой повеселимся по-своему. Через часок появимся.

Рассерженная, она схватила его за плечо.

— Что еще надумал? Как зовут твоих милых особ? Из наших подруг?

— Не дай и не приведи, чтобы таких подружек заимела! Одна — жаба-рыба из Токоради, другая — акулища из Гренландии, там они в редкость, две бониты из Амазонки, десяток таких за часок начисто человека обглодают... И еще с сотню зверюг не лучше этих. Теперь пустишь?

— К Доброхотову идете, — сказала она, успокоенная. — Я кликну вас, когда позовут к столу.

Подталкивая Мишу к двери, Кузьма пригрозил Степану:

— Я тебе человек обязанный, но крепко обнимать жену запрещаю.

Степан посмеивался. Алевтина раздраженно сказала:

— Кузя, хоть бы при посторонних постеснялся. Что о нас подумают?

Доброхотов сидел в кресле. Выутюженная морская форма висела на спинке стула. Услышав, что Кузьма и Миша пришли знакомиться с его морскими сокровищами, Доброхотов оживился. Он подвел гостей к крайнему шкафу, там были сложены сувениры, добытые еще в довоенных плаваниях по Средиземному морю и Атлантике. Раскрывая стеклянные дверцы, он брал в руки каждый образец, рассказывал, где добыл его, с какими событиями тот связан. Миша увидел на одной из полок три крупнокалиберных деформированных пули. Он удивился: к морским достопримечательностям они вряд ли могли относиться.

— Ошибаешься, дружок! — возразил капитан. — Именно морская достопримечательность. Дело было в тридцать восьмом году, в начале весны. Наше судно, под покровом ночи, подходило к Барселоне. И вот, на первом рассвете, до солнца еще часок оставалось, всплыла подводная лодка мятежников-франкистов — старая, постройки еще до первой войны, даже пушчонки на ней не было, только пулемет. Однако, если бы пошла торпедировать, могла и на дно пустить. Я тогда вахту нес, стал маневрировать, быстро менять галсы. Но она не посмела пустить торпеду, флаг-то наш советский был виден ясно, только обстреляла рубку из пулемета. Матросы собрали мне пули, какие нашлись на палубе.

Покончив с первым шкафом, Доброхотов перешел ко второму. Здесь хранились реликвии, собранные в годы Отечественной войны. Доброхотов служил тогда на Тихоокеанском флоте, ходил в Японию, в Корею, в Южно-Китайские порты — каждый рейс оставил напоминание о себе. И капитан с такой охотой рассказывал о событиях тех лет и так живо описывал города, моря и людей, что Миша, увлеченный, почувствовал сожаление, когда их позвала спустившаяся Алевтина: Доброхотов не описал и половины своих собраний.

— Не огорчайся, малец! — утешил его капитан. — Соседи ведь, приходи запросто хоть каждый день, пока я на берегу. А теперь — наверх! Скажете, что я за вами, вот только оденусь по-праздничному.

В гостиной уже было полно гостей. За столом сидели: высокий, худощавый Корней Прохорович Никишин; всегда подтянутый, как на параде, Андрей Христофорович Трофимовский — оба из самых известных капитанов «Океанрыбы» — они пришли с женами. Вершину стола заняли Соломатин с женой, места только-только хватало на двоих — сидя они соприкасались плечами. По правую сторону от хозяев села Мария Михайловна — два стула рядом оставались пустые. Напротив нее разместился Доброхотов с Елизаветой Ивановной, около него Прокофий Семенович, дальше Куржак с женой, а места на другом конце стола предоставили молодежи — Алевтине, Кузьме, Степану и Мише.

Соломатин встал и постучал вилкой по бокалу.

— Прошу внимания. Николай с Алексеем позвонили, что опоздают. Есть предложение начать вечер. Первую, традиционную — за наше благополучное возвращение!

Вечер шел неторопливо, капитаны, закусив, говорили, как шел промысел, хохотали, вспомнив забавные события, делились мнениями об обстановке на берегу. Это были все те же разговоры, какие Миша слышал дома, отец каждый вечер выспрашивал Алексея — о судах, о морях, о штормах, о рыбе, о заработках, о том, кто приходит командовать новыми судами, кто списывается на берег. Но оттого, что говорил об этом не брат, хоть и связанный с морем, но сухопутный работник, а настоящие моряки, Миша слушал, раскрасневшись от увлечения. И его удивило, когда Кузьма вдруг с тоской сказал, даже не стараясь приглушить голоса:

— Чинно, как на собрании, только не хлопают ораторам. Хоть бы музыку пошальней врезать, что ли! Вот пойду и запущу радиолу на полный грохот!

Алевтина сердито покосилась на него, он умолк, уныло тыкая вилкой в сардину.

В передней раздался громкий звонок. Ольга и Сергей Нефедович разом вскочили. Она кинулась к двери, но попала в объятия мужа. Не выпуская ее, он радостно воскликнул:

— Что за черт! Куда ни повернусь, везде ты. Как это у тебя так здорово получается?

— Сережа, не хулигань! — сказала она, пытаясь высвободиться.

— Буду хулиганить! — Он двигался к двери, не выпуская ее.

— Молодожены, может, нам уйти? — крикнул Никишин. — Что-то мне чудится, мы вам мешаем.

— Пока не гоним, — отозвалась Ольга Степановна, убегая в прихожую.

— Но и засиживаться не рекомендуем, — важно добавил Соломатин, возвращаясь на свое место. — Всяк сверчок — знай свой шесток, всяк гость — свое время.

— До торта не уйду! — объявил Доброхотов. — Отбивные, вареные и печеные можешь оставить себе, а торты выкладывай на стол.

— Не только выложим на стол, но и дадим сухим пайком. На кухне я видел кремовый торт, удивительно хорош носить в кармане.

В гостиную вошли Березов и Муханов. Алексей, садясь рядом с женой, спросил, не сердятся ли на них за опоздание. Она тихо ответила:

— Веселимся нормально. Но я хочу тебя предупредить — будь осторожен, если начнут расспрашивать, какие новости. Не нравится мне сегодня Ольга.

— Нездорова? Мне не показалось.

— Чересчур возбуждена. Лиза сказала, что время промысла удлиняется, она так вдруг окрысилась. Оля умеет владеть собой, и уже если начинает кричать, значит, нервы у нее разошлись.

— Учту, — сказал Алексей и придвинул к себе закуску.

Березов сел по другую сторону Марии и, она, улучив минутку, повторила и ему свои советы. Он молча кивнул. Никишин громко заговорил:

— Николай Николаевич, товарищи интересуются, как заседали? Ходят слухи, что штурманов произведут в капитаны, а капитанов в адмиралы? Или врут? Между прочим, такое звание — рыбный адмирал — мне бы подошло. Звезды на плечах, лампасы на брюках... Рыбка, ослепленная блеском золотого шитья, сама бы кидалась в трал.

— Мало тебе шевронов на рукавах? — отшутился Березов. — Адмиралы — народ грузный, важный, ты же беспокойный, мечешься по промысловому квадрату то сюда, то туда... Несолидный у рыбаков адмирал, скажет селедка и с пренебрежением уйдет в глубину.

— Ладно, я в адмиралы характером не выхожу, а другие? — настаивал Никишин. — Между прочим, я своего «Коршуна» ни на какое судно не променяю, а вот Андрей Христофорович? Неужто такому капитану вековать на траулере? Если не в рыбные адмиралы, поскольку такого нужного звания вы не вводите, то ему хоть в капитан-директоры плавбазы!

Березов с усмешкой посмотрел на сконфуженного Трофимовского. Андрей Христофорович, человек средних лет — из послевоенного поколения моряков — отличался и дисциплинированностью и честолюбием. Он не только рьяно выполнял все требования морских инструкций и был знатоком всех морских законов и обычаев, но и умел свое тщание делать видимым для всех. Никишин насмешливо подчеркнул общее мнение — такой человек долго не мог задержаться в должности капитана небольшого судна. Березов ответил Никишину:

— Придут в порт строящиеся плавбазы, вспомним тогда, что Корней Никишин категорически отказывается бросить, свой траулер. Волей-неволей придется просить Трофимовского идти на повышение.

Трофимовский с удовлетворением откинулся на спинку стула. В Светломорск вскоре должна была прийти новая плавбаза «Печора», судно водоизмещением в двадцать тысяч тонн с мощными морозильными трюмами и механизированным рыбоперерабатывающим заводом. Трофимовский уже намекал Кантеладзе и Березову, что не прочь к своему званию капитана добавить и наименование — «директор».

— Будете административный пасьянс раскладывать, — кому на повышение, кому на захирение, — меня не забудь, Николай Николаевич, — проворчал Доброхотов.

— В каком смысле не забывать, Борис Андреич?

— В самом прямом. У вас кадровики — анкетные души. По анкете я первый на продвижение — скоро тридцать лет на морях, все океаны исходил, берега всех материков, кроме Антарктиды, ногой пробовал, глазами видел, можно сказать, и рукой щупал. Так вот — чтобы без выдвижений. Корнею его «Коршун», мне моя «Ладога». Пока мое суденышко бегает, я на нем.

— Воля испытанных морских волков для «Океанрыбы» — закон! — весело ответил Березов. — А теперь от служебных дел перейдем к праздничным. Вероятно, у вас уже был этот тост, но хорошие пожелания неплохо и повторить. Итак, за тех, кто в море!

Его прервала Ольга Степановна:

— Подождите с тостом! Почему о Сереже ничего не сказали? Какие изменения ждут капитана Соломатина?

— Он сам тебе скажет, Оля, — ответил Березов, не опуская рюмки.

Она порывисто повернулась к мужу.

Соломатин с шутливым сокрушением повел плечами.

— А ты молчишь, Сережа! Я спрашиваю, ты отмалчиваешься. Почему, хочу я знать?

— А что говорить, если сам пока ничего не знаю? Вызовут, объявят, поделюсь с тобой новостями.

Она снова обратилась к Березову:

— Нет, Николай Николаевич, я очень прошу! У вас намечаются большие перемены. Вы-то уж, наверно, знаете, что кому из ваших людей назначено.

Березов посмотрел на Марию Михайловну — та незаметно толкнула его коленом — и серьезно ответил:

— Говорить об этом рановато. Наберись терпения, Оля. Минуты через две встал Соломатин:

— Внимание! За опоздание на условленное рандеву накладываю на бывшего капитана первого ранга Березова штраф — открыть танцевальную программу. Кавалеры выбирают дам.

— Я с моей неизменной партнершей Елизаветой Ивановной! Другие дамы мне не по возрасту — быстро загонят немолодого человека. — Березов обошел стол и церемонно подал руку жене Доброхотова. Кузьма, оглянувшись — не слышат ли его танцующие, предложил:

— Братва, самый раз незаметно смыться. Проложим курс на гуляние в парк. На людей поглядим, себя покажем. Повеселимся, короче.

Алевтина недовольно сказала:

— Всегда тебе чего-то особого хочется! Неужто здесь не веселье?

— Линочка, какое здесь веселье? Язык во рту стынет — как бы иного словечка не вырвалось. И Николай Николаевич тоже... Закатил речугу. Обсуждают, кому какие должности. И это нам выслушивать? Пойми, какая мы старикам компания? Тем более — начальство!

— Нет, нет! Мне рано на работу. Больных так много, что койки, ставят в коридоре, не хватает сестер для ухода. И ты завтра с утра хотел Татьянкину кроватку починить.

— Хватилась! Кроватку я починил, пока ты со своими больными возилась. И ступеньки на веранду укрепил. Еще на крышу лазил, антенну наладил. Что тебе еще?

— Кузенька, лучше завтра пойдем в кино.

— Кино мы смотрим на переходе в океане — по две картины на день. Кино не для завтрашнего праздника.

Алевтина удивленно посмотрела на мужа.

— Завтра же будний день, Кузя.

— Это у тебя будни, а у нас со Степаном праздник! Степан, до того не хотевший вмешиваться в спор товарища с женой, осторожно сказал:

— Что-то я не понял, какой у нас завтра праздник. Кузьма запальчиво воскликнул:

— Морской, вот какой! Что под ногами земля! Три месяца мотало над бездной, три месяца лишний шаг вправо, лишний шаг влево — пеняй на себя, вот наши будни! А сейчас закрою глаза и пойду, не хватаясь за леера. На все тридцать два румба — асфальт! И это не отпраздновать?

— Мы же отметили твой приход. Вечеринку устроили, вот и Степан был...

— Да пойми ты, Лина, пойми! — твердил Кузьма, все сильней возбуждаясь. — Что мне в этих вечеринках? У нас дома — вроде поминок по рейсу, вернулись, мол, благополучно, и спасибо. А здесь поддакивай старшим, ешь глазами начальство! Я праздновать хочу, каждый день радоваться. И на людях, пусть все видят — у Кузьмы Куржака сегодня великий праздник!

— Кутить по ресторанам, да? Дома тебе не нравится...

— Лина! Не кутить — повеселиться; музыку послушать, А насчет дома... Ужасная радость — весь день налаживать, что у вас за три месяца испортилось. Или слушать, кто отдал концы в твоей больнице, какая температура у следующего кандидата на тот свет. В общем, одевайся, Лина, тихонько отчалим от этого пирса.

— Никуда я не пойду! — сердито ответила она. Перепалку прервал Степан:

— Хватит вам ссориться по пустякам!

Музыка смолкла. Гости рассаживались по местам. Кузьма, мрачный и молчаливый, сел на стул Миши, а его попросил подвинуться к Алевтине. У нее раскраснелось лицо, зло сверкали глаза. «Как бы не расплакалась при всех!» — опасливо подумал Миша. Степан, взявший роль семейного примирителя, поставил тарелку с тортом перед Алевтиной. С ложечкой в руке, она склонила лицо над тортом. В тарелку закапали слезы.

9

Гости разошлись во втором часу ночи. Неутомимая Гавриловна хлопотала у стола, собирая тарелки, ножи и вилки. Ольга Степановна утомленно сказала:

— Оставь, Гавриловна. Завтра уберем.

— Да я быстренько. За полчаса управлюсь.

— Завтра, завтра!

Гавриловна всмотрелась в Ольгу Степановну.

— Что-то ты не в себе. Не прихворнула?

— Устала. Разбуди Надю и Сеню, минут через пять заберу их.

— И не думай! У нас на диване им лучше. Солнце встанет, тогда бери.

Гавриловна ушла. Соломатин, провожавший последних гостей, вернулся, налил две рюмки портвейна, одну поднес жене. Она покачала головой.

— Больше не хочу. Да и в честь чего, Сережа? Он радостно объявил:

— В честь того, что одни, как молодожены.

Он поднял жену на руки и закружился по комнате. Она смеялась и пыталась соскользнуть.

— Пусти, сумасшедший! Ну, пусти же!. — Всю ночь буду на руках носить!

— Милый, голова кружится. Отпусти, пожалуйста. Нужно серьезно поговорить.

— Скажи по-нашему: брось, а то уронишь!

— Хорошо: брось, а то уронишь.

Он осторожно опустил ее на диван, сам сел на пол возле нее.

— Пришвартовался, Оля. На вечном якоре у ног жены. Она с нежностью смотрела на мужа.

— Мальчишка ты, Сережа! Не взрослеешь.

— Взрослеть подожду до седых волос. Это не скоро. Так о чем твой серьезный разговор?

— О нашем будущем. Но не о том, когда появятся седые волосы.

— Будущее — завтра. До обеда гуляем. Обедаем на Морском бульваре в «Трех дельфинах» под рокот волн. Вечером — в театр. Подходит будущее, которое называется «завтра»?

Ольга Степановна помедлила с ответом, стараясь распознать, понимает ли он, о чем она заводит речь. Лицо мужа не выражало ничего, кроме радости, что они остались одни. И от того, что он явно не догадывался о цели беседы, она не решилась сразу приступить к главному. Она уклончиво ответила:

— Я о будущем, которое подальше, чем завтра.

— Тогда послезавтра. Начинается наш месячный отпуск. О нем можно изъясняться лишь стихами и музыкой. Тум, тум, тум, бум, бум, бум!

Он энергично ударял локтями по полу, хлопал кулаками по надутым щекам. Ей было совсем не до смеха — страшило задуманное давно уже объяснение — но она невольно рассмеялась.

— Сережа, не дурачься!

— Никогда не был таким серьезным! Детишек завезем к бабушке с дедушкой, а сами — на Кавказ! Баку, Ереван, Тбилиси, Батуми, Сухуми, горные перевалы... Весна, бушующие горные ручьи. И мы их вброд, ты у меня на руках. А если и там скажешь: «Брось, а то уронишь!» — в клокочущий омут швырну!

— Чтобы отделаться от меня?

— Чтобы спасти тебя. Так хочется, Оленька, спасать тебя! Устраивает это горькое будущее?

— Нет!

Он с удивлением сказал:

— Почему — нет? Вместе же обсуждали этот план еще до рейса.

— За три с лишним месяца твоего рейса многое переменилось.

— А что случилось важного за те три месяца, что меня не было?

— Это и было единственно важное — что тебя не было. Удивление его все увеличивалось. Теперь она твердо знала, что муж и не подозревает, о чем она заводит разговор. Он смотрел так, словно не соображал — захохотать или рассердиться. Он сдержанно сказал:

— Не понимаю...

Он встал, демонстративно отряхнул колени, пододвинул стул и сел напротив жены.

— Я слушаю. Что произошло? Что с тобой случилось? Она наконец решилась:

— Я о слухах, которые пошли по городу. И о том, что сегодня говорил Николай Николаевич. Ты помнишь его слова?

Он ответил сухо:

— Но он говорил о многом. И слухи тоже ходят разные.

— Я говорю о перестройке вашего промысла.

— Собираешься пополнить собой великую армию наших рационализаторов?

— Не надо насмешек, Сережа!

— Ты пока ничего ясно не говоришь.

— Просто побаиваюсь тебя. Ну, хорошо, начну с фактов. Первый — промысел из экспедиционного становится круглогодичным. Это, очевидно, означает, что суда круглый год будут находиться в океане. Раньше на три месяца уходили в море, сейчас будут уходить на год. Верно?

— Нет, неверно. Суда будут совершать прежние трех-четырехмесячные рейсы, только приходить и уходить неодновременно. И промысел не прекратится от того, что каким-то судам нужно возвращаться. Отменяются лишь караванные выходы и приходы.

— Хорошо, останутся прежние четырехмесячные рейсы... Но промысел, начатый в каком-нибудь районе, будет длиться уже не три месяца, а год? Теперь верно?

— И теперь неверно. Целый год в одном районе промышлять невозможно, рыба ведь полный год не держится на одном месте, она приходит и уходит. Но, вероятно, пять-шесть месяцев — срок реальный. В одном районе океана осенне-зимний промысел, в другом — весенне-летний. Не понимаю, для чего это тебе нужно?

— Сейчас поймешь. Перехожу ко второму факту. О капитане Соломатине начальство самого лучшего мнения, ему прочат повышение. Что за повышение? Командовать плавбазой, вместо траулера?

— Вряд ли. В капитан-директоры нужен человек с любовью к экономике. Это ведь не только судно, но и завод. Я моряк, а не производственник. Многие больше меня подойдут на плавбазы.

— И я так думаю. Березов намекал — на плавбазу прочат Трофимовского. Что же готовят Соломатину? Такому удачливому, такому образованному моряку?

— Откуда мне знать?

— Не знаешь? А я знаю! Никто мне не говорил, а я все равно знаю. Уверена, что тебя назначат руководителем промысла, одного из тех, которые организуют на полгода в каком-то районе океана. Не знаю, как ты будешь тогда называться — начальником промысла, командиром или просто флагманом, но что это будешь ты, убеждена.

Он сдержанно сказал:

— Предложения такого пока официально не делали. Она настаивала:

— А неофициально? В дружеских разговорах? Он ответил уклончиво:

— Мало ли какие разговоры заводят?

— Мне о таких разговорах ничего не сказал!

— Не хотел раньше времени волновать. Разговоры всегда ведутся — и о важном, и о пустяках. Не все же валить на тебя.

Она со злой иронией возразила:

— Важное — твое служебное повышение? А пустяки — повеселиться с женушкой в отпуске. — Ее голос задрожал. — Важное и пустяки! Обо всем говорили, обо всем думали! Об одной лишь малости не подумали — обо мне! Все рассчитывали, меня одну не приняли в расчет! Такой крохотный пустячок — я!

— Оля, нельзя же так! — сказал он с досадой. — С чего ты раскричалась? Борис Андреевич услышит, Мухановы за стеной.

— Пусть весь дом слышит, что я больше не могу. Всему городу крикну: не могу, не хочу больше!

— В первый раз вижу истерику у тебя, — сказал он.

— А ты сколько меня вообще видишь? — воскликнула она с горечью. — Два месяца в году! А что со мной, когда ты в море, ты видишь? Ты видишь, как я ночи не сплю, все думаю — где ты? Жив ли, здоров ли? Ветер шумит за окном, вся дрожу — ох, шторм в Атлантике, вас разбивает, вас несет на скалы! Дождь пойдет — у вас гроза, ураганы! Мороз ударит — обледенение! Все дни страхи, все ночи страхи!

Он пересел на диван, обнял ее, она прижалась головой к его плечу. Минуту они молчали. Он ласково заговорил:

— Понимаю тебя, Оля. Но ведь ты не одна. Все твои подруги...

Она мигом взорвалась и оттолкнула его.

— Что мои подруги?. Что? Может, они мужей своих не так любят, может, по натуре поспокойней, может, заводят тайных дружков, а может, хуже моего терзаются. Не знаю и знать не хочу! Сил моих больше нет! Доля рыбачки хуже доли солдатки. У солдаток разлука с мужьями всего на два, на три года — и солдаток все жалеют. У рыбачек разлука с мужьями на всю жизнь — и никто их не жалеет, все считают, что одинокое существование в порядке вещей. Не хочу больше такого порядка! Сколько ночей просыпаюсь, обнимаю твою подушку — нет тебя, нет! Хватит с меня одиночества!

— Уже скоро десять лет хожу по морям... Сперва на юге, теперь здесь.

— Вот именно! Юбилей будем справлять — десять лет одиночества и мук! А сейчас эта ваша перестройка!.. Удвоят муки, удесятерят тоску — и назовут это: «Рационализация промысла» и «Муж продвигается по служебной лестнице»! Не хочу такого продвижения! По три месяца терзалась без тебя, теперь велят по полгода? Сердца нет у людей!

— Ты ставишь меня в немыслимое положение! — сказал он хмуро.

Она опять взорвалась:

— Тебя ставлю? А в какое ставят меня? Еще раз спрашиваю, почему никто не поинтересуется, каково мне? Посмотри на меня, я ведь еще молодая, правда? И я красивая, по крайней мере, ты всегда уверял меня в этом.

Он еще надеялся шуткой повернуть течение разговора.

— Если и ошибался, то искренно. Для меня ты лучшая из всех женщин на земле. Надеюсь, ты не сердишься, если я и преувеличиваю твои достоинства?

Она чуть не застонала:

— А для чего мне все эти достоинства, если тебя нет рядом? Для чего мне быть красивой и молодой?.. Когда я иду по улице, многие мужчины оглядываются, а мне горько, ты этого не видишь, даже поревновать меня некому. И я думаю об одном: все лучшее во мне пропадает, я вяну, сохну, безвременно старюсь... Ни для кого, ни для чего — одна мысль! Сережа, тебе не страшно, что меня посещают такие мысли? Они ведь могут привести к беде!

— Интересное признание! Но как понять тебя? — холодно спросил он.

— Не притворяйся, что не понимаешь! Сережа, ты можешь потерять меня! Если долго так будет продолжаться, я утрачу контроль над собой. Я могу изменить тебе!

Он привлек ее к себе, целовал губы, щеки, глаза, потом ласково произнес:

— Олечка, никогда между нами не было обмана — и никогда не будет. Не верю, не верю! Окажи, что ты все выдумываешь!

— Ах, я сама не знаю, где выдумка, где правда, — ответила она со слезами. — И мне так жутко от иных мыслей, от скверных желаний. Я не хочу скрывать от тебя ничего...

Наступило продолжительное молчание. Он хмуро глядел в пол, она тихо плакала на его плече. Он заговорил — спокойно и рассудительно:

— Подведем итоги, Оля. Ты ставишь меня перед выбором: отказаться от повышения или потерять тебя. Я выбираю тебя. Бели мне официально предложат возглавить промысел, я не соглашусь. Устраивает тебя это?

— Нет! — воскликнула она, вскакивая. — Нет и нет! Ошеломленный, он молча смотрел на нее. Только сейчас до него дошла огромность ее настояний. После паузы он задал вопрос, уже зная ответ на него:

— Так чего же ты хочешь?

Она опустилась перед ним на колени, схватила его руки, страстно глядела в его лицо, шепотом молила:

— Бросай море! Хочу, чтобы перестал бороздить океан. Бери работу на берегу.

Все это так чудовищно противоречило всему, на что он был готов согласиться, что он не рассердился, а рассмеялся.

— Море бросить? Мне, капитану дальнего плавания Соломатину? Ошалела, форменно ошалела! Сергей Соломатин в дезертиры? Да понимаешь ли ты, чего требуешь? Да ты просто с ума...

Она прервала его, еще горячей доказывала свое, еще настойчивей умоляла. Нет, пусть он не думает, что она сошла с ума, что отдается вздорным мыслям, скверным порывам. Нет, нет, все не так, все по-другому! Она долго думала, она все взвесила. Сергей скоро десять лет ходит по океану, можно сделать и передышку на несколько лет. И она не требует, чтобы он отказался от повышения, нет, не требует. Она понимает: новая организация промысла потребует огромной предварительной подготовки на берегу. И ее должен провести настоящий моряк, знаток моря и промысла, специалист, досконально понимающий все, что может потребоваться рыбаку. Почему не Соломатин, он же всех лучше знает условия труда в океане? Она спрашивает, просит, умоляет — почему не Соломатин?

Он плохо слушал ее, плохо понимал смысл ее требований. И когда она на секунду-две замолчала, он ошеломленно сказал:

— Ведьма ты! Сумасбродная ведьма, вот ты кто!

А она с ликованием услышала в его ответе, что он потрясен, что в нем совершается невидимая ей борьба и что он уже не способен ответить на ее просьбы категорически-резким, убийственным для нее отказом. Она горячо целовала его руки, горячо шептала:

— Да, да, ты прав, ты всегда прав — ведьма! Добавь только — влюбленная ведьма, ведьма, сходящая с ума от тоски. Столько ночей выплакано, столько мыслей передумано! Сережа, милый, люблю, люблю!

10

Приказ о перестройке промысла и наведении порядка на флоте был наконец вывешен — на площади перед «Океанрыбой» и в ее коридорах забушевала буря. У описка отчисленных на берег толпились и шумели — кто, увидев свою фамилию, ругался, кто, с облегчением не найдя себя в списке, сочувствовал незадачливому товарищу. У кабинетов Кантеладзе и Березова не убывала очередь обиженных.

Шмыгов не поверил глазам, когда обнаружил себя среди списанных. Со свитой друзей, предвкушающих занимательное зрелище, механик поднялся «взять на гак» управляющего. Шумная толпа забила приемную. К Кантеладзе пустили одного Шмыгова, остальным секретарша приказала вести себя тихо. Она была строгая — гомон спал.

Кантеладзе приветливо подал руку, усадил Шмыгова в кресло так уважительно, что механик не сумел начать разговора и с минуту только молча смотрел на управляющего.

А тот отвечал на возмущенный взгляд старшего механика такой радостной и доброй улыбкой, словно Шмыгов оказал ему честь своим приходом и собираются они вовсе не спорить и, может быть, даже ссориться, а хотят взаимно порадоваться, как хорошо складываются дела в их родном учреждении.

И выждав ровно столько, чтобы сбить у Шмыгова ярость, Кантеладзе заговорил первый.

Шалва Георгиевич Кантеладзе, невысокий, плотный, важный, темнощекий и темноглазый, был из начальников, которых подчиненные побаиваются, хотя он и голоса, глуховатого и неторопливого, никогда не повышал и на выговоры не был щедр. Моряк из средних, он брал организаторским умением — за шесть лет его работы в Светломорске маленькое береговое предприятие превратилось в один из крупнейших рыбодобывающих трестов страны. Говорили, что у него сильные приятели в министерстве — и это способствует его успехам, о нем посмеивались: «Шалва — инвалид, одна рука здесь, другая в центре». А Муханов, начавший работу в «Океанрыбе» еще до появления Кантеладзе, шутил по-своему: «Наш управляющий — трехрукий и десятиглазый. Все вокруг видит, держит одну руку на пульсе наших интересов в Москве, а две оставшиеся так энергично орудуют при нем, что только удивляться!»

— Много ждем от вас, Сергей Севастьянович, — ласково сказал управляющий. — Убивает ремонтная база, товарищ Шмыгов, просто режет, будете теперь поднимать на ноги ремонтников.

— Не буду! — объявил Шмыгов грозно. — Меня в ремонтники? Да тот двух дней не проживет, кто такое надумает!

Кантеладзе с улыбкой развел руками.

— Третий день живем, дорогой, третий день как подписан приказ — ничего, еще собираемся жить. Говорю вам...

— И слышать не хочу! Весь род мой на судах, а я на берегу, да? Еще Петр Великий не родился, а Шмыговы рыбачили в море!

Управляющий засмеялся.

— Рыбачили в море! Весло да парус — вот и вся техника. А мы, дорогой товарищ Шмыгов, индустрия. И кто лучше вас знает судовые двигатели, кто, укажите? Нет, кончим, кончим на этом, дорогой. Приживайтесь на берегу.

— Тогда у вас не переведутся штормы на берегу! — посулил механик и, выскочив в приемную, позвал, кто пожелает, идти с ним заливать горе. Но мало кому захотелось уходить из бурлящей «Океанрыбы».

Среди обиженных был и Шарутин, его перемещали на метеостанцию в порту. Мрачный штурман, повстречав Мишу, скорбно пробубнил стихи о лихой судьбе, превращающей мореплавателя в клерка. «Я теперь знаешь кто? Метеолух!»— сказал он. И, повторяя понравившееся словечко «метеолух», мощно возгласил: «Наблюдать невидимые сполохи, бури линиями изображать, не боками, цифрами дрожать — вот судьба презренных метеолухов!» Стихотворным возмущением, впрочем, и ограничился его протест — штурман покорно пошел на новое место работы.

Попросил приема у Кантеладзе и Карнович.

Кантеладзе разговаривал по трем телефонам сразу: две трубки прижимал к ушам, третья лежала на столе. На столике стояло пять телефонных аппаратов, каждый особого цвета.

— Да, да, постараюсь утрясти в Москве и доложу вам, — негромко произнес Кантеладзе в оранжевую трубку и положил ее на аппарат. — План составлял не я, план спущен министерством, надо выполнять, дорогой, надо выполнять! — прокричал он в черную трубку и тоже возвратил ее на столик, а в белую сердито сказал — Нет, вы слышали разговор? Я от людей требую промысла, а на чем они будут промышлять в океане? На шлюпках? — Слушая, он свободной рукой чертил что-то на листе бумаги. — Короче, пиши докладную, что не можешь. А мы тебе тоже напишем — выговор! Вот так, дорогой!

Он оставил телефоны и протянул руку. Широкое, темное лицо дружески улыбалось, под мощными, седеющими бровями сверкали черные насмешливые глаза.

— Садись, Леонтий Леонидович, садись, дорогой. — Кантеладзе знал в лицо и по имени всех своих капитанов, старпомов и стармехов. — Ты Юлия Цезаря знаешь? Ну, лично не удалось познакомиться, понимаю, а слыхал? Юлий Цезарь делал два дела сразу — одевался и диктовал секретарю. У нас в управлении пришлось бы императору доучиваться еще на два дела, чтобы вышло четыре. Что же ты молчишь, дорогой? Жалуйся! Стесняться — нехорошо, я не люблю!

— Я насчет выхода в океан. «Бирюза» возвратилась с промысла...

— Знаю. Не поставили твою «Бирюзу» опять в океан, назначили на Балтику. Обида, конечно. И правильно, что жалуешься, не уважал бы, если бы смолчал. Меня бы так обидели — кулаком бы по столу стучал!

— Так в чем же дело, хотел бы я знать? Почему другие люди в океан, а мне рейсовое направление в прибрежные лужи? За что такая немилость?

Кантеладзе некоторое время, не сводя с лица дружелюбного выражения, молча смотрел на разозленного молодого капитана. С Карновичем нельзя было так просто разговаривать, как с другими, к нему нужно было поискать ключи потоньше. И ему надо было доказательно разъяснить, что никакой немилости к нему нет, а есть то, что называется «морской школой». Рано или поздно этого человека надо было «прижать». Если иные рыбаки «дурели», сходя на берег, то Карнович «дурел» в море. На водном просторе он терял представление о дисциплине. Руководители караванов дружно жаловались на его своеволие. Он готов был гнаться за рыбой в любую погоду и на любом отдалении от флотилии. Экипаж на «Бирюзе» подобрался под стать своему капитану: даже в штормы этот траулер не жался к базе, а лихо носился по морю, выискивая рыбные косяки.

Собственно, в неуемной самостоятельности Карновича проступка большого не было, некоторые, даже сам Березов, склонны были считать достоинством такую независимость. Березов предсказывал, что в скором времени только так и пойдет промысел — каждый капитан поведет автономный поиск и лов, сообразуясь лишь с ходом рыбы, а не с приказом с берега или плавбазы. Но это время еще не пришло. Суда на промысел шли караванами, надо было соблюдать основной «караванный принцип»— знать свое место в строю. Лихая удачливость Карновича вызывала зависть, ему старались подражать — но то ли не хватало такого же морского умения, то ли просто не было счастья, выпадавшего ему, только добыча не увеличивалась, а порядок нарушался. Кантеладзе не наказывал Карловича, а убирал «подальше от соблазна», так он сам это сформулировал, когда своей рукой вписывал Карновича в приказ № 118.

Управляющий встал из-за стола, обнял Карновича за плечи, подвел к окну. Перед зданием не убывала толпа.

— Скажи — кто они, все эти? Управляющий говорил очень торжественно.

— Не понимаю вопроса, Шалва Георгиевич. Люди.

— Ты бы еще сказал — хорошие советские люди. И был бы прав, дорогой. Во всех наших городах советские люди и везде они хорошие.

— Ну, что еще? Моряки. Океанские рыбаки...

— Океанский народ, правильно. А какой народ? Пришлые, вот кто. Из многих республик. Со всех советских меридианов и параллелей. Разные обычаи, разные уклады жизни. А мы из них делаем коллектив, общий обычай создаем, такая наша забота, дорогой.

Управляющий вдруг заговорил, как юношей рыбачил на Черном море, а перед войной организовывал рыбацкий промысел на Дальнем Востоке. Охотское море — по площади десять Балтик, осваивали океан. Каждый год прибывали новые люди, а было легче — пришлые вливались в недра коренного населения, перенимали традиции, трудовой коллектив уже существовал, он лишь умножался. А здесь строим на пустом месте! Пришлые народ особый — легкие на подъем, хитрые на выдумку, энергичные, лежебоки на новые места не лезут. Бочка, клокочущая от брожений мыслей и дел! Но если бочку не скрепить обручем дисциплины, наружу выплеснет хаос, анархия будет, а не порядок.

— Индустрию делаем! Рыбодобывающую индустрию. Десятки заводов в океане! Вместо удачи — расчет. На кальке расписываем промысел, потом идем в море. А кое-кто приносит старинку свою. Фартовщики — своеволие, надежду на случай... Нет, так не пойдет! Ведь что порой на берегу? Пьянки, вокруг промысловиков вьются бичи, скверные женщины... Перед отходом матросов на иные суда свозят хмельных на такси! И это терпеть? Вот смысл приказа: всех алкашей, всех анархистов — вон! Не пожалею и хороших работников, если распускаются на берегу.

— Я же не пьяница, с потаскухами не знаюсь! Имейте же совесть!

— Имеем совесть, имеем! Не пьяница, не гуляка, правильно. Нужны нам хорошие капитаны и на Балтике, тут остался народ помельче — и рыба пошла мелкая. Город снабжаем свежьем, из воды — на стол! Посылаем «Бирюзу» на усиление промысла в наших водах, вот так считай, дорогой, и спорить не надо!

Кантеладзе дружески потрепал Карновича по плечу. Управляющий мог и жестоко распечь нерадивого работника, мог и закончить неприятный разговор хорошими словами — обескуражить, если не обезоружить.

Карнович понимал, что после разговора с самим управляющим просить заступничества у его заместителя бесполезно. Да и обида, что Березов, всегда отмечавший молодого капитана среди других, в решающую минуту не заступился, мешала идти с просьбами. Несколько минут его томило желание пойти с жалобой к Муханову, но, убедившись, что у дверей кабинета Алексея много народу, совсем пал духом.

Мрачный, он поплелся домой. На выходе в парк его нагнал Шарутин. Штурман с надеждой осведомился:

— Чем кончился твой визит, Леонтий? Я поспрошал ребят в приемной, они говорили, что Шалва улыбался тебе, как родному сыну. Верно?

Карнович хмуро ответил:

— Если улыбался, как сыну, так перед тем, как выпороть сына розгами. Кремень! Обволакивает ласковыми словечками, а переубедить его — пустая трата времени.

— Давай посидим в парке, — предложил Шарутин. — Чудная сегодня весна — сто лет такой не помню.

— Не сегодня, а в этом году, милорд, — вяло поправил Карнович. — Удивляюсь — хвалишься, что поэт, а в родном языке не силен. Вечно что-нибудь перековеркаешь.

— Сегодня, а не в этом году, — упрямо повторил штурман. — Слово «сегодня» — расширительное, в народе так часто говорят. А если я коверкаю речь, так в соответствии с ее собственными законами, так сказать, подчеркиваю ее богатые возможности. Абсолютно правильно говорят одни иностранцы, да еще мой редактор. Был такой знаток русского, академик, немец, он нам сочинил грамматику, безупречность — жуть, а по-русски изъяснялся устно — не дай бог!

— Иди ты! — пробормотал капитан. — До грамматики ли мне сейчас?

Они присели на валун, нависающий над ручьем. В парке звенели птичьи голоса. Ветерок нес запах сирени и шиповника. Шарутин пробасил:

— Не убивайся. Перемелется — мука будет. Ты молодой, неженатый, не мне чета.

Карнович с угрюмой насмешкой посмотрел на него. — С какого дня определился в старцы?

— А что? Ровно на шесть лет старше тебя. Шесть лет — штука серьезная. Скоро тридцать стукнет. К тому же — разведенец. Хлебнул семейного горюшка, а тебе еще предстоит. Ты шторма только на море знаешь, а я в собственной комнатухе такие самумы и тайфуны понаиспытывал!..

Капитан явно не поддерживал постороннего разговора. Шарутин помолчал и деловито уточнил: — Значит, Балтика? И пойдешь?

— Не знаю, — задумчиво отозвался капитан. — Одна мыслишка появилась: а не послать ли Светломорск ко всем чертям? Я в мореходке вначале в Мурманск собирался, а почему-то перемахнул сюда. На Каспии оставляли — не захотел, а ведь Каспий побольше Балтики. Примириться с этой лужей? В Мурманск написать только, мигом заберут, а там океан.

Шарутин прогудел:

— Большой воды мечтатели! Эх, молодежь! И я таким же был в далеком прошлом — года три назад. Кстати, тебе нравится это выражение: большой воды мечтатели?

— Неплохо, только немного выспренно.

— Собираюсь так назвать свою вторую книгу стихов. Три месяца работаю как бешеный. Строк сорок уже срубил. Классика, а последняя строфа вообще шедевр. Это без преувеличений, ты ведь знаешь, я дьявольски объективен. Теперь слушай опытных людей. Переводиться в Мурманск запрещаю.

Карнович иронически поинтересовался:

— И есть такое право — запрещать? Не перебор?

— Точный расчет обстановки. И понимания твоих моральных обязательств перед собой и передо мной.

— Очень интересно! Но чересчур темно. Может быть, выпустишь вторым изданием со списком опечаток?

— Никакой опечатки. Итак, моральные обязательства перед собой. Первое. Не делай слишком резких движений! Ибо что такое Балтика? Крохотная веха на твоем жизненном пути. Максимум на три месяца, пока бушует весенне-летняя путина. А потом половину судов, хочешь не хочешь, снова направят в океан. И, естественно, «Бирюзу». Второе важное соображение: Дина...

— Дину оставь.

— Дину оставишь ты. После женитьбы, естественно, когда поймешь, что любовь к Дине — узы, и попытаешься их разорвать. Будешь завидовать мне, разведенцу и отныне вечному холостяку. А пока тебе надо завоевать ее. Дина в Мурманск не поедет ни за что. Этим исчерпываются твои моральные обязательства перед собой.

— Допустим, дорогой сэр. А чем, скажи на милость, я обязался перед тобой?

Шарутин соскочил с валуна и молитвенно сложил руки на груди.

— Леонтий! Я тебе сейчас, как наши славные предки бывало на духу... В тебе единственная моя надежда! Ты мой якорь опасения! Спасательный круг, кинутый в бушующую пучину, где я тону! Могучая боцманская рука, ухватившая меня за портки в минуту, когда я полетел через фальшборт! Ты...

— Нельзя ли покороче, синьор?

— Не перебивай! Я настроился на длинное излияние.

— А у меня нет настроения слушать длинные речи.

— Повинуюсь! На «Бирюзе» все твои штурманы — с дипломами дальнего плавания. И в отличие от тебя, народ приличный, поведения степеннейшего. Им, конечно, обидно менять океан на Балтику, да и заработки не те, сам понимаешь. Не может быть, чтобы кто-нибудь не выпросился на дальний промысел. Значит, место освободится. А свято место пустовать не должно. Ты лишний раз подтвердишь это, пригласив меня к себе в штурманы.

— Неужели у тебя нет более верной перспективы выйти в море, хотя бы в ту же Балтику? — с удивлением спросил Карнович. — На такой неверный шанс ставишь, как бегство одного из моих штурманов!

Лицо Шарутина омрачилось. Он снова сел на валун.

— Видишь ли, — сказал он. — Положение мое не похоже на твое. Ты — молодой капитан, будущая знаменитость, так все твердят. А что я?

— Ты хороший штурман.

— Кто это знает? Только Доброхотов да Новожилов, с ними я плавал. А другие не верят. Для промысловиков я поэт, ради солидности называющий себя еще и моряком. Литераторы же считают меня моряком, от нечего делать пописывающим стишата. Понимаешь мою трагедию: у моряков — поэт, у поэтов — моряк! Никакой, короче, солидности.

— А кто ты, и вправду: моряк или писатель?

— И то, и другое. Без моря мне нет поэзии, без стихов нет моря. Я должен сидеть на двух стульях, таково мое предначертание свыше, то есть от природы. Штурманский диплом мой видел? С отличием! Заочно занимаюсь сейчас в литературном институте. Тоже одни пятерки. А кто это знает? Кто понимает? Шалва этот... «Вам лучше поработать на берегу! Больше будет времени для литературной деятельности!» Каково, а? Нет, Леонтий, вся моя надежда — ты. Выручай. Я взял курс на твою «Бирюзу». Всеми морскими дьяволами молю — не бросай своего судна!

Капитан размышлял.

— Пожалуй, ты прав. Есть еще одно обстоятельство. Через три месяца у меня будет выплаван полный ценз капитана дальнего плавания. Тогда я и поставлю вопрос — либо, и вправду, дальнее плавание, либо будьте здоровы, отчаливаю от вас. Лето похожу по Балтике, так и быть. И если освободится место штурмана, первый кандидат — ты. Теперь, извини, спешу.

Карнович поднялся.

— К Дине, само собой? — спросил Шарутин.

— К кому же еще?

— Еще не поссорились?

— За неделю, что я на берегу, два раза ссорились и мирились.

— Сегодня опять поссоритесь, — предсказал штурман. — Мир вас не берет. И не возьмет. Слишком крепко ты ее любишь, вот твоя беда. И не плохо было бы, если бы она поменьше тебя любила. Излишек любви — источник великого жизненного беспокойства.

— Занеси эту великолепную мысль рифмованными строчками в новый свой сборник «Большой воды мечтатели», дорогой бард, — посоветовал капитан.

11

У двери Алексея очередь жалующихся была все же поменьше, чем в приемных Кантеладзе и Березова. А когда посетители, один за другим выходившие от него, стали говорить, что секретарь парткома считает приказ правильным, объявляет себя одним из его авторов и отказывается ходатайствовать за обиженных, если не представлены серьезные доказательства несправедливости, охота попасть к нему поубавилась, и очередь поредела.

Перед обедом Алексей выглянул и увидел, что остался лишь незнакомый моряк в форме капитана рыболовного флота. Он не мог быть из числа обиженных: людей, поименованных в приказе, Алексей хорошо знал.

— Вы ко мне? — спросил Алексей. — Тогда заходите.

Моряк молча вошел, сел на стул против окна. Это была мелочь, но существенная. Люди, не очень уверенные в своей правоте, старались садиться спиной к свету: так поступали почти все, кто входил сегодня в кабинет секретаря парткома.

— Меня зовут Василием Васильевичем Лукониным, — представился моряк. — Может быть, уже слышали обо мне?

— Слышал. И хотел познакомиться. Ждал, когда придете становиться на партучет. Хотел задать вам несколько вопросов.

— Может, начнем с ваших вопросов? — предложил Луконин.

Алексей засмеялся.

— Вы ведь пришли по своему делу, а не для того, чтобы выслушивать еще неизвестные вам мои вопросы. Вот и начните со своего дела.

— Дело у меня одно — познакомиться с вами и объяснить, для чего и перевелся на работу в Светломорск. Начну немного издалека.

Луконин говорил, а Алексей, слушая, изучал его худое, резко очерченное лицо. В Луконине, даже одетом в форму гражданского моряка, чувствовался бывший военный — он говорил четко, рапортовал, а не объяснял. Многое в этом человеке казалось странным, даже удивительным. Месяца три назад Березов, возвратившись из Москвы, с восторгом говорил, что встретил друга, отличного моряка, ныне видного работника министерства, и что друг его согласился бросить работу в аппарате и приехать в Светломорск, чтобы работать в «Океанрыбе». И отнюдь не добивается высокой должности, равноценной его столичной, но согласен простым капитаном рядового судна идти в океан. Перед самым приездом Луконина в Светломорск о нем стало известно, что он попросился в океан на спасателе «Резвый» и везет какой-то новый проект усовершенствования рыбного промысла. Алексей догадывался, что речь пойдет об этом проекте. Луконин с него и начал свое объяснение.

— Хочу вас информировать, Алексей Прокофьевич, что хоть я и новый у вас работник, но уже составил свое мнение о производственном направлении вашего треста. Я убежден, что вы промышляете не ту рыбу, не в тех районах и не в те сроки.

— Не слишком ли сильно? — спросил Алексей, улыбаясь.

— Нет, не сильно. Сейчас я попытаюсь убедить вас в этом. И делаю это для того, чтобы завербовать вас в сторонники своего плана.

И Луконин заговорил о том, что «Океанрыба» ориентируется сегодня на селедку с треской, практически игнорируя все другие виды рыб, а их в океане великое множество. И некоторые в пищевом отношении гораздо лучше сельди. Привязанность к сельди и треске географически сужает промысел, он ведется только в Северной Атлантике. Весь остальной океан для треста пока — целина, терра инкогнита. Его проект таков — срочно подготавливать условия для промысла сардины, сайры, тунца, нототении и других рыб. Пришла, давно пришла пора привозить из океана не только рядовую, но и деликатесную продукцию! Для этого нужно создать мощный флот промысловой разведки и разослать его во все районы мирового океана, чтобы точно определить рыбные запасы.

В этом месте Алексей прервал Луконина:

— Есть специальный институт, разведывающий новые районы лова и новые породы промысловых рыб.

Луконин согласился — да, такой институт есть, и он ведет важные исследования. Но у науки свои задачи, а у производства свои. И возможности института в смысле количества и оснащенности судов несравненно меньше, чем у треста. Вот его предложение — «Океанрыба», хотя бы и во временный ущерб сегодняшнему вылову, часть судов переводит на промысловую разведку, поставленную в самом широком масштабе. Собственно, он, Луконин, для того и приехал сюда, чтобы организовать такие разведочные экспедиции в разные места океана.

— План хорош, но раньше надо получить санкцию на него в министерстве и Госплане, — заметил Алексей.

— Для этого я привез подробный доклад — с выкладками и цифрами. Важно, чтобы сами вы, руководители «Океанрыбы», загорелись моей идеей. Смею надеяться, что я завербовал вас в свои сторонники, как сделал это с Николай Николаичем?

— Можете считать, что это так. А пока ваш план примут, вы решили выйти в океан на спасателе?

— Именно. Десять лет не выбирался в дальние моря. Надо возобновить знакомство с океаном. У вас были вопросы ко мне. Я слушаю.

— Я начну с самого маленького. Почему вы взяли «Резвый»? У нас имеется спасатель новейшей конструкции, очень мощное судно. Вы его забраковали.

— Не забраковал, нет. Но он плоскодонный, тихоходный, для спасения на мелях такие корабли отлично служат. А в открытом океане, где промысел разбросан на акватории в сотни миль, «Резвый» лучше — он быстроходен, маневрен, а мощность машин не меньше, чем у спасателей других конструкций. Еще будут вопросы?

— Только один. Почему вы бросили Москву?

— Вас это удивляет?

— Признаться, да. Я читал вашу анкету...

— Много порочащих фактов обнаружили?

— Ни одного. Зато благодарностей и наград — много. И вот парадокс: отличное положение, столица, высокая зарплата. Вдруг все оставляете, с трудом добиваетесь увольнения — и к нам. Оклад — меньше, должность — ниже, гостиничное жилье... От добра на худо ушли, так получается.

Луконин пожал плечами.

— Надо бы раньше условиться, что есть добро, что худо. Философия недостаточно разъяснила эти понятия, Алексей Прокофьевич.

— Значит, причина вашего перехода — в недостаточной разработанности философских категорий? Мудрено, Василий Васильевич!

— Откройте окна — будет проще.

Алексей встал и распахнул окно. Волна свежего воздуха наполнила комнату. Алексей взглянул на канал. С моря накатывался шторм, белые барашки исполосовали воду, траулеры, стоявшие в три нитки у причалов, со скрипом терлись бортами. Луконин с наслаждением втянул в себя воздух.

— Чувствуете? — Ветер с океана! Алексей усмехнулся.

— Хорошо, оставим на другой случай обсуждение философских проблем. Мне кажется, я вас понимаю.

Луконин откланялся. Зазвонил внутренний телефон. Кантеладзе просил Алексея немедленно прийти к нему.

Сам он хмуро ходил по кабинету, разминая затекшие ноги, у стола сидели Березов и Соломатин. Алексей увидел, что Березов зол до того, что готов ругаться и стучать кулаком по столу — свирепо нахмуренные брови, сердито блестевшие глаза выдавали его состояние. Соломатин казался больным — красивое лицо посерело, под глазами набухли мешки. «Никогда же не было у Сергея мешков под глазами», — с удивлением подумал Алексей. Сегодня ночью, когда гости уходили из квартиры Соломатиных, веселый, здоровый, немного навеселе, он выглядел совсем по-иному.

— Что случилось? — спросил Алексей.

— «Все смешалось в доме Облонских» — помнишь такую фразу, Алексей Прокофьевич? — ответил управляющий. — Сегодня ночью все смешалось в доме Соломатиных — и, хотя квартира его поменьше особняка Облонских, дело гораздо хуже, чем у того московского князя, так считает мой заместитель. На новую должность попросился капитан Соломатин, Николай Николаевич не может этого перенести. Просим твоего, авторитетного суждения.

Алексей давно привык к тому, что в узком кругу своих помощников Кантеладзе и в серьезное обсуждение вносит нотки иронии. Он даже и над собой беспощадно подшучивал, если ему что-то не удавалось. Насмешливый тон не отменял серьезности разговора, зато усмирял страсти, вышедшие из-под контроля. Не раз в его кабинете спорящие ударялись в крик — и спокойная насмешка управляющего действовала, как струя холодной воды. Алексей понял, что с Соломатиным произошло что-то из ряда вон выходящее, Березов возмущен и, вероятно, высказал свое возмущение, не стесняясь в словах, Соломатин столь же запальчиво возражал, а Кантеладзе пытается ввести спор в спокойное русло.

И еще одно понял Алексей: спор еще продолжается, решения нет, недаром просят суждения секретаря парткома, но про себя Кантеладзе решение уже принял, и когда дискуссия закончится, выскажет его, по своему обыкновению, в категорической форме.

Алексей обратился к Соломатину:

— Что-нибудь произошло с тобой, Сергей Нефедыч? Соломатин раздраженно кивнул на Березова.

— Пусть тебе расскажет Николай Николаевич. У него это хорошо получается — без прикрашивающих слов, оценка самая точная...

— И расскажу! — закричал Березов, вскакивая. — И прикрашивать ничего не буду! Нельзя такое возмутительное дело прикрашивать! Так вот, Алексей, да будет тебе известно: капитан Соломатин дезертирует! После недавнего правительственного награждения за успехи в море, перед тем как мы решили назначить его руководителем нового промысла, он бежит с моря. Так прямо и объявляет: в море больше ни ногой! Прославленному капитану надоело быть капитаном, запросился в клерки. Предательство, по-моему, перед нами, перед самим собой, перед общим нашим делом!

— А причины? — спросил Алексей, с недоумением всматриваясь в бледное, опухшее от бессонной ночи лицо Соломатина.

— Какие причины? Не может быть уважительных причин у поступка, не вызывающего уважения! Куча невнятных оправданий: устал, жена нездорова, хочется на суше поработать... Мало ли что можно придумать! Мое мнение: отказать! И провести отказ специальным решением парткома.

— Этого не будет! — твердо сказал Соломатин.

— Будет! — запальчиво закричал Березов. — Будет, ибо соответствует интересам дела, твоим собственным интересам. Твоя жизненная цель, твое призвание — океан! И если сам ты на час потерял об этом представление, если попал вдруг под каблук жены, которой вздурилось вить из тебя веревки, так мы...

Побледневший Соломатин с горечью сказал управляющему, продолжавшему молча ходить по ковровой дорожке:

— Вы считаете такой тон разговора допустимым, Шалва Георгиевич? Почему меня оскорбляют в вашем кабинете? Чем я это заслужил?

— Не заслужил оскорблений, не заслужил! — успокоил его Кантеладзе. Он с упреком обратился к Березову: — Николай Николаевич, вы с капитаном Соломатиным большие друзья, сам учил ходить его по морю, сделал из него отличного моряка. Конечно, между друзьями всякие бывают слова и хорошие, и нехорошие. Но этот кабинет — служебный. Здесь мы все забываем, кто приятель, кто нелюбимый... Здесь ругаться не надо.

Алексей быстро обдумывал, как держаться. Происшествие было непредвиденное, но ясное. Мария вчера с тревогой говорила, что Ольга Степановна не в себе и, по всему, от нее можно ждать какой-нибудь выходки. Этой ночью Сергею пришлось нелегко. Можно только представить себе, какие меры она использовала, какими угрозами грозила, чтобы так сломать мужа! Березов напрасно твердит о предательстве, об измене призванию, все это, нет сомнения, Сергей говорил себе сам и, вероятно, самообвинения были еще горше, еще более гневные. Но то, чем его пытала Ольга, очевидно, было сильней. Он покорился жене, ни уговоры, ни брань Березова не помогут — во всяком случае, пока не улеглась семейная буря. Ольга Степановна настоит на своем, Березов просто плохо знает ее характер. А Сергей ни за что не пойдет на разрыв с женой.

Кантеладзе остановился перед Алексеем:

— Твое мнение, секретарь парткома?

Алексей сдержанно ответил:

— Случаи, когда капитаны бросают море и оседают на суше, у нас бывали не раз. Трест расширяется, мы нуждаемся в умелых работниках и на берегу. Если Сергей Нефедович представит серьезные основания для своего перевода, можно отнестись к его просьбе сочувственно.

Управляющий возвратился к столу. И негодующий Березов, и подавленный Соломатин, и спокойный Алексей, слушая Кантеладзе, понимали, что он объявляет решение, принятое еще в начале дискуссии, но только до поры до времени не высказанное им:

— Полностью согласен с Алексеем Прокофьевичем: хорошие работники нам нужны на берегу, очень нужны. Особенно теперь. Николай Николаевич, ты жаловался, что один не справляешься с организацией нового промысла. Так в чем вопрос? Вот тебе дельный помощник, нужды рыбака в океане знает, как никто, будешь только радоваться. Вот так, дорогой товарищ Соломатин, бери задание:, техническая подготовка промысла. А на новый промысел пошлем руководителем другого моряка, опытного капитана, не хуже Соломатина. Ты, дорогой, не один хороший, есть и такие же, есть и лучше тебя, не обижайся. Не погибнем, оттого что отказался от моря.

И лишь этой острой шпилькой, от которой болезненно помрачнел Соломатин, управляющий показал, что в душе он не одобряет поступка своего капитана.

12

Оформление выхода в море в «Океанрыбе» затягивалось.

Миша попросил помощи Алексея. Алексей ответил, что радеть родному человеку — не его принцип. Пусть все идет, как должно идти по закону. Отец, хорошо знавший характер старшего сына, промолчал, Миша с вызовом спросил брата, что если так, то не следует ли ему покинуть его квартиру? Алексей спокойно возразил, что совместное житье есть выражение родственных отношений, они посторонним не мешают, а предоставление привилегий своим ущемляет права других. Миша крикнул:

— Думаешь, ты один хороший, а все остальные плохие? Развел философию! Ты не на трибуне, а за столом. Разница!

— У меня нет разницы между тем, что я говорю с трибуны и за столом, — холодно ответил Алексей.

Миша после этого с неделю не разговаривал с братом. Однажды Миша с унынием сказал отцу:

— Видно, податься к тому лысому... Обещал взять сразу. Организации-то разные, а море одно.

— Правильно, иди к Крылову, — одобрил отец. — Наш сосед Куржак работает у Крылова — и доволен.

Миша поехал в Некрасово. Дорога была скверная, поселок крохотный и неустроенный, но колхоз Мише понравился: в нем, как на промышленном предприятии, имелись и отдел кадров, и плановики с диспетчерами, и своя радиостанция, и даже свои инженеры. А людей в морской форме с золотыми нашивками на, рукавах ходило по берегу и толкалось в правлении не меньше, чем на площади перед «Океанрыбой». Понравилась Мише и пристань — длинная деревянная набережная, у причалов, как и в городском порту, стояли стальные СРТ и деревянные траулеры поменьше — МРТ, и их еще сильнее качало набегающей волной, чем в порту — море отсюда было ближе, — и пахло той же селедкой, и рычали такие же самосвалы, и вращались такие же башенные краны. Когда Миша увидел это морское великолепие, колебания его кончились, теперь в слове «колхоз» не звучало ничего от полей и лесов, слово было не глухое, а звонкое, в нем слышались голоса ветра и волн. Он без колебаний направился в колхозный отдел кадров.

Заполненные анкеты тут же понесли к председателю колхоза.

Крылов так улыбнулся Мише, словно тот доставил ему радость своим приходом. Кабинет его был небольшой, окнами на залив, и казался еще тесней, оттого что в нем сидели рыбаки, разговаривавшие между собой и не обращавшие внимания на председателя. Сюда входили без стука, уходили без «до свидания»— такая свобода тоже понравилась Мише.

— Значит, к нам? Молодец, молодец! — сказал Крылов. — Держать тебя не будем, такого орленка зачем держать, пройдешь медкомиссию — и в полет! Для начала попробуешь себя на прибрежном лове и в заливе, — Крылов сделал отметку в настольном календаре. — В бригаду Куржака, вашего соседа. Ты спросишь, почему в залив, а не в море? В море все суда ушли, следующие пошлем через месяц, а зачем тебе столько времени терять?

На третий день Миша вышел в залив. В дверь затемно постучал Куржак. Моросило, с залива дул ветер. Автобусная стоянка была недалеко, но к первому автобусу опоздали. «Ах же, чертяка!» — выругался Куржак и сел на скамью. Миша ходил по темной улице и любовался деревьями, они спали под дождем, даже ветерок не пробуждал в них звуков — клены и липы лишь вяло шевелили листьями, когда ветер усиливался, движения эти тоже были сонные. Днем растения вели себя по-иному. Второй автобус появился через полчаса, Куржак с Мишей были единственными пассажирами. Куржак сел на переднюю скамью и весь путь до пристани промолчал.

— Давай! — только и сказал он, когда автобус остановился в Некрасове.

Впереди поблескивал темный залив, к нему сбегали пологим бережком с десяток домиков, в стороне светили ночные огни городами их было так много, и они так сливались в общее сияние, будто там занималась диковинная заря — очаг багрового пламени среди черноты. Заглядевшись на далекие огни, Миша, отстал от бригадира. Куржак подходил то к одному, то к другому домику, стучал в дверь и, не дожидаясь ответа, шел дальше, а из домов выскальзывали мужские фигуры. «Здорово! Здорово!»— слышались негромкие голоса.

У дощатого помоста, выдвинутого метров на пять в залив, покачивался катерок с привязанной шлюпкой на четыре весла и «дорой» — безвесельной лодкой, раза в два побольше шлюпки. К пристани подошла вся команда, пять человек без Миши и бригадира.

— Пока отдыхай, а потом твое место на веслах, — сказал Куржак.

Катер отвалил от берега. И сразу же усилился ветер. Миша сел на бухту троса на палубе, но вскоре убрался за рубку, здесь было теплее. Команда спустилась в кубрик, только Куржак неподвижно стоял на баке, во что-то впереди всматриваясь. Миша уже привык к резким переменам погоды, но эта удивляла — оборвался моросящий дождь, тучи промчались, засветились поздние звезды, а на востоке, где остался город, побелело, потом прояснилось, потом закраснело небо — наружу выбивалось солнце. Лишь на западе, куда стремился катер и откуда дул ветер, по-прежнему оставалось темно. Оправа промелькнула колхозная пристань, Миша узнал ее по огням на судах.

В небе постепенно менялись краски, постепенно нарастало сияние. А темный залив как-то разом, в минуты, которые и не сосчитать, вдруг стал таким светлым и ясным, в нем так хрустально заиграла вода, а от волн, убегавших от катера, такое шло собственное глубинное свечение, что уже чудилось, будто небо внизу, а вода наверху. И снова через считанные минуты светлая хрустальность воды превратилась во что-то золотое, золото разливалось вширь, погружалось вглубь, и мелкие волны, и долинки между ними источали золотой свет — Миша не мог оторвать глаз от воды. Он поднял голову, когда золото запламенело: на небе выкатывалось большое красное солнце, оно торопилось выкарабкаться из земли, становилось все крупнее и круглее. Движение его было видно: солнце вовсе не покоилось в небе на величественной высоте, как привык видеть Миша, оно энергично трудилось, оно все было в беге — час величавого парения еще не пришел.

— Уловчик будет! В твою честь, новенький! — сказал пожилой рыбак.

Из трюма вылезали рыбаки. Они смотрели, как и Куржак, вперед: в той стороне, в посветлевшей дали, открылись шесты ставных неводов, над шестами кружились чайки, далеко разносился их надрывный крик. Пожилой рыбак — его звали Журбайло — разъяснил Мише, что скопление чаек и отчаянный их крик — к успеху: жадная птица звереет, когда видит запутавшуюся в сетях, недоступную ей рыбу, при плохих уловах чайки держатся спокойней. Журбайло посмотрел на ноги Миши и прервал объяснение.

— Тю, да ты в туфлишках, милок. Сейчас принесу сапоги. У меня есть подменные.

Миша натянул кирзовые сапоги. Катер подошел к первому ставнику, Куржак скомандовал:

— В шлюпку, живо!

В шлюпку полезло шесть человек, на катере остался один моторист. Миша сел за переднее весло рядом с Журбайло, Куржак примостился на носу. Журбайло с ожесточением наваливался на весло, Миша старался не отстать, двое задних гребцов нажимали — шлюпка летела стрелой. А затем раздалась новая команда Куржака, гребцы положили весла, перелезли в дору — началось опорожнение сетей. Сети вытягивались в дору, вытряхивались, рыба валилась на дно и прыгала, не доскакивая до высокого края. Застрявших в ячеях рыбин выбирали руками, и Куржак строго покрикивал, если кто ранил добычу. А потом от крыльев невода перешли к садку — улов полился ручьем, большие лещи и судаки тяжело ухали на дно.

— Ко второму! — скомандовал Куржак, когда первый невод был опорожнен, и гребцы, опять перебравшиеся в шлюпку, навалились на весла.

У второго ставника действия повторились, в третьем добыча вышла поменьше, но дора была уже на три четверти полна. Куржак приказал возвращаться к катеру, дрейфовавшему неподалеку. Мишу вымотала работа с сетями, другие гребцы тоже не усердствовали, и Куржак, не ушедший с доры, больше не торопил их. Он выискивал «незаконника» — молодую рыбу, меньше стандартного размера, и выбрасывал ее в воду.

— Часок на завтрак, ребятня! — разрешил он, когда шлюпка прибуксировалась к катеру.

— Все полезли вниз, прихватив несколько хороших рыбин на уху. Миша остался на палубе. Солнце катилось через зенит на пустынном небе, залив теперь был темно-синий. Несильный ветер морщил поверхность, катер резво бежал к рыбокомбинату сдавать улов. Серебряное месиво в доре еще бушевало, то одна, то другая рыбина взметывалась вверх в судорожном прыжке и снова валились на общую массу. Толстые угри беспокойно ползали поверху. Миша поднял и опустил руку, даже это простое движение причиняло боль. Хорошо хоть, что вся трудная работа позади, утешил он себя.

— Треть дела сделана! — сказал выглянувший наружу Куржак. — Уха поспела, иди, Михаил.

Уха из свежей рыбы была вкусна, но Мише от усталости не елось. После завтрака рыбаки стали укладывать рыбу по сортам в ящики и переносить их на катер. Много было леща, лещ радовал рыбаков, за него хорошо платили, попадались судаки и щуки, а всего больше было салаки. Вместе с речными рыбами уловились и морские — с десяток угрей, ящика четыре трески, два ящика толстобоких рыжеглазых рыбцов. «Вкусная чертовина!» — сказал о них с восхищением Журбайло, — два десятка камбал. Куржак, утратив немногословие, покрикивал и придирался, что или кладут не по сорту, или крупную рыбу мешают с мелкой, или грубо хватают ручищами, так недолго и повредить нежное тельце.

— Радуется старик! — шепнул Журбайло. — В пролов слова от него не услышишь! Разошелся!

Катер три часа шел к берегу — последний ящик заполнили, когда приблизились к причалу рыбоконсервного комбината. Миша быстро убедился, что последняя треть работы — самая трудная. Даже тянуть сети было не так тяжело, как тащить на плечах ящики по качающемуся трапу и затем по нетвердому дощатому настилу к приемщику.

А когда Миша наконец выпрямил ноющую спину, небо погасло, залив был темен и холоден. Мишу подозвал Журбайло.

— Видал, новенький? — Он показал внушительного — килограмма на три — золотистого лосося. — Царь. Один сегодня попался в прилове. Постановили единогласно — тебе. Подарок от команды, что начал неплохо.

Миша стал отнекиваться, но вмешался Куржак.

— Давай сюда, Журбайло! — Куржак раскрыл свой чемоданчик, там уже покоились два рыбца и лещ. — Принесешь домой, как же Прокофий Семенович обрадуется! Вот уж точно, неплохо начал, Михаил! Улов, какого всю весну не было.

13

После бурь наступило временное успокоение в домах и душах.

«Кунгур» ушел на промысел в караване Трофимовского с другим капитаном, Соломатин аккуратно ходил на работу в трест и, как с удивлением установили сослуживцы, становился примерным кабинетным работником. Кузьма со Степаном промышляли в Северной Атлантике. Шмыгов вышел на работу в ремонтные мастерские и, по слухам, наводил там свои порядки, требуя от слесарей и токарей такого тщания, о каком те раньше и не слыхали. «Каждый день в цеху — девятибалльные авралы, моторист! — мрачно информировал он Мишу при встрече. — Я этих лодырей научу работать! Кто-то поленится по-хорошему пришабрить поршень, а рыбаку потом погибать в бурю, да? Привожу в сознание, у кого маловато!» На его придирки уже жаловались Кантеладзе, тот посмеивался — Шмыгов грозил ему, что штормы теперь не переведутся на берегу, управляющий ничего не имел против таких штормов. «Бирюза» ушла на месяц в Балтику, выбралась непредвиденно и в Северное море, погнавшись за салакой, будто бы бежавшей от траулера — зато вернулась не через месяц, как было выписано рейсовое задание, а через три недели, и трюмы были доверху забиты забондаренными бочками — рыбацкое счастье и тут не изменило Карновичу.

А Мише все больше нравилось рыбачить в заливе, и он без уныния вспоминал о том, что в океан выбраться не удалось.

Залив, когда выходили на его середину, к дальним ставникам, был так широк, что берега его проступали темной кромкой на горизонте — и дышалось легко, и работалось споро, и рыба ловилась, и рыбаки подобрались, как один: беззлобные, трудолюбивые, любители доброго слова. «Ты принес нам удачу, парень на роду тебе написано быть рыбаком!» — хвалил Мишу Куржак. Все это было далеко от того, о чем мечтал Миша, собираясь в Светломорск, но, и далекое от мечтаний, не разочаровывало.

В городе часто устраивались воскресники по расчистке улиц от развалин и для сбора годного строителям кирпича. Каждому предприятию выделялись свои участки. Колхозу «Рассвет» досталась окраина — от городской пустоши за парком до берега канала по улице Западной. Это был некогда район двух-трехэтажных домов, почти все они пострадали в войну, лишь немногие были восстановлены. В день, когда Миша впервые вышел на воскресник, погода стояла тихая, жаркая, пекло как на юге. В могучих цветущих липах жужжали пчелы, по улицам сладостно пахло медом. Куржак, вышедший из дому вместе с Мишей, радостно втягивал в себя воздух.

— Как у нас в деревеньке на троицу — по всей земле святым духом несет, — сообщил он Мише. — Пить этот воздух, а не дышать! От хорошего глотка хмелеешь.

Миша только усмехнулся. Старый Куржак был из непьющих. Вряд ли он хоть раз в жизни по-настоящему хмелел.

Около «Океанрыбы» им повстречался Шарутин с киркой и лопатой на плече. Штурман так обрадовался Мише, словно тот был его закадычным другом, и они, наконец, увиделись после долгой разлуки.

— Здравствуй, Миша, вот хорошо, что хоть одного моряка нашел, — прогудел он. — Не поверишь, что за суходралы на метеостанции. По морю никто не ходил, плавают только у пляжей и не дальше десяти метров от берега. Иди со мной, наш участок против бывшего собора, там одни руины. Каменные джунгли! Без компаса и не пробраться!

— Наш участок за вагоностроительным заводом, — сообщил Миша. — Мне надо туда.

— Тогда я пойду с тобой, — изменил свои планы штурман. — Одно условие: не торопись, не люблю бегать. Я тебе новые стихи прочту. Прелесть, ты сразу поймешь. На, держи мой инструмент, он мешает.

Куржак ушел вперед, Шарутин, вдруг сменив свой могучий бас почти на тенор, протянул вперед правую руку и увлеченно задекламировал:

Меридианы по курсу множатся,

Ветры валами простор дробят.

О, океан, как мне неможется,

Как мне неможется без тебя!

Друг отдалился, сминая с ходу

Новый разлучный меридиан.

Свет от меня звездою с восхода

Пересекает весь океан.

Волны все выше, волны все больше,

Смерч крутит дьявольскою трубой...

А ты все дальше, а я все дольше,

А я все дольше душою с тобой.

И словно подчеркивая конец, он пустил свой голос на самые низкие ноты:

Сердце мое, трудяга и мученик,

Тоскливо считает до встречи дни.

Ты, океан, великий разлучник,

Соединил нас, разъединив.

— Каково? — воскликнул он. — Срубил каждую строчку, как вылепил. Когда выйдет моя новая книга, люди будут драться у прилавка, чтобы скорей купить. Это я тебе гарантирую, Миша. Пока напечатаю в местной газете. Там в поэзии никто не понимает, даже хорошего белого стиха от серого не отличат, но и сам заведующий отделом культуры сказал: «В общем, неплохо!» У этого педанта и сухаря подобная оценка неслыханна!

— А кто этот ДРУГ, который отдаляется в океане? — спросил Миша.

— Да никто, — равнодушно ответил Шарутин. — Образ. Для впечатления.

Мише стихи понравились, но ему подумалось, что было бы куда сильней впечатление, если бы в рифмованных строчках говорилось о реальных людях.

В районе вагоностроительного завода группка жителей расчищала трехэтажную руину. Возле бывшего дома стояли два грузовика, в них валили мусор, битый кирпич, гнилые доски и бревна. В сторонке складывали целые кирпичи и железную арматуру. Пять мужчин загружали кузова машин, около двадцати женщин расчищали завалы и на носилках подносили мусор.

— Она! — воскликнул Миша, останавливаясь.

— Кто — она? — переспросил Шарутин, потянув Мишу за рукав. — Идем, это не твой участок.

Миша узнал в группе работающих женщину, что повстречалась у Вечного огня. Но сейчас она выглядела по-иному. У памятника павшим гвардейцам она шла строгая, со скорбным лицом, в темно-сером платье. Теперь она тянула носилки с молодой напарницей, обе были в цветастых платьях, в косынках, обе смеялись, она мало напоминала ту, что сохранилась в памяти, но это была все же она. Миша решительно сказал:

— Никуда дальше не пойдем, будем работать здесь.

— Можно и здесь, — согласился покладистый штурман. — Отдавай мой инструмент, Миша.

Миша отдал Шарутину лопату и кирку, сам взял лежавшую на земле свободную лопату и подошел к женщинам.

— Добрый день, подружки! Не возражаете взять в напарники? Мы с товарищем спецы по земляным работам.

— Спецы? Значит, начальство? — насмешливо сказала молодая. — Удивительный народ мужчины, все бы им командовать, пять мужчин в нашей бригаде — один работает, четверо распоряжаются.

— Мы будем работать, распоряжайтесь вы! — Миша вонзил лопату в грунт.

Слежавший мусор плохо поддавался, Миша схватил кирку. Шарутин накладывал разрытую щебенку и битый кирпич на носилки, женщины выбирали целые кирпичи. Молодая сказала с удивлением:

— Впервые вижу парней, которые работают, а не горланят. Таких можно брать в напарники. Правда, Анна Игнатьевна?

Вторая засмеялась. Она хорошо смеялась, добро, с лукавинкой. И лицо ее при смехе очень молодело.

Пока женщины относили наполненные носилки, Миша с Шарутиным разрыхляли горку завалов. Шарутин сказал, что обе женщины — неплохие, а та, что постарше, даже красивая, с такими работать одно удовольствие. С ней, что ли, Миша знаком? Может, после работы пригласить обеих на прогулку? Миша не успел ответить, обе напарницы приблизились с пустыми носилками.

Еще две женщины бросили лопаты и подошли, теперь Миша со штурманом нагружали двое носилок. Миша работал с такой быстротой, словно не мусор расчищал, а раскапывал заваленного человека. Шарутин попросил, когда обе пары женщин понесли нагруженные носилки:

— Угомонись! Так же вымотаемся. Миша подмигнул.

— Вымотаемся — чепуха. Главное — поразить. Распоряжавшийся расчисткой мужчина объявил получасовой перекур. Женщины отдыхали, где было удобнее. Шарутин прохаживался по улице, молча шевеля губами — видимо, читал про себя стихи. Анна Игнатьевна села на расчищенные ступеньки лестницы. К ней подошел Миша.

— Гора с горой не сходится, Анна Игнатьевна, а человек с человеком — да. Не припоминаете старого знакомого?

— Случайного знакомого, — поправила она.

— Должок за вами, Анна Игнатьевна.

— Не понимаю, Михаил Прокофьевич.

— Имя все-таки запомнили, — сказал он с удовольствием. — Только, пожалуйста, Миша, на Михаила Прокофьевича пока не откликаюсь. Я насчет квартирки — обещали подыскать.

— Искала — не нашла.

— А в вашей нет лишней комнаты?

— Мы сами живем в одной. И в доме на девять десятых разрушенном.

— Печальная история...

— Обычная, Миша. Многие здесь живут, как я.

— А можно поглядеть на ваш дом? Ужасно интересно знать, какие жилищные условия в Светломорске. Мы с другом проводим вас после воскресника.

— Слушайте, Миша, — сказала она дружелюбно. — Не надо так со мной разговаривать. Я уже объяснила вам — для ухаживаний не гожусь. Найдите кого-нибудь помоложе и посвободней. Вот Катя, моя напарница, — очень мила, незамужняя, характер хороший. Я с ней работаю в одном цеху и ручаюсь — будет отличной подругой.

Миша сказал с насмешкой:

— Жалко вас, невольница, оказывается. И очень муж ревнивый?

— Жутко! — подхватила она весело. — Такой вспыльчивый, что убить может, если заметит, что ко мне пристают. Вам надо остерегаться, Миша.

— Я ревнивцев не пугаюсь, — пробормотал он. Сообщение о муже все же обескуражило его. В глазах Анны Игнатьевны вспыхивали лукавые огоньки. Он с досадой сказал — Вы не думайте, я не из тех, кто нахальничает.

— И мне так кажется, — сказала она серьезно. — Брат Алексея Прокофьевича не может быть легкомысленным.

— Я не в Алешку, я в себя. Перекур кончился, давайте трудиться. Как вас обеспечивать — с прохладцей или на рысях?

— Лучше на рысях. — Она показала на основательно уменьшившийся завал в лестничном пролете. — До конца дня нам надо все это расчистить, такое у нас задание.

Миша орудовал киркой с тем же старанием, Шарутин накладывал мусор на носилки. Он с силой вонзал лопату в землю и так полно набирал ею, что и четыре женщины не успевали относить. Шарутин похвастался, передыхая:

— Загоним наших девчат. Пусть заводские работницы знают, что настоящий моряк не чета их цеховым хлюпикам.

Он знал, что Миша в море еще не ходил, а промышляет в заливе на прибрежном лове, но великодушно причислил его к заправским морякам.

На улице показался Крылов с Алексеем.

Крылов погрозил Мише пальцем.

— Где местечко нашел! Среди женщин с вагоностроительного! А кто задание выполнит на рыбацком участке? Там тоже девчат хватает, тоскующих по мужской помощи. Ну-ка, марш со мной!

Алексей обратился к Анне Игнатьевне, как к старой знакомой:

— Познакомились с моим братом, Анна Игнатьевна? Как он — не ленился?

Она ответила улыбаясь:

— Отличный работник! Таких бы напарников нам всегда.

— Ты со мной, Павел? — спросил Миша Шарутина. Тот отвел Мишу в сторону и понизил голос:

— Понимаешь, мне все равно, где работать. И с тобой хорошо, ты умеешь слушать стихи. Я такое умение ценю, ты не думай. Но и девчата эти, Катя и Аня, невредные. Надо бы узнать, что они за люди.

— Ты же у Тимофея объявил себя принципиальным холостяком, — напомнил Миша, как штурман после выпитого стакана разоткровенничался в первый день их знакомства.

— Правильно, вечный холостяк, — подтвердил Шарутин. — Здорово разок обжегся на молоке, теперь век буду на воду дуть. Да ведь я не в том смысле, чтобы интрижки заводить. А поговорить с умной женщиной люблю, женщины меткое слово ценят. В перерыве я на них попробую, берет ли за сердце мой Новый морской цикл.

— Чеши зубы, — без удовольствия сказал Миша и попрощался с женщинами.

По дороге на рыбацкий участок — Алексей тоже шел туда — Миша спросил брата:

— Алеша, правда, что у ней муж жутко ревнивый?

— Ты об Анне Игнатьевне Анпилоговой? Она незамужняя. Одинокая, живет с дочкой Варей. Чудесная девчушка, одноклассница моего Юры. Она часто приходит к нам, ты, наверно, не раз ее видел.

Какие-то девочки и мальчики почти каждый день приходили к Юре, то вместе готовили уроки, то разрисовывали школьную газету. Миша никогда не обращал на них внимания. Он с удивлением сказал:

— С чего же она врала о муже? Да еще о злом и ревнивом? — Вероятно, ей показалось, что ты собираешься за ней приударить. Этого делать не надо.

— Такая она плохая?

— Наоборот, очень хорошая. Серьезная, не из тех, кто ищет кратковременного развлечения. Ты это, на всякий случай, учти.

Миша нахмурился и промолчал всю остальную дорогу до участка, отведенного рыбакам «Рассвета». Он с обидой думал о том, что могла бы Анна Игнатьевна и не подшучивать так с ним.

14

Рыбацкие суда возвращались в порт после летней экспедиции в Атлантику. В доме появился младший Куржак. Весь дом сразу переменился, — так заполнил его своим быстрым громким голосом Кузьма, так он всюду как бы внезапно возникал, так отовсюду неслись его восклицания. Мише казалось, что Кузьма в трех разных местах одновременно: его приветы и зов слышались и с улицы, и в саду, и в комнатах нижнего этажа. За Мишей, увидев из окна, что тот уходит из дому, Кузьма выбежал и остановил его у калитки.

— Здорово, кореш! — закричал он, радостно встряхивая руку Миши. — Слыхал, пока мы в океане вкалывали, ты к моему папаше определился. И долго намерен полоскаться в его мутной луже?

— Залив — вода как вода. И рыба в ней не хуже океанской, даже лучше, — ответил Миша, уязвленный.

— Залив не про тебя. Ты из наших, ты океанский, понял! — быстро говорил Кузьма. — Теперь слушай. У нас выдача деньжат, пойдешь со мной. — Он нетерпеливо замахал рукой, пресекая возражения. — Знаю, знаю, собираешься с батей в залив. Ничего не выйдет, метеосводка такая — к вечеру шторм, выходы и в море и в залив отменяются. А мы с тобой устроим свой маленький шторм на берегу.

К вечеру ветер с моря, и вправду, развел волну в заливе, даже в канале мотало стоявшие на якоре суда. Куржак объявил, что дня два теперь не промышлять. Днем Кузьма зашел за Мишей, вместе они направились в «Океанрыбу».

Выдача денег рыбакам, прибывающим из рейса, совершалась после обеда, но уже с утра возле кассы слонялись те, кому причиталось, а еще больше тех, кто сопровождал товарищей. По дороге к Кузьме и Мише присоединился Степан.

— Суши весла! — приказал Кузьма, когда он и Степан с деньгами в руках отошли от кассы. — Надо рассовать выдачу по карманам, потом потопаем дальше.

К ним подлетел один из толкавшихся у кассы — высокий, страшно худой, с испитым лицом, в новенькой «мичманке», фуражке с «крабом».

— Братва, здорово! — прохрипел он. — Вот же повезло, что повстречались. На той неделе ухожу в рейс, надо додержаться до аванса. Ты, Степан, обещал...

— Проваливай, Сенька! — хладнокровно сказал Кузьма. — Ничего тебе Степан не обещал, а если сдуру пообещал, так я не дам у нас разживиться.

— Не разживиться, а разговеться! — обиженно пробормотал хриплый. — Кореша, вместе же плавали. А коли за гроши опасаешься, так за Семеном Ходором еще ни копейки не пропадало!

— Два года плавал, третий бичуешь. Проваливай, пока по шее не накостылял. Ты меня знаешь.

Ходор, выругавшись, отстал. Степан с укором сказал:

— Зачем ты его так? Хороший же был матрос Сенька.

— А теперь паразит и алкаш! — отрезал Кузьма. — Такого я и присесть рядом не допущу, не то, чтобы веселую житуху ему обеспечивать. Теперь прокладываем курс на «Балтику». Поговорим о рейсе, на людей поглядим, потанцуем немного.

В «Балтике» в предвечерний час посетителей было не густо. Кузьма облюбовал место у окна. Неподалеку, за пустым столиком, сидел Карнович, он кивнул Степану и Кузьме, внимательно посмотрел на Мишу. Перед Карповичем стояла тарелка с огурцами, другая с кружочками колбасы и графинчик с золотистой жидкостью.

Молодой капитан не ел и не пил, а что-то задумчиво чертил пальцем на скатерти.

К новым посетителям подошла стройная черноволосая официантка, вынула блокнот и карандаш и осведомилась, что будут заказывать.

— На первое — метрдотеля, — сказал Кузьма. — Якова Григорьевича на повышение не пустили? На пенсию не проводили? Вот его!

— Я прихвачу и жалобную книгу, — презрительно бросила официантка, пряча блокнот в кармашек. — Вам понадобится. — Она быстро отошла.

— Обязательно понадобится, люблю писать благодарности за хорошее обслуживание! — крикнул вслед Кузьма.

Метрдотель, полный мужчина, явился минуты через две.

— Яков Григорьевич, мы с рейса! — важно сказал Кузьма. — Вам объяснять не буду — три месяца шторма, бездна под ногами... И хочется настоящего удовольствия, выпить можно и на квартире без культурного обслуживания. Так что давайте, Яков Григорьевич, по карточке не рыскать, а что постановите — тому и быть.

— Останетесь довольны! — пообещал метрдотель и, подозвав официантку, ушел с ней.

В зал вошел Шарутин, осмотрелся и направился к Карновичу.

— Знал, что найду тебя около Дины, — сказал он и налил себе из графинчика в рюмку. — Очень нужно тебя видеть, Леонтий, важные новости. — Он залпом опрокинул рюмку и болезненно поморщился. — Сроду такой гадости не пил!

— Обыкновеннейший морс, герцог! — со смехом сказал Карнович. — Дина объявила, что водка тоже женского рода, а соперницу она не потерпит. Приходится доказывать, что могу весь вечер просидеть в ресторане без градусов.

Шарутин опасливо покосился на безалкогольный графин.

— Так весь вечер и просидишь?

— Условились, что провожу ее домой после работы.

— Ты бы мог подойти к закрытию ресторана.

— Я-то бы мог. Дина не может. Если вечер у меня свободный, я должен торчать перед ее глазами, иначе обида. Так что у тебя за новости? И верные ли?

— Наиточнейшие! От Нюрочки, секретарши Кантеладзе. Она ко мне благоволит, думает, что мне когда-нибудь надоест холостячество, а я это выгодное мне заблуждение не опровергаю. Куча изменений, целый водопад перемен. Первое. Комплектуется группа судов на осенне-зимний промысел. И тот уже не на три месяца, а на полгода, одни суда будут приходить, другие возвращаться, а промысел не прекращается ни на день. И старшим флагманом назначают Березова, а на берегу его заменит Соломатин. Каково?

Карнович, усмехаясь, пожал плечами.

— Интересно, но не ново. Все это я знаю. Есть еще новости?

— Конечно. Капитана «Тунца» переводят на новую плавбазу «Печора», а на «Тунец» пойдет Трофимовский. Дорвался-таки до повышения, хотя и не, такого, как надеялся, он ведь мечтал о «Печоре», все это знают. Доброхотов выпросил к себе Сережку Шмыгова, жутко обрабатывал Шалву, ну, и Березов, естественно, поддержал, Сережка к тому же больше не буйствует. Мне он сказал: «Я на суше теперь работаю, а не веселюсь, так что с гулянками кончено!» И самая главная новость — ты.

— О себе я все знаю. Летняя путина на Балтике закончена, «Бирюзе» выписывают направление в океан. Хотят включить в общую группу, только я этот план поломаю и пойду самостоятельно. Имею теперь право на это, ценз капитана дальнего плавания на прошлой неделе выплаван полностью. А для обоснования задержки потребовал ревизии машины, хотя стармех Потемкин клянется, что она в идеальном состоянии. Между прочим, лишняя проверка не помешает, осенью в Атлантике бури.

— И это все, что знаешь о себе? Тогда слушай дальше. На «Печоре» не хватает двух штурманов. Одного собираются взять у тебя. Нюра слышала, как Шалва с Березовым об этом разговаривал. Ты свое обещание не забыл?

— Нет, конечно. Если Кантеладзе не запретит, считай, что освободившееся место за тобой.

— Он не запретит. Я недавно ходил к нему, он сказал: «Мест свободных пока нет, но если кто из хороших капитанов будет драться за тебя, дорогой, выпущу в рейс». Ну, я дал все нужные обещания насчет поведения, сам понимаешь. Теперь жду от тебя настойчивости.

— Уже сказал — никого, кроме тебя, не возьму на вакантное место. Можешь не волноваться.

Шарутин, успокоенный, машинально потянулся к графину, но спохватился и отдернул руку. К ним подошла черноволосая официантка и сердито сказала:

— Гражданин, прошу за другой стол. Я предупреждала вас, что поэтов не обслуживаю.

— Не надо, Дина! — низким басом прогудел штурман. — Я хороший!

— А я плохая! — отрезала официантка. — И кого невзлюблю, то надолго.

— Леонтий, защити! — взмолился Шарутин. — Скажи, что без меня не можешь.

— Диночка, нам и вправду надо поговорить, — мягко сказал Карнович. — Павел специально для этого разговора пришел сюда.

Она недовольно взмахнула волосами.

— Только ради Леонтия Леонидовича... Но на большее, чем пиво, не рассчитывайте.

— Тащи пиво, Дина, чудная девушка! — обрадовался штурман. — Пиво — это отлично. И душу веселит, и карману легче.

— Вы поссорились? — С удивлением опросил Карнович, когда Дина отошла. — У вас всегда были отличные отношения, я даже завидовал.

Штурман, понизив голос, чтобы до Дины не донеслось и словечка, стал рассказывать, как они поссорились:

— Правильно, отличные. А почему? Я за Диной не приударял, она это ценит. Антон Колонтаев из «Светломорской правды», ты его знаешь, разбегался было, но ему не посветило. Весной — ты в рейсе был — перед домом Дины зацвела магнолия, та, единственная в городе. Хороша была, — поэтическое дерево. Я каждый день ходил смотреть. Короче, мы с Антоном как-то заявились сюда. Антон — руку на сердце, голос трогательный, ты его знаешь: «Диночка, если бы вы сами не были лучше всех магнолий, я бы изломал то дерево и целиком бы поднес вам крону в качестве букета». Она задрала нос выше люстры и ответила, ты Дину знаешь, она может: «Цветы от поклонников — штамп. А вы, если писатели, так поднесите мне взамен цветов произведение о цветах, и чтоб оно было лучше моей магнолии». В этот же вечер мы сочинили по штуковинке каждый — я в стихах, он в прозе.

— Воображаю, что накатали! — сказал Карнович, посмеиваясь.

— Невообразимо, точно! Антон разразился очерком под названием «К наболевшему магнолическому вопросу». Первый абзац звучал так: «Магнолия в общем, целом и основном — цветок. Магнолии растут на наружных территориях, именуемых садами. Наружные территории обслуживаются дворниками. Главное орудие производства дворников — метла. Итак, поговорим о безобразном отношении дворника к метле».

— Хлестко. А ты?

— Я накропал отличные стишата. Первый класс, кто понимает. — Шарутин оглянулся, не идет ли Дина, и продекламировал: — Хороша магнолия у Дины, хороша! Коньячку теперь бы на рябине да леща. На ботдек забраться спозаранку в тишине, врезать, спиритуса вини банку на волне! Эх, рыбацкое мое раздолье — вкруг вода! А насчет той Динкиной магнолии — ерунда!

— И она не стерпела?

— Вмиг возненавидела обоих. Если бы не ты, черта с два я присел бы за ее столик. Слышал — «гражданин клиент», а раньше только — Павел да Павел!

Дина принесла Кузьме с товарищами поднос закусок и напитков, отобранных метрдотелем, — он сам издали наблюдал, чтобы рыбаков обслуживали хорошо. На помосте появились музыканты и заиграли модные песенки. Между столиками закружились пары. В зале появился рыбак с хриплым голосом, которого так сурово отчитал Кузьма, его сопровождали две нарядные женщины, они заняли последний свободный столик. Степан кивнул в их сторону.

— Раздобыл-таки деньжат Ходор. И хороших женщин пригласил.

— Шлюхи! — резко кинул Кузьма. — Кто с Сенькой в ресторан пойдет?

— Да нет, одну я знаю, жена тралмастера с «Коршуна». Ходор с тралмастером — кореши, водой не разольешь. Вполне приличная женщина. Другая, правда, незнакомая.

Кузьма нетерпеливо мотнул головой.

— Шут с ними со всеми. Ты вот что скажи. Сколько нашему «Кунгуру» стоять в порту?

— Сегодня была ревизия двигателя, потом обследовали, что за течь во втором трюме, помнишь, на обратном переходе стало сыреть. Мнение такое — нужно вести «Кунгур» на заводской ремонт.

— Вот тебе раз! — Кузьма с огорчением покачал головой. — А мы куда?

— Распишут команду на разные суда. Мне предложили на «Бирюзу», у них боцман собирается жениться, нужно ему рейс-другой пропустить.

— И я с тобой! — решил Кузьма. — А что? Леонтий Карнович капитан хороший, не жмот, барина из себя не корчит. — Он обратился к Мише. — Вот бы и тебе с нами. Пора, пора бросать твою лужу. Моему бате некуда податься, а тебе зачем? Хоть Степу спроси, он не даст соврать — тебе дорога только в океан.

— В океане тебе уместней, Миша, — подтвердил Степан.

В это время Шарутин, терпеливо ожидавший, когда появится заказанное пиво, заметил Мишу. Он подошел к его столику и отозвал Мишу в сторону.

— Во-первых, здравствуй! Во-вторых, теплый тебе привет от Кати с Аней, помнишь, мы с ними вкалывали на воскреснике. Особенный от Кати, старшая тоже присоединилась. Я даже позавидовал, так ты им понравился. Между прочим, когда ты ушел, таким тебя суздальским сиянием расписал, что если вздумаешь ухаживать, все предпосылки обеспечены.

— За приветы спасибо. А ухаживать не собираюсь.

— Твое дело. Теперь второе. В конце месяца у них на заводе торжественный вечер с танцами по случаю какого-то цехового юбилея, десять лет работы или что-то в этом роде. В общем, приглашают нас с тобой. По правде, не они пригласили, а я пригласил их пригласить нас, но это значения не имеет. Гостевые билеты они дадут мне, а я зайду за тобой. Заметано?

— Я не любитель вечеров, — нерешительно сказал Миша. — И танцую плохо.

— Не имеет значения. Будешь под музыку обнимать партнершу покрепче, вот и все, что требуется. Катя просто расцвела, когда я сказал, что ты мечтаешь о вечере у них в клубе. Я зайду за тобой. Наденешь свой лучший костюм.

Шарутин возвратился к Карновичу и принялся за пиво. Вскоре в зале стали гаснуть люстры. Музыканты, закончив программу, разошлись.

Штурман спросил друга:

— Ты здесь будешь ждать Дину?

— Обычно ухожу последним и жду ее на улице.

Шарутин остался с приятелем, пока не опустели все столики. Потом они прохаживались перед входом в ресторан и разговаривали. Вскоре показалась закутанная Дина. Накатившийся на Светломорск циклон был из «сухих» — рвал деревья, гремел по крышам, но туч не нагонял. Шарутин сказал:

— Диночка, передаю Леонтия из рук в руки. Береги его, он душевно хрупкий. И вообще доказано, что мужчины слабый пол, а женщины сильный.

— Идемте с нами, Павел. — Дина миролюбиво взяла штурмана под руку. — Раз вы слабый пол, я прощаю вам возмутительные стихи.

— Спасибо за отпущение грехов, Диночка. В душе копошатся невыбродившие рифмы, надо их малость потравить на темных улицах.

Он дружески помахал рукой, отдаляясь. Некоторое время Дина и Карнович шли молча. Дина с грустью сказала:

— И опять расставание! И на этот раз месяцев на пять?

— На четыре.

— А ты знаешь, сколько в четырех месяцах дней? Сто двадцать два, Леня! Сто двадцать два и каждый день — вечность!

Он молчал, прижимая ее локоть. Она заговорила опять:

— Когда погода спокойная, я как-то забываю о своих неудачах. А в такой вот ветер не нахожу себе места. Плакать хочется, так не повезло! Я смотрю вокруг и вижу море — серое, шумное... Еще в Воронеже с седьмого класса я не могла просто читать морские книги, я останавливалась каждый раз, когда встречала слова «море», «океан». Я не могла оторваться от этих слов, как будто они какие-то особые.

— Я тоже! И я останавливался, когда встречал в книгах эти слова. Удивительно, как у нас все одинаково, Дина!

— Ничего у нас не одинаково. Ты спокойно отнес документы в Бакинскую мореходку, тебя спокойно приняли. Я год умоляла родителей, пока отпустили в Ленинград, а там и разговаривать со мной не захотели — морские специальности не для женщин. Узнала, что в Светломорске женщины плавают на траулерах, приехала сюда — и как раз в это время и здесь перестали принимать женщин на СРТ. Возмутительное у мужчин отношение: все себе и себе — все лучшие профессии!

— Что-то я не слыхал, чтобы женщины подняли бунт, когда их увольняли с СРТ, — шутливо сказал Карнович. — Вы, сударыня, единственная возмущаетесь, остальные легко примирились.

— Мне временами кажется, что я вообще не женщина, так меня тянет к мужским профессиям. Вероятно, я не буду хорошей матерью и хорошей женой. Ты должен радоваться, что я не надеваю на тебя брачное ярмо.

— Дина! — Голос его изменился. — День, когда ты украсишь мою шею брачным ярмом, будет счастливейшим днем моей жизни, всей моей жизни, Дина!

Она с укором сказала:

— Не надо, Леня! Когда ты говоришь так, я слабею. Дай мне еще год побороться за мое будущее. Может, Для меня сделают исключение в нашей мореходке, там сразу не отказали, будут запрашивать Москву.

— Разве одно помешает другому?

— А разве не помешает? Появится ребенок, жена хорошо зарабатывающего капитана — что еще надо? Так все будут судить, ты тоже, хоть сейчас говоришь по-иному! И буду я любимой и ублажаемой, и обеспеченной — и несчастной. Один год, больше не прошу.

— Я буду ждать, — сказал он печально. — Год, два, восемь, столетие...

Они остановились у ее дома. Он сказал:

— Я зайду к тебе, Дина. Не надолго — сколько сама захочешь.

Она положила ему руку на плечо, заглянула в глаза.

— Не проси, Леня. Я ведь не захочу тебя отпускать, просто не смогу. Я буду думать о тебе, каждый день думать!

— Спасибо и на этом. — Он криво усмехнулся. — И еще за то, что не поссорились. Просто удивительно — вторую неделю-каждый день встречаемся, а ссорились всего четыре или пять раз.

— Не шути! А то и впрямь поссоримся, перед твоим уходом это лишнее. Я приду тебя провожать!

Она целовала его в щеку и скрылась в темном подъезде.

15

На улице Степан сказал, что ему с нуля часов на вахту, и ушел к рыбной гавани. Кузьма побежал искать такси: «Подъедем к дому, как фон-бароны, Миша!» К ресторану подкатила свободная машина, но Кузьму опередил Ходор со своими подружками. Он прохрипел Кузьме:

— Одно местечко имеется, приглашаю! Садись впереди, будешь командиром.

— Нас двое, — недовольно сказал Кузьма. — И едем не на гулянку, а бай-бай! И какие мы теперь с тобой кореши, Сенька?

— Садись, Кузя! — настаивал бывший товарищ. — Ты меня всенародно бичем опозорил, а я тебя благородно приглашаю в приличную компанию. Сенька Ходор не копит зло в груди. Сенька понимает брата своего, океанского рыбака. Почет окажем, посадим во главу стола. Музыку вжарим, потанцуем, ты нам расскажешь, как в дальних морях шла селедка. Ох, селедочка, рыбка маленькая, морем рощенная, потом политая, кровавыми мозолями потертая! Кто раз с тобой повозился, вовеки не позабудет! Не напиваться зову, чествовать хочу славного трудягу! Садись!

Кузьма, колеблясь, обернулся к Мише. Миша напомнил, что скоро к полночи, Кузьму ждут дома. Кузьма вдруг рассердился.

— Ждут, ждут! Я тоже по четыре месяца жду, когда в море. Мое право на берегу повеселиться вволю.

Он рванул дверь передней кабины. Миша крикнул вслед:

— Если твои спросят, где ты, что отвечать?

Такси уже тронулось, Кузьма прокричал, обернувшись:

— Скажешь, что поехал к приятелю.

Миша пошел один. Ветер все усиливался: выл в столбах, гудел в проводах, взметывал кроны деревьев. Медовый запах цветущих лип ночью обычно слабел, но сегодня, от ветра, трясущего ветви, был еще сильней. Миша пришел домой во втором часу ночи и заснул с радостным чувством, что сегодня отоспится вволю: в такую бурю старый Куржак не придет будить его ни свет ни заря.

Утром Мишу разбудил не Куржак, а отец.

— Степан зачем-то вызывает тебя. Он ждет на первом этаже. Миша быстренько оделся, наскоро умылся и побежал вниз. По большой комнате ходил Куржак, у стола сидели хмурая Алевтина, расстроенная Гавриловна и Степан.

— Миша, ты оставался с Кузей, когда я ушел на вахту, — сказал Степан. — До сих пор его нет дома. Куда он мог подеваться?

Миша рассказал, как Ходор уговаривал Кузьму поехать повеселиться и как Кузьма укатил с ним и двумя женщинами в такси. Куржак недовольно покачал головой. — Алевтина с укором сказала:

— Миша, вы разве не могли удержать Кузю? Хоть бы посоветовали остаться!

— Советовал, он не захотел, — сказал Миша. Она сердито повернулась к Степану.

— И ты, хорош! Оставил ночью пьяного товарища неизвестно с кем. Почему не взял его с собой на судно, могли бы в каюте продолжить гулянку, если показалось мало.

— Лина, Кузьма не был пьян, — виновато ответил Степан. — И он не говорил, что ему еще хочется выпить. Не понимаю, почему он поехал с Сенькой. Днем при всех изругал Ходора: «Ты нам не компания, ты — бич!» Миша тоже слышал, пусть скажет.

Миша подтвердил, что днем Кузьма прогнал пристававшего к ним Ходора. Зато вечером, у такси, они разговаривали вроде бы мирно. Куржак с досадой сказал:

— Мирно, немирно... Человек плохой Сенька Ходор, вот какая штука. Когда-то нормальным моряком слыл. А потом покатился. И куда докатится, неизвестно. Водка — она тяжелей гири на дно тянет.

Гавриловна с тревогой спросила:

— Миша, а денег-то Кузя не показывал?

— Каких денег?

— Всех! Рейсовую получку вчера получил, полных семьсот рублей. Так, не заходя домой, и пошел гулять! Это же надо! Он пачками денег ни перед кем не хвастал?

— Нет, пачек он не вытаскивал, — сказал Миша. — Из бумажника вынул пару кредиток, когда расплачивался.

— Вот и Степа так же говорит — не показывал денег. А мне боязно, смерть! Хоть бы скорей вернулся, негодник!

— Не беспокойтесь, вернется Кузьма, — уверенно сказал Степан. — Повеселились в компании, наверно, поздно легли спать...

Куржак сурово сказал:

— Не о том беспокойство, что не возвернется. Семейный человек, передовик своего рыбацкого звания — к неведомой шантрапе на всю ночь! Вот где суть-то! Сенька этот — разве пара? Не на свое место поставил себя Кузьма. Не этому его учили.

— Многому ты его учил, как же! — с негодованием воскликнула Гавриловна. — Одно знал: салака да рыбец! Рыбец, судак, лещ! Сколько кто на берег выдал? Кто в передовиках, кто отстает? Все работа да работа! Хоть бы разок по-хорошему поучил жизни!

— Этим и учил жизни, что работе учил — кормильцем себя видеть в семье, а не постояльцем. Пылинок с него не сдувал, как ты, с тряпкой не ходил подтирать, где наследил.

— Молчал бы уж лучше!

— А ты чего молчанкою-то своей добилась?

— Пойдем, Лина. Будешь Татьянку одевать, а я ей завтрак приготовлю.

Куржак после ухода жены и невестки некоторое время взволнованно ходил по комнате, потом сердито заговорил, обращаясь к Степану:

— Стыдно Лине в глаза смотреть. Несамостоятельный человек! После получки сразу в ресторан! Разве это дело? Разве туда хорошему человеку курс?

Степан сдержанно возразил:

— И я с ним туда пошел, и Миша был. Ничего особенного — не буйствовали, не напивались. Посидели, культурно поговорили...

— Ты с Мишей — особь статья! — Куржаку, видимо, стало совестно, что перехватил в обвинениях. — Вы ребята одинокие, ни жены, ни детей, холостежь. Тут, я понимаю, почему не пойти куда-нибудь? Теперь так. Посидите у нас, пока Кузя заявится. А то старуха раскричится, а при гостях она постесняется. Я загляну в мастерскую, хотели сегодня закончить ремонт второго двигателя.

Степан и Миша обещали дождаться Кузьмы, а если он скоро не появится, пойти разыскивать, где живет Ходор. Миша сказал, когда Куржак удалился:

— Знал бы, что так выйдет, ни за что бы ни отпустил Кузю. Да и кто такой Сенька, не догадывался, я ведь его вчера первый раз увидел.

Степан развел руками.

— Кто такой Ходор, никто не знает. Он ведь всякий! Попади в трудное положение, рубашку последнюю снимет с себя, чтобы выручить. А в другой час тебя же обдерет, как липку, да еще на посмешище выставит. — Помолчав, Степан задумчиво добавил — Ты заметил, что Алевтина вся кипит? Достанется Кузе! Если, конечно, придет не изувеченный.

Миша посмотрел в окно и увидел торопливо приближающегося Кузьму.

— Идет. И целехонек!

Кузьма, войдя, без стука прикрыл дверь и показал пальцем на вторую комнату.

— Мои там? Кто именно?

— Мать и Лина, — ответил Степан.

— Отца нет?

— Отец ушел в мастерскую. Да что с тобой случилось, скажи? Почему задержался?

— Потом все расскажу. Деньги у тебя с собой есть?

— Какие деньги?

— Обыкновенные. Государственные бумажки. Желательно — покрупней. И ты, Миша, что можешь, одолжи. Беру до лучших времен. Предупреждаю: лучшие времена скоро не предвидятся.

Степан стал рыться в карманах. Миша сбегал наверх за своими деньгами. Кузьма невесело сказал, засовывая купюры в карман:

— Двести двадцать от Степы, сто от тебя. Не густо, но лучше, чем ничего. Как-нибудь оправдаюсь.

— Я из вчерашней выдачи триста положил на сберкнижку, — сообщил Степан. — Сегодня сберкасса выходная, но завтра смогу доставить.

— Учтем и это обстоятельство. Скажу, что ты одолжил триста рублей на два дня — вот сальдо с бульдой и сойдется. Может, пронесет грозу.

— Все-таки, что случилось? — спросил Миша.

Кузьма говорил вполголоса, все время поглядывая на дверь во вторую комнату, чтобы ненароком там не услышали. Веселье на квартире, куда привез Ходор, шло чинное, без большой пьянки, зато с танцами, с добрыми словами о рыбаках, о морской доблести. Возвращаться домой так поздно Сенька отсоветовал. А когда расположились на отдых, женщины в одной комнате, Кузьма с Ходором в другой, Кузьма снял пиджак и хватился — нет во внутреннем кармане пачки денег. Все обшарили: комнаты, прихожую — нет и нет! Сенька клянется, что выронил пачку в такси, когда расплачивался с водителем. Тут же, ночью, снова оделись и побежали в таксопарк узнать, не сдал ли таксист находку. Ходор, к счастью, запомнил номер машины. Куда там! Водитель, уходя домой, правда, заявил, что какая-то старушка-растяпа забыла в машине пакет с двумя килограммами яблок, но о деньгах и не заикнулся. Машину его, вымытую, тоже осмотрели — не то что пачки денег, лишней соринки не обнаружили. Сенька забежал к какому-то приятелю, выпросил пятьдесят рублей.

— Сенькина работа! — убежденно заявил Степан. — Только он! А что деньги раскинулся выпрашивать, так просто глаза отводит.

— Может, и он, — устало сказал Кузьма. — Но не доказать! В общем, напраздновался досыта! Долго буду помнить. А пока, вместо семисот тридцати, триста семьдесят, считая и Сенькины пятьдесят.

В комнату вошла Алевтина и радостно воскликнула:

— Кузя, живой!

Он ответил с наигранной веселостью:

— А каким мне быть? Смерть вроде пока не по возрасту. Ее радость мигом потускнела.

— Всю ночь гулял! Интересно знать, где пропадал? Он ответил так же весело:

— Отсутствовал, скажем так. Не пропал, как видишь. И где был — там меня нет.

Услышав их голоса, вбежала Гавриловна и закричала с порога:

— Вернулся, беспутный! Хорошо хоть не избитый. А деньги в целости?

— Деньги — пожалуйста!

Кузьма вручил ей несколько пачек. Она торопливо просмотрела их.

— Тут не все, Кузя.

— Триста Степан одолжил, срочная покупка ему подвернулась.

— Завтра все до копейки верну, — заверил Степан. Гавриловна, успокоенная, засунула деньги в ящик стола.

Алевтина гневно смотрела на мужа, старавшегося не встречаться с ней взглядом.

— Ты не ответил — где был? И что за женщины, с которыми ты садился в такси? Миша рассказывал — фифочки ресторанные!..

Кузьма сердито посмотрел на Мишу, а жене ответил сдержанно:

— Будет время, поговорим, Лина. Посторонние же...

— Они посторонние? — Она показала на Мишу и Степана. — Один — сосед, другой — первый твой приятель, в гости каждый день ходит. И с обоими собутыльничал! С чего вдруг стал дружков своих стесняться? Нет, ты мне отвечай на вопрос?

Пересиливая себя, он старался говорить мягко:

— Хочешь знать, где был, что делал? А какое это имеет значение? Ну, была компания, ничего особенного, посидели, поболтали, только и всего. Единственно важное: вот он я, в полный рост — живой, здоровый, ничего во мне не убыло. Хватит ссориться, Линочка. На сегодня у нас планы поважней. Пойдем тебе подарки покупать, Татьянку с головы до ног оденем в новое.

Он взял ее за руку. Она отшатнулась.

— Не трогай, у тебя руки грязные!

Потрясенный, он несколько секунд лишь молча смотрел на нее, потом сказал сразу охрипшим голосом:

— Грязные? И это при всех? Ладно, чего ты хочешь? Гавриловна поспешно вступила в разговор:

— Лина, с мужиками так не положено разговаривать.

— Он муж мне! — гневно ответила Алевтина. — И муж мой от меня ко всяким потаскухам ходит!.. И вы хотите, чтобы я это терпела? Чтоб я покорно сносила?

— Одно прошу — не дразни дурака! Кузьма резко повернулся к матери.

— И дурак еще?

— Нет, умный! — Гавриловна, мигом стала на сторону невестки. — Так себя держишь, что не нарадоваться! Глаза бы мои на тебя, беспутного, не глядели.

Побледневший Кузьма подошел к столу, решительно вынул оттуда деньги. Мать хотела было помешать ему, но он отстранил ее.

— Не беспокойся, мама, получишь свои деньги. Чистенькие подберу, а эти вам не годятся. — Он подал одну пачку Степану. — Твои двести двадцать, Степа. Держи свою сотнягу, Миша.

А эти пятьдесят, — он засунул их во внутренний карман, — сегодня же возвращу Сеньке. Слушайте теперь всю правду. Хотелось вчера по-хорошему повеселиться с женой, а ты, Лина, пошла на вечернее дежурство. Думал, раз так, посижу в ресторане, в один час с тобой вернусь домой. Нет, дурь в голову зашла, черт его знает, чего поддался на упрашивания, хоть бы уважаемый человек приглашал, так нет же, бывший матрос, из своих в доску в шайке-лейке. И где гулял? Среди незнакомых. Компания — гордиться нечем. И деньги пропали все, а как — не знаю. Может, в такси оборонил или на улице, может, кто из гостей позаимствовал. Вот так было дело. Можете теперь меня вешать.

Пока Кузьма рассказывал, что произошло, в комнату вошел Куржак и, став за спиной сына, молча слушал. Гавриловна со слезами запричитала:

— Бесстыжий ты, бесстыжий! С ворами панибратствовал! — Она, вдруг закричала на мужа: — Слышал, что наделал твой сын?

Куржак сдержанно ответил:

— Он и твой сын тоже.

Кузьма с вызовом спросил Алевтину:

— Что моя жена скажет, интересуюсь? Она проговорила, задыхаясь:

— Эх, ты! Похождения расписывал! Низкого ниже надо быть...

Наступила тягостная пауза. Кузьма заговорил, с каждым словом распаляясь:

— Тебя понял, Лина. Значит, низкого ниже? Больше ничего не добавишь? Ладно! Теперь мое слово. Что деньги? Плевал я на деньги! Любой друг меня выручит, вон Степан с Мишкой — все, что имели, сразу вытряхнули из карманов. А почему? Уважают! На почетное место посадят, — только приходи! А ты меня при посторонних честишь! Меня, потомственного рыбака, героя океанского промысла! — Он уже не говорил, а кричал: — Да понимаешь ты своим куриным мозгом, что нет такого наградного приказа по флоту, где я, вперед своего алфавита, первым матросом не иду! Соломатин разве не меня раньше всей команды называет? Березов, Николай Николаевич, в докладе, — гордость, говорит, трудового рыбацкого коллектива — и разве не с меня пошел крыть по списку? Как же так — для всех я герой, а для тебя — недостойный?

Алевтина была вне себя.

— Распутник ты! По скверным бабам шлялся. Не лицо, а личина твое трудовое старание!

Кузьма, задыхаясь от обиды, пригрозил:

— Алевтина, я пока по-хорошему, а если негодяй, так могу и по-негодному!..

Гавриловна закричала на сына:

— Не грози! Промотал за одну ночь, что за четыре месяца наработал! Взамен извинения еще жену обругал! Большое геройство! На коленях ты должен сейчас прощение вымаливать!

— Не вижу стоящих, чтобы перед ними на коленках!.. — яростно крикнул Кузьма.

Степан, до той минуты старавшийся держаться в стороне, выступил вперед.

— Кузя, с родными разговариваешь! Разве можно так на жену?

Кузьма в бешенстве чуть не бросился на Степана.

— А по какому праву ты вообще нас слушаешь? Я тебя в гости сегодня не звал! С чего ты с утра заявился? Доносить на меня? Слушки пускать?

Гавриловна, заплакав, все повторяла: — Глаза бы мои на тебя не глядели! Куржак сурово оборвал ее плач:

— Хватит бабьего крика! Убирайтесь к себе. Надо с сынком поговорить по-мужски.

Гавриловна взяла под руку Лину и, уходя с ней, бросила сыну:

— Ни видеть, ни слышать тебя не хочу! Он крикнул ей вслед:

— Это тоже запомним.

Куржак обратился к Степану и Мише:

— Ребята, вы народ хороший, всегда вам рады... А сейчас не обижайтесь, надо нам с Кузьмой без свидетелей...

Степан с Мишей поспешно вышли. Миша проводил боцмана до калитки. Там Степан задержал Мишу.

— Слушай, Михаил, ты их сосед, ты узнаешь, как кончилось дома у Кузьмы. Я при случае забегу, ты мне расскажешь.

Миша с удивлением спросил:

— Разве сам Кузьма тебе не расскажет? Такие вроде приятели, водой не разольешь.

— Приятели, конечно, — подтвердил Степан, — секретов один от другого не держим. А как с Алевтиной повернется, не признается. — Он поспешно добавил: — Ты не думай плохого, я все по-честному. Не стоит Кузьма Алевтины, я ему не раз в этом смысле высказывался... Обижает он Лину, недооценивает. Грозил ей — могу с тобой по-негодному!.. До чего дойти! Душа горит слушать! Ты Лину не знаешь, ты новенький, а я, слава богу, еще когда она школу кончала, познакомился. Он ее пальца не стоит, ноги ее целовать ему!.. Так договорились?

— Может, что и узнаю, а специально выспрашивать не буду, — без охоты пообещал Миша.

В это время Кузьма сидел на диване, опустив голову, отец стоял перед ним. Куржак хмуро начал:

— Матери сказал — каждое слово запоминать буду. Что еще кроме ее слов, запоминать собираешься?

— Говори, может, что и запомню, — раздраженно ответил Кузьма.

Куржак с суровым укором глядел на него.

— Хорошего не вижу, чтоб запоминал. А плохому — сам научился.

— Чему учили, тому и научился.

— Этому я тебя учил? Как наставлял, вспомни! На труд, на честность, всегда в первых быть... А ты — пить, с шантрапой связался! Этому тебя учили, отвечай!

— Разок ошибся — вой подняли! Уже сказал — верну вам деньга!

— И без денег твоих перебьемся. Уважение верни! Расхвастался — наградные приказы, трудовой герой!..

— А нет, скажешь? Нет? Врал я, что ли? И не сам ты одно твердил: работа — первое дело в жизни?

— Первое — да. А не все!

— Что ты сам другого знаешь, кроме работы? Что?

— Человеком надо быть.

— Уже не человек, значит?

— На товарищей своих посмотри, коли себя не видишь. У Степана поучись.

— Пусть Степан у меня поучится! Восемь месяцев в году мы в море — кто там первый? У Сергея Нефедыча спроси, он за стенкой живет, он ответит. Не Степана первым назовет, а меня! Меня, батя!

— Ты здесь на берегу, а не в море. Неистовый ты на земле. Не соображаешь, как держаться.

Сын с горечью возразил:

— А, может, вы не понимаете, как мне в море приходится и как я этого берега жду?

— В море я побольше твоего бывал. Море — не причина, чтобы землю взбулгачивать.

Кузьма крикнул со злостью:

— Что ты о море знаешь? Ничего ты о нем не знаешь! Больше моего на воде — да! А видел ли ты океан? Месяцами чтобы вокруг тебя одна синяя пустыня? Вдоль бережка, вдоль бережка, вот и вся твоя жизненная дорога. Не можешь ты настоящего моряка судить.

Наступила тягостная пауза. Куржак сел на стул и долго смотрел на сына. Тот ответил дерзким взглядом. Отец заговорил снова:

— Жену обидел, на мать накричал. Теперь отца оскорбляешь. Кузьма старался подавить злость и ответил спокойно:

— Без оскорбления, батя. Правду высказываю. А какая она по себе — ее дело.

— Ты мне вот что скажи — чего от людей требуешь? Чего не хватает? Почему в каждый твой приход — дым коромыслом, — вся жизнь — шиворот на выворот?

— Одного требую. Уважения!

— Какого ещё уважения?

— Обыкновенного. По моему труду. Чтобы люди понимали, кто я и кто они.

— Постой! Чего понимали? Что рыбак? Так рыбак — профессия, а профессий — тысячи. Или считаешь, тебе полагается больше других?

— Ха! Считаю! Вся страна считает, не я один. В газетах: рыбаки — герои, труд рыбацкий — всех тяжелей и почетней! Рыбку — стране, деньги — жене, а сам обратно — носом на волну! Вот наша судьба! По труду — почет, по почету — обхождение. Куржак смотрел на сына, словно впервые видел его.

— А что ты в океан ходишь, это тебе не награда? Да выпади мне такая доля...

— Тебе — да, не мне! — с новой злостью прервал Кузьма. — Говорю тебе, не знаешь ты большого моря. А я весь океан исходил! Проклятую эту пустую воду испробовал руками, спиной, печенкой, вот как ее знаю!

Он сердито замолчал. Отец после некоторого молчания сказал:

— Пустая, проклятая... А понимать как? Ненавидишь море?

— Нет, обожаю! Жить не могу без качки и сырости!.. Знаешь, о чем мечтаю в рейсе? Попасть в места, куда воду на верблюдах возят. Сколько раз в кубрике поем: «Зачем я бросил ту соху, зачем я на море подался?»

— Думается мне — шутка...

— Грянет шторм, не до шуток! Каждый в свободную минутку — все о береге, других и помыслов нет. И что любить на судне? Что, спрашиваю? Каким счастьем перед береговыми отмечены? Да им в тысячу раз лучше! Я одно знаю — ишачить! Отдай за борт трал или сети, чини дели, выбирай улов, шкерь селедку, снова отдай, снова выбирай, снова шкерь. В темноте встаю, в темноте ложусь, сутками не раздеваюсь. Качает, сшибает, волной заливает, снегом засыпает, обледеневаешь, все одно — отдай, выбирай, шкерь. В тот раз, когда меня за борт швырнуло... Сам что ли прыгнул в пучину? И Степан, когда вытащил, танцевал от удовольствия, думаешь? Трясся, как щенок на морозе! Два дня не мог отойти, вот так он меня спасал. О себе уже не говорю. А береговые? Удовольствия — полной горстью. И на вечеринки, и на танцульки, и просто по улицам пошататься, в забегаловку заскочить, в кафе посидеть...

— Много твоя Лина по танцулькам и по кафе...

— Может — это главное. А что не хочет — ее дело. А я и захотел бы — не могу. Разница!

— Разница, точно. И надо тебе эту разницу доплатить, так? Какую же прикажешь награду?

— Награды выдает правительство. От семьи жду обхождения, а не награды.

— И не получаешь обхождения?

— Шиш получаю, вот что! Первый день по приходе еще так-сяк, ах, Кузенька, ах, родненький, ах, какой ты красивый, так без тебя исскучалась! А назавтра? Главный слуга и подметало. Дай и сделай — два любимых слова. Ах, Кузя, так тебя ждали, забор повалился, почини да дров навези, да крышу наладь, да картошки запаси, да в магазин сбегай за хлебом и капустой.... И радуются — есть кому поработать!

— Ты кормилец или постоялец в доме? На своих не потрудиться!

— Я на своих в море тружусь. На берегу хочу не ишачить, а радость иметь. Не колуном у забора махать, а на почетном месте за столом посидеть, чтобы меня со вниманием послушали, самому умную речь послушать. Могу я это в семье найти? В ресторан — одна дорога, там меня за мои денежки уважают..

Куржак покачал головой.

— Поговорили, сынок, поговорили...

— Больше вопросов не будет?

— Последний. Значит, море — страдание? И за то твое страдание все должны в ножки кланяться тебе? Унижаться перед тобой?

— Унижений не вымогаю, еще раз говорю — обхождения требую... Чтобы каждый на берегу, а наперво в семье, понимал, что я сухобродам и сухобытам не ровня! Я здесь знатный рыбак, вот я кто! Короче, всякое лыко не шей в строку. Я хочу на берегу забрать удовольствий, каких в рейсе лишен. Буду веселиться, перетерпи, моя порция веселья не больше вашей, я только в неделю укладываю, что вы могли за четыре месяца навеселиться.

— Большая радость в семье от твоего прихода из рейса!

— Пусть порадуются моей радости, это и будет понимание. Куржак встал. Кузьма тоже поднялся. У отца дрожали губы, срывался голос. Он глухо проговорил:

— Знатный рыбак! Спекулянт ты, торгаш! Недостойная среди своих личность.

Кузьма весь затрясся — свело ноги, дрожали руки. С трудом он произнес:

— Спекулянтом меня не кляни. Ничего в жизни не продавал.

— Врешь, спекулянт! Начальству твоему объявлю — гоните с промысла, он недостойный моря! Торгаш мой сын, моя вина — не доглядел, в кого растет, а теперь требую — вон его!

Кузьма овладел собой. Руки дрожали по-прежнему, но он нашел силы вызывающе усмехнуться.

— Не путаешь ли меня со своими бригадниками, батя? У вас, случается, спроворят в сторону леща или судачка, а потом загоняют на рынке.

— Случается — из-под полы, знают — воровство! А ты открыто собой торгуешь, своим рыбацким трудом. И после этого ты сын мне? Открещиваюсь от тебя!

Кузьма, снова побледнев, сделал шаг к двери, там остановился.

— Ладно, твое право — когда-то крестил, теперь открещиваешься. Ты вот что скажи — маму повстречаю, что ей о нашем милом разговорчике передать? И как с Линой изъясниться?

— Мать на кухне. Иди тихо, не повстречаешься. А с Линой изъясняться твое дело. Коли она тебя такого терпит, пусть, мучается. А и бросит тебя, скажу ей прямо — молодец, правильно поступила.

Кузьма, уходя, хлопнул дверью.

На лестничной площадке он с минуту постоял, переводя шумно рвущееся дыхание, потом поднялся наверх. Миша был у себя. Кузьма сел на Мишину кровать, уставился глазами в пол.

— Поссорился с отцом? — с тревогой спросил Миша. Кузьма с какой-то безнадежностью усмехнулся и махнул рукой.

— Расставили точки, где требуется. Ты разве не слышал, как мы объяснились? Счастье, Лина ушла на работу, не слыхала, как батя меня характеризовал.

— Ты, наверно, погорячился, Кузя? Контроль над собой потерял.

— Не до контроля было. Такой скандал разыгрался!..

— И все из-за потерянных денег? Кузьма покачал головой.

— Да нет, не из-за денег. Лина на деньги не жадная. Батя тоже не скопидом. Мама, конечно, горюет — она хозяйство ведет. По-разному понимаем жизнь, здесь корень спора.

Миша виновато произнес:

— Извини, что я сказал насчет тех женщин в такси. Тебя долго не было, мы встревожились. Показалось неудобным врать...

Кузьма нетерпеливо отмахнулся.

— Я не сержусь. Все равно сам бы рассказал, к кому и с кем поехали. Не в том штука. Поговорить надо. Тебя Степан о чем-нибудь выпрашивал насчет меня?

Миша осторожно ответил:

— Расспросов никаких не было. А почему ты интересуешься? Разве вы со Степаном ссоритесь?

Кузьма с минуту молчал. Он еще тяжело дышал после стычки с отцом, но старался сдержать себя.

— Ссор пока не было. Спаситель мой, я тебе уже объяснял. Но и любви никогда не будет. Хочу тебе объяснить, раз уж ты в мои семейные дела ненароком встрял. Уважаю Степана, он подлости не сделает, такой это человек. Но, между прочим, когда-то чуть до вражды не дошло. Он ведь с Линой раньше моего познакомился, они даже встречались, вместе в кино ходили. А потом я появился, он же меня к ней в общежитие привел, она тогда техникум кончала. Ну, естественно, Лина ко мне потянулась, а я к ней, ему и наставили нос. Заметил, что он за женщинами не ударяет? Подружек, конечно, заводит, только ненадолго. А почему? Тайком по-прежнему влюблен в нее. Ждет, пока мы с Линой поссоримся. Надеется, наступит тогда его время.

Миша, удивляясь, что Кузьма вдруг разоткровенничался, спросил:

— Он рассчитывает, что ты разлюбишь Лину?

Кузьма, вдруг рассердившись, резко ответил:

— Он не дурак. И в мыслях у него нет такого! Знает, что Лину я никогда не разлюблю. В самую большую ссору с ней поставь передо мной десять лучших в мире женщин и скажи — выбирай любую, всех отведу, обратно к Лине вернусь. Нет, Степан похитрей. Потихоньку клин между нами вбивает. Обиняком, с улыбочкой, с шуточкой... Исподволь внушает, что я у нее плох, что надо бы ей получше муженька... Такие ей всегда знаки внимания, такое почтение... Слыхал, как он сегодня: «Разве можно так на жену?» Думаешь, случайно вырвалось? С умыслом, голову дам на отсечение! Лишний разок подчеркнул, что я ей не пара, достойна, мол, лучшего.

— Преувеличиваешь, Кузя. Сказал, как всякий другой, и я бы так на тебя прикрикнул, да постеснялся. Не вижу тут тайного умысла.

Кузьма с горечью проговорил:

— Попал я в переплет, как теперь выбираться! Одно желание — скорей бы опять в море! Подальше от берега, подальше от попреков! В океане тоскую о береге, на берегу — душа рвется в океан! Вот же обстановка!

— Попроси у Лины прощения, — посоветовал Миша.

Кузьма долго молчал, сумрачно уставясь глазами в пол.

— Не получится, Миша. Начну извиняться, она что-нибудь резкое скажет... Не могу, когда на меня кричат! А если попрекают, так еще хуже... В землю ли тогда провалиться или скандал посильней зажечь... Мне того, что уже сказано, вот так хватит.

Он порывисто провел по горлу ребром ладони.

16

Матрена Гавриловна удивилась, что сын убежал, не зайдя к ней. Куржак объяснил, что времени не было, в непогоду на судах вахты усиливают, приходится выходить не в очередь. Больше всего он боялся, что она ненароком доведается о ссоре с сыном — объяснить, что наговорил Кузьма, было бы непосильно. Он все возвращался мыслью к их разговору: скажи кто раньше, что предстоит такое неожиданное узнавание родного человека, счел бы за оскорбление. Но разговор совершился — и в нем надо было разобраться, каждое слово, каждый гневный взгляд, каждый выкрик понять во всей доподлинности, без понимания становилось вовсе плохо. Куржак сказал, что поедет в Некрасово, очень уж тревожит шторм на заливе, но, выйдя на улицу, побрел к реке, а не на автобусную остановку.

Он прошел аллеями желтеющих кленов на Западную, миновал восстановленную и застроенную часть улицы, пошел дальше. После двух воскресников развалины переменились — без мусора, без битого кирпича и торчавшей из щебня арматуры, к реке уступами спускались остовы зданий, вычищенные, аккуратно выметенные каменные скелеты. Куржак не любил этой улицы, раньше по ней трудно было ходить, она мертво таращилась глазницами бывших окон, мрачно распахивала провалы уничтоженных ворот и парадных. И странное дело, после очистки мусора и завалов, улица не стала лучше, она стала даже хуже, в ней пропала дикая зелень, покрывавшая щебенку, острей чувствовалась мертвечина — и непроизвольно ощущалось, что окно происходит от «ока», а жилье от «жить», ворота от «воротить», парадное от «парадов», ступеньки от «ступать»: любое название было знаком движения, все вместе составляло жизнь, то самое, что было здесь войной начисто уничтожено. Куржак опускался в это ущелье каменных скелетов с неприязнью, то же испытывали и все ходившие здесь. Ощущения выражались одинаково: «Теперь-то строителям придется, хочешь не хочешь, поработать!»— было противоестественно сохранять в живом городе выстроившиеся рядами мумии.

Но сейчас Куржак торопливо спускался по аккуратно пригнанной брусчатке, не поднимая головы. Прохожих не встречалось, можно было вслух разговаривать с собой. И нужно было поговорить с собой, это было теперь, быть может, самое важное. И не для того, чтобы понять Кузьму — сын полностью осветился, — себя надо было высказать, перевести свои ясные ощущения в такие же ясные слова, в разговоре с сыном он только слушал, потом накричал, а не высказался, дело было, ох, непростое — отлить ощущения в слова, а без этого он ни у кого не найдет понимания.

Слова, однако, не шли. Унылое: «Ах, он торгаш!» сменилось таким же: «Спекулянт он!», все завершалось в приговоре: «Недостойный он моря!» И то, что испытывал Куржак, оставалось невыраженным, чувства были глубже слов, были острей и болезненней. И, забывая о словах, твердя их лишь механически, Куржак снова и снова погружался в свою обиду, и она все жгучей жгла, она была теперь в каждом уголке души и в каждом, самом крохотном, ощущении. И все в этих чувствах и ощущениях, так и не замкнутых в слова, было определенно, было четко, было до предела доказательно.

Куржак прошел мимо райкома партии, вышел на набережную, снова возвратился в кривые улочки, где целые дома соседствовали с разрушенными, прошагал мимо целлюлозно-бумажного комбината и вагоностроительного завода, подошел к «Океанрыбе».

Как обычно, и перед двухэтажным зданием треста, и в его коридорах было полно людей. Куржак не успевал подавать руку и отвечать на приветствия. Он подался к Березову, но Березов уехал в Клайпеду, там сдавали в эксплуатацию отремонтированные большие суда. У Кантеладзе шло заседание, из-за дверей доносились голоса, в приемной ожидали конца заседания пять человек, все капитаны — Куржак не стал занимать очереди.

Он вышел в коридор. Кучка рыбаков толпилась, у зеленого щита, где были вывешены портреты передовиков промысла. Люди были знакомые, известные капитаны и штурманы, а надписи сообщали цифры рейсовых успехов, призывали не задерживаться на освоенных рубежах. И на щите, среди портретов лучших матросов рыболовецкого флота, Куржак увидел сына. Кузьма с фотографии глядел уважительно: белый воротничок, галстучек, прилизанные волосики — совсем не таким предстал он сегодня перед отцом, совсем не с такими глазами презрительно отвергал укоры. А надпись прославляла отличного работника, энтузиаста океанического промысла — так и было выведено красным по зелени: «энтузиаст».

«Обманщик! — думал Куржак. — Всех провел! Ах, спекулянт!» И, медленно превращаясь из смутного ощущения в знание, в нем родилось понимание, что пришел он сюда напрасно. Здесь его сын ходит в передовиках, никто Кузьму иным в этом здании не ведает и не захочет иным узнать. Он здесь на щите показателей, в парадной рамке, он сам превратился здесь в показатель, в важнейший показатель отличной работы «Океанрыбы» — вот каких мы вырастили героев, вот на каких умельцев опирается промысел! И все, что он скажет о Кузьме, сочтут домашними дрязгами, до которых дела нет никому, кроме них самих. Да и что он скажет? Спекулянт? Торгаш? Обманщик? Поморщатся: не надо браниться, Петр Кузьмич! И побьют бранные выкрики фактами, отлитыми в бронь цифирья — перевыполнение норм такое-то, поощрений и благодарностей в приказах — столько-то, взысканий — ни одного! Гордиться надо таким сыном, Петр Кузьмич!

И, остановившись перед дверью в кабинет Соломатина, Куржак так и не протянул руки открыть ее. Он шел в управление треста увидеть прежнего начальника Кузьмы: ему пожаловаться, у него попросить помощи. Но теперь, еще до разговора с бывшим капитаном «Кунгура», Куржак понял, что и жалобы бесцельны, и помощи не будет. Разве не от Соломатина пошла слава о Кузьме, как о лучшем матросе? Разве не Сергей Нефедович представлял Кузьму к отличию и благодарности?

— Не поймет, — горестно пробормотал Куржак. — Ни в жисть Нефедычу не понять.

Из управления надо было уходить, пока не остановит кто-либо из знакомых и не начнет выспрашивать о делах, о семье, да еще вдруг не похвалит Кузьму. Но Куржак вспомнил о человеке, который один мог понять его. Этот человек в жизни Куржака сыграл поворотную роль, он первый, без длинных объяснений, без долгих просьб, десять лет назад понял, какой доли желает себе Куржак, и что сделать, чтобы тайное желание стало практическим делом. Это был хороший знакомый, доброжелательный, к тому же сосед — он не мог не разобраться, что мучило старого рыбака. С минуту Куржак поколебался — может быть, лучше прийти к нему вечером, домой, разговор тогда пойдет обстоятельней. Но откладывать разговор до вечера показалось непереносимым.

Куржак вновь поднялся на второй этаж «Океанрыбы», в угловую комнату длинного коридора. Он шел к Алексею Муханову.

17

Алексей удивился, когда увидел входящего Куржака. Рыболовецкие колхозы были связаны с трестом, но непосредственных служебных отношений между «Океанрыбой» и рыбаками-колхозниками не существовало. А все иные дела старый рыбак мог обговорить и дома, оба они вечерами, если выпадал свободный часок и погода была хорошая, любили потолковать в садике о служебных и семейных заботах. Алексей усадил Куржака в кресло, тот стал путано передавать, что случилось этой ночью с сыном. Алексей стукнул в сердцах кулаком по столу.

— Вот же негодяи! Третье ограбление на неделе! Между прочим, Семен Ходор давно на примете. И он, и с десяток его приятелей, таких же забулдыг. Найдем пропажу, не дадим наших рыбаков в обиду, хотя, сказать по чести, надо бы крепко всыпать твоему сыну, Петр Кузьмич, чтобы со всей рейсовой получкой в кармане не шел в подозрительную компанию. Сейчас я поставлю в известность милицию.

Он потянулся к телефону, но Куржак остановил его.

— Не надо милиции, Прокофьич. Шут с ними, с деньгами. Пропали, ну, и пропали. А то — расследование, допросы... И без того позору хватает.

Алексей с недоумением спросил:

— Чего же ты хочешь, Петр Кузьмич?

Куржак так же путано, с усилием подбирая слова, чтобы были разными и убедительными, а не только однообразным повторением фразы «Торгаш он и обманщик!», стал объяснять, что возмущает его в Кузьме. Удивление Алексея все увеличивалось. Со многими просьбами ходили к нему, многого требовали, осуществимого и неосуществимого, — с такой просьбой еще никто не приходил. И когда Куржак закончил жалобу, Алексей задумчиво сказал:

— Сложно, Петр Кузьмич... По линии производственной? Кузьма на самом высоком счету. И в быту поведения неплохого — не пьяница, не озорник, со скверными женщинами не связывался... Сегодняшнее происшествие — случайность, так все расценят. Скажу по чести — не вижу возможности, наказать его.

— А что работу свою честит, труд свой не любит — это как же? — с горечью спросил Куржак. — Так и оставить ему без укора? Что же получается, если народ охаивать начнет, что своими руками для людей делает?

Алексей мягко ответил:

— Понимаешь Петр Кузьмич, одно дело — проступок, другое — психология, то есть что человек чувствует. Не можем же мы привлечь Кузьму к ответственности, если он службу свою исправляет хорошо, но про себя не любит ее. Никому не прикажешь — люби! Приказать можно — делай свое дело честно, не порть, не манкируй. Лишь это в наших силах.

Старый рыбак с той же горечью произнес:

— Спустить ему с рук, что он неверный? Эх, не понимаешь ты меня!

Алексей возразил:

— Понимаю! И сочувствую! Только такое отношение и должно быть к своей работе, какого ты требуешь. Но пойми и ты меня. Не все я способен сделать, чего ты хочешь.

— Хоть бы поговорил с ним. Человек ты видный, авторитетный. Он прислушается...

— Обязательно поговорю, — пообещал Алексей. — Повод есть — безобразное ночное происшествие.

Куржак поблагодарил и ушел. В здании опустели все комнаты и коридоры — наступил обеденный час. Алексей не пошел в столовую. Он стоял у окна и смотрел на канал, наполовину заставленный судами, прижавшимися одно к другому бортами. Шторм продолжался, движение по каналу было закрыто — белые, быстро бегущие полосы исчеркали воду. Разговор с Куржаком взволновал Алексея. Он думал о Куржаке, о его сыне, о самом себе, вспоминал прошлое.

Алексей не любил воспоминаний. На каждый день хватало своих забот, чтобы рыться памятью в днях прошедших. О будущем приходилось думать чаще, чем о прошлом, будущее надо было создавать — подготавливать, обеспечивать, обосновывать — будущее всегда являлось насущной, каждодневной задачей, от которой не отвлечешься. Прошлое можно было не тревожить, оно было чем-то вроде развлечения — Алексей не разрешал себе развлекаться без пользы.

Но сейчас его заполонили воспоминания. Он смотрел в окно и видел то место, метрах в двухстах отсюда, нынешнюю улицу Западную, где четыре осколка, разом вонзившиеся в тело, свалили его на мостовую. Это было в апрельское утро, в тяжелое утро, когда дым пожаров заволок солнце, и город был словно весь в тумане. Да, так это было, он упал, пытался подняться и не смог, мимо бежали солдаты его полка, они преследовали бегущего врага, он еще видел огни выстрелов, но уже не слышал ни их, ни крика людей. А потом наступили полная тьма и тишина, в тишину вдруг ворвался властный женский голос: «Не дергайтесь, майор, последний осколок вытаскиваю!» — и снова была тьма и тишина. Лишь на третий день, уже после капитуляции гитлеровского гарнизона, он раскрыл глаза и увидел, что лежит в палате, на соседней кровати растянулся Березов, между двумя кроватями сидит на стуле, военный хирург, молодая женщина. Она радостно засмеялась, когда он, еще не понимая, плохо ему или хорошо, вопросительно посмотрел на нее;.

— Скоро поправитесь, майор! — сказала она. — Побивать рекорды в беге не сумеете, но прилично стоять на ногах будете. Даже прогуливаться с женщинами сможете, это я вам обещаю. А теперь знакомьтесь с вашим соседом, привезли вас одновременно и ранения у вас похожие, и выздоровление пока идет одинаково, так что быть вам друзьями.

Она словно в воду глядела, Мария Михайловна, молодой военный хирург, год назад закончившая институт. И с Березовым они стали друзьями, больше, чем просто друзьями — не всякие братья так душевно близки. И с женщинами он прогуливался, когда вышел из госпиталя, собственно, только с одной женщиной, — с ней, с Марией, оперировавшей его, и через два месяца ставшей его женой. «А ведь пришлось с тобой повозиться, Алеша, да ведь для себя старалась, знала, что спасаю будущего своего мужа!» — шутила она потом.

Алексей все смотрел в окно и вспоминал, как трудно было в те первые дни по выходе из госпиталя. Из армии демобилизовали по ранению, можно было уезжать в родные места, на Брянщину, а уезжать не хотелось. Вон там, на холме, неподалеку от нынешней пристани, он сидел в такой же солнечный сентябрьский день и глядел на канал и залив, и размышлял, как бы найти работу на полюбившемся месте. День размышлял, другой, неделю, потом пришел узнать в комендатуре, не нужны ли где люди, как он. А в комендатуре — единственной тогда власти в городе — гражданский инспектор, еще не снявший военную форму, только без погон, с привычной военной категоричностью заявил, что Алексей Муханов именно тот, кто ему позарез нужен, просто счастье, что пришел. Самое важное дело сегодня — вербовать переселенцев на пустующие после войны земли. Он, инспектор, с одного взгляда видит: в Муханове, бывшем политработнике, таится талант вербовщика, то есть политика, агитатора и организатора. Вот вам командировочное удостоверение, деньги на дорогу получите в кассе, билет на поезд заказан на завтра — действуйте, майор!

Проницательный инспектор, определявший талант людей с одного взгляда, если когда и ошибался, то не в случае с Алексеем. Тут он оказался прав: в своем родном городке на Брянщине Алексей завербовал на новые земли тринадцать семейств — и девять, приехав в Светломорск, объявили, что хотят в моряки, по крайности в рыбаки, только не на пашню. И хоть никто еще и моря не видел, а с рыбой встречались лишь с просоленой и вяленой, завербованные упрямо стояли на своем: столько чудес наговорил им о море земляк. А за Брянщиной была Псковщина и бобруйские земли, исконные лесные места, глухомань — вербовка прошла и там с успехом, но и оттуда коренные, от Рюрика и крещения Руси, лесовики помчались с семьями, с бедным скарбом и отощавшей живностью, лишь чудом сохранившейся в войну, не просто на новую, пустующую землю, а на еще более пустынные берега: «Шагаем в океан, товарищи! Меняем болота на пучину, лешего на водяного — где он тут обитает, не терпится познакомиться». Переселенцам, набранным Алексеем, растолковали, что водяных в море нет, а имеется Нептун с нептунятами, но водиться с Нептуном пока не к спеху — нужно подналечь на восстановление сожженных войной хуторов, привести в порядок заброшенное сельское хозяйство. Стало ясно, что вербовочная деятельность Муханова, хотя, в общем, и выгодна новой области, но отнюдь не объективна, а скорей пристрастна. Секретарь обкома партии по промышленности вызвал к себе энергичного вербовщика.

— Думаем взять вас в обком Инструктором по рыбному хозяйству. Вы, говорят, в своих родных полях очень уж насчет океана распространялись. Так вот, до океана когда еще доберемся, а возьмитесь сначала за местные заливы да побережье Балтики, организуйте рыболовецкие бригады. И кадры для морского промысла подбирайте, начнем потихоньку и такой организовывать.

Ошеломленный Алексей заикнулся было, что о море он всегда мечтал, но отнюдь не о рыбном хозяйстве, с рыбой, тем более морской, мало знаком. Секретарь обкома оборвал его: есть твердое мнение, что Муханов хороший политик, агитатор и организатор, а что еще надо партийному работнику?

Так началась жизнь среди рыбаков и для рыбаков — ровно четыре года в должности инструктора отдела рыбной промышленности обкома партии — четыре нелегких, внешне однообразных, но, может быть, самых плодотворных и поучительных года его жизни. И рыболовецкие бригады создавал при колхозах; и помогал немногочисленным вначале бригадам превратиться в самостоятельные рыбодобывающие колхозы; и вербовал из военных моряков кадры для «большого промысла», превращая недавних лихих морских волков и волчат в старательных рыбаков; и снаряжал сельдяные экспедиции в Норвежское море, к Лофотенам, на парусниках с романтическими названиями «Сириус», «Орион», «Кассиопея», «Арктур», «Орел»; и всех капитанов, штурманов и мастеров умножавшегося рыбацкого флота знал в лицо.

Как раз в тот первый год его деятельности инструктора по рыбной промышленности, и произошло знакомство с Петром Куржаком. Алексей вспоминал, как случилось знакомство, это воспоминание было сегодня необходимо. Истоки сегодняшнего огорчения и негодования Куржака лучше всего понять, возобновив в памяти, каким Куржак был тогда, кем стала для него в те дни его новая профессия.

Это было трудное время, вспоминал Алексей, — разруха, нехватка самого необходимого, скудные продовольственные пайки. Он, молодой инструктор отдела рыбной промышленности, выполнял строжайший наказ — усилить снабжение города свежими рыбопродуктами. «Превратим Светломорск потребляющий в Светломорск производящий!» — такие плакаты висели тогда на улицах, призыв повторялся в каждом номере газеты: инструктор вносил свою лепту в общее дело. На побережье промышляла моторыболовная станция, МРС — десяток траловых ботов, жалкая мастерская, «шарага», иначе ее и не называли. Но в «шараге» осели хорошие моряки, демобилизованные с флота. Лихие вояки, внезапно превратившиеся в рыбаков, тосковали, занятие было не по душе. Сейчас трудно вспомнить, кому явилась мысль объединить МРС с колхозами в одно рыболовное предприятие — Алексей с энергией претворил эту идею в жизнь.

В тот промозглый осенний день он выехал в Мураново не то городок, не то поселочек, к старому, с войны, приятелю Матвею Крылову, заместителю председателя Мурановского исполкома. Крылов в городке налаживал пекарни и бани, открыл магазин, очищал улицы от развалин — делал жизненно нужное, хотя и мелкое дело, и тоже тосковал, как и капитаны МРС, что дело не по душе. Он был способен к масштабам и покрупнее. Уговоры продолжались больше месяца, только в то утро Крылов согласился возглавить задуманное предприятие. Все порождало у него боязнь — и с рыбой встречался, лишь когда была на тарелке, и в промысловое умение бывших военных моряков не верил, и еще меньше верил, что найдет колхозников, желающих променять привычную землю на незнакомое море.

Встреча с Куржаком положила предел колебаниям Крылова.

Алексей с Крыловым приехали в одну из крохотных артелей, прикрепленных к МРС — девять дворов, четырнадцать мужчин, способных тянуть сети: команда на два траловых бота. Всего таких артелей было четыре по обоим берегам залива, двадцать восемь дворов, от первого до последнего — сотня километров по суше, километров двадцать водой. А рядом обстраивались полевики и животноводы — переселенцы занимали отремонтированные дома, в конюшнях ржали кони, по полям бродили крупные породистые коровы — люди оседали всерьез.

— Вот где новая жизнь устраивается, — сказал Крылов. — Разве выманишь кого на воду?

Над неспокойным заливом неслись хмурые тучи, то моросило, то переставало. На бревне у воды сидел рыжий человек и не отводил глаз от пустого простора. Алексей спросил, на что он загляделся.

— Красотища какая! — тоскливо сказал переселенец. — И есть кому-то счастье — плавают, рыбачат...

— И вы можете плавать. Рыбы здесь хватает, рыбаков мало. Идите к нам в рыболовную артель.

— Кто же меня теперь отпустит? — с унынием сказал переселенец. — Аванс взял, корову, жилье дали... Судьба наша — земля, а не море.

— Переменим судьбу! Вас как? Петр Кузьмич? Просите моего товарища, Матвея Ивановича Крылова. Он человек влиятельный и богатый — и направление переоформит, и аванс вернет, и с коровой и жильем наладит.

— Матвей Иваныч! — сказал переселенец. — Сделайте одолжение!

Он даже умоляюще сложил руки. Алексей с усмешкой посмотрел на Крылова. Тот пробормотал, что подумать можно.

— Люди на рыбу нужны, — сказал он неопределенно. — Бросаем людей на рыбу, бросаем людей...

— И меня бросьте, Матвей Иванович, — просил Куржак. — А к вам куда идти?

Крылов беспомощно оглянулся на Алексея. Инструктор коварно посмеивался. У Крылова не хватило духу признаться, что он пока не имеет никакого отношения к рыбным делам.

— Идти?.. У вас Добролюбово? Следующий поселок — Некрасово. Вот там откроем контору, туда и приходите.

После Крылов сердито выговаривал Алексею:

— Женил!.. Влиятельный, богатый! Где богатство? Где влияние?

— Все будет, Матвей Иванович. — Алексей не переставал смеяться: так хорошо получилось. — Сам видишь, с рыбаками устроится. А что контору надумал открывать в Некрасове, одобряю. Место хорошее, там и колхозную пристань возведем.

С того дня прошло немало лет. В открытое море лесовика не выпустили, но в заливе Куржак стал лучшим промысловиком. А в памяти Алексея навсегда запечатлелось лицо немолодого переселенца — умоляющее, растроганное красотой водного простора. Он не изменился, рыжий рыбак. Море по-прежнему было страстью души, не рабочей площадкой, как у его сына. И Алексей понимал, как жестоко Кузьма оскорбил отца. Все, что не удалось совершить самому, достигнет сын, так думалось отцу. А Кузьма нашел в море лишь профессию, саму по себе неприятную, но годящуюся для самовозвеличения. Отец — мечтатель, сын — честолюбец... Мечтатель и честолюбец? А, может быть, лучше сказать по-другому? Люди разных времен, эти двое, отец и сын. Кузьма — практичен, он ищет в своей работе, неважно, какая она, только пользу для себя лично. А что польза эта не деньги, не высокие должности, а почет среди товарищей, возможность погордиться перед ними, возвыситься над своим окружением — вопрос характера, такой уж это человек, Кузьма Куржак, что лишь превосходство над другими его влечет. С неменьшей охотой он пошел бы не в рыбаки, а в шахтеры, рудари, металлурги, сельские механизаторы, если бы увидел, что и там быстро заслужит такой же почет. Для этого человека его труд — средство возвышения. А для отца работа — призвание. Этот старый рыбак в труде своем нашел осуществление глубоких порывов души. Может, и не надо так выспренно говорить, слишком уж получится по-газетному, но ведь это правда: его труд — творчество. Завтра, наверно, труд каждого будет творчеством, каждая работа будет совершаться по призванию, а старик требует, чтоб это уже произошло сегодня, негодует на сына, что он не таков. Нет, пока еще рано требовать этого ото всех. Сегодня профессия не всегда подбирается по душе — часто идут, куда требуются работники, а не куда хочется. Да и всем ли заранее мечтается, кем быть? Слесарем или летчиком, агрономом или врачом? Всякая профессия хороша, если нужна, выполняй только, честно дело свое. А завтра, возможно, занятие не по душе, случайно выбранная профессия, станет странностью, будет прегрешением перед собой и обществом — проступком, а не работой, вот таким же прегрешением и проступком, в каких обвиняет Куржак своего сына.

Мысль, захватившая Алексея, в сути своей была проста, но ее надо было додумать до конца, чтобы точно представить себе все практические выводы из нее. Но обеденный перерыв кончился, надо было принимать посетителей. Алексей отошел от окна, вслух сказав себе:

— Вечером поговорю с Кузьмой дома.

18

Работа на метеостанции оставляла Шарутину много времени и для того, чтобы послоняться потом в одиночку по улицам, отделывая рождающиеся каждый день и каждый день с огорчением бракуемые стихи, и для встреч с друзьями. Друзей у малообщительного, но доброго по натуре штурмана было немного, зато все были верные, без ссор и размолвок — мрачный, угрюмо басящий Шарутин в любом споре предпочитал уступить, чем рассердить друга. Миша, сам не понимая, почему, стал одним из тех, кого Шарутин одарил своей дружбой и кого, на правах старшего, заботливо опекал.

— В субботу готовься к вечерку, — сказал он однажды Мише, забежав к нему на минутку. — Пригласительные билеты у меня в кармане. Нейлоновая рубашка у тебя есть? Без нейлоновой моряку нельзя, принесу свою. И галстук сменим, твой не смотрится. Чтобы в шесть был дома!

На другой день перед тем как идти к Мише, Шарутин заглянул на квартиру к Тимофею. Сергей Шмыгов, закончив свой, как он всем называл, «сухопутный ремонтный срок», уходил в океан на «Ладоге» Доброхотова. У Тимофея на столе стояла водка, кувшин кваса и разная закуска. Сам Шмыгов был уже изрядно навеселе, у Тимофея от выпитого тоже раскраснелось лицо. Между Тимофеем и Шмыговым сидел паренек лет восемнадцати — с первым пушком на румяном лице, застенчивый, угловатый.

— Мой моторист, Костей зовут, знакомься, — важно сказал Шмыгов. — Отчество тоже есть, даже и фамилия, только это для отдела кадров, на судне величания ни к чему. Салажонок! Я его в мастерской нашел, обучил двигателю, теперь буду в моряки выводить. Жуткое дело, каким станет человеком! Ты меня знаешь, Паша, у меня слово — гиря. Теперь давай прикладывайся, и мы с тобой.

Шарутин не заставил себя вторично просить: Закусывая, он показал на Костю — тому ничего не налили:

— А моториста почему обходят?

— Нельзя, — строго сказал Шмыгов. — Пока две тонны морской волны не выхлебает, хмельного не разрешу. Так и меня батя когда-то учил: «Испей досыта соленой водички, там можно и на водочку приналечь».

— Сегодня уходите? — спросил Шарутин.

— Завтра утром. И Тимофея возьму, пусть посмотрит каюту стармеха. Двоим там не лечь, а сидеть могут с полдюжины.

— Прогноз на завтра неважный, — предупредил Шарутин. — С запада накатывается ветерок. Как бы вам на денек не задержаться.

— Завтра уйдем! — уверенно сказал Шмыгов. — Ведь послезавтра что? Понедельник! Чтобы такой старый морской волк, как Борис Андреевич, в понедельник вышел? Да ни в жисть! Теперь слушай мой наказ, Тимоха, — обратился он к Тимофею. — Два пункта. Исполнение обязательное. Первый. Чтобы к моему приходу обженился с Анной. Ставлю тебя в известность: сегодня утром, тебя тогда не было, поставил ей ультиматум: либо пусть съезжает на другую квартиру и живет там сама по себе, либо прекратит издевательство над тобой.

Тимофей даже побелел от огорчения.

— Какие издевательства, побойся бога, Сережка!

— Пусть выходит за тебя. Так и приказал: к моему возвращению из рейса чтобы забраковались. И добавил: говорит тебе, Анна, Сергей Шмыгов, а слово Шмыгова веское — по пуду буква.

— Сколько вы о вашей соседке рассказываете, а я ее ни разу не видел, — сказал Шарутин. — Какая она все-таки из себя?

— Уже говорил тебе — невредная. Кто говорит, даже красивая. В общем, все на месте, что требуется. Тимофею будет жена подходящая.

— Что же она ответила на ультиматум? — полюбопытствовал штурман.

— Смеялась. Что с нее возьмешь? Сказала: что-то Тимофей мне пока не объяснялся. Короче, Тимоха, бери быка за рога, а корову за бока. Завтра объяснись: хочу тебя, Анна, и точка на твоей одинокой судьбе. По-другому говорить запрещаю.

— Подсуропил ты мне, Сергей! — Тимофей все качал головой. — Чтобы так разговаривать с ней!

— Только так. Шмыгов друга в беде не оставит, это знай твердо. Теперь второе. Готовься ко второй перемене судьбы. В следующий рейс возьму тебя с собой. Хватит землю топтать, сделаю из тебя моряка.

— Да у меня голова кружится, чуть волну увижу! И плавать не умею. Какой из меня моряк?

— Неважно, что голова кружится и что не плаваешь. Научим. Тебе скоро жену содержать, а у нее дочь подрастает. Не на сухопутные же свои барыши! И потом знай: я к тебе второй год присматриваюсь. Будет из тебя моряк!

Шарутин выпил еще рюмочку и пошел к Мише. Нейлоновая рубашка, принесенная штурманом, пришлась Мише впору. Штурман сам вывязал другу галстук. Миша покрасовался перед зеркалом.

— Аполлон! — восторженно воскликнул Шарутин. И уже обыкновенным голосом добавил: — Хватит вертеться перед зеркалом, а то сам в себя влюбишься. Был такой печальный случай в древности с неким Нарциссом, хорошего ничего не получилось.

Праздничный вечер с танцами был устроен в клубе вагоностроительного завода. Миша с Шарутиным на торжественную часть опоздали, а к танцам успели. Миша встал в стороне и осматривался, все были незнакомые, он уже стал досадывать, что согласился пойти в клуб. Шарутин, пропавший в толпе, привел к нему Катю.

— Танцуйте, дети мои, — сказал он великодушно. — Уступаю тебе, Миша, первенство и не требую за это чечевичной похлебки, как сделал в старину один известный исторический деятель. Но второй танец мой, помни это.

Миша танцевал плохо, но Катя с таким увлечением кружилась, что его неумение не мешало. Она очень рада с ним встретиться, о том совместном воскреснике у нее остались самые лучшие воспоминания. У них в клубе часто бывают вечера, она приглашает Мишу приходить. В дни, когда нет танцев, показывают кинокартины, тоже захватывающе интересно.

Первый танец закончился, и Катю перехватил Шарутин. По залу шла Анна Игнатьевна, Миша пригласил ее на танец.

— Век вас не видел, — сказал он, танцуя.

— Всего три недели, — поправила она весело.

— Неужели три только недели? Как же медленно шло время!!Вы не заметили?

— Нет, не заметила. У меня время всегда идет одинаково. А вот у Кати, с которой вы только что танцевали, время тоже замедлилось, она с нетерпением ждала этого вечера. И она часто вспоминала, как вы хорошо с нами работали. Мне кажется, вы произвели на нее впечатление.

— Мне это все равно, — сказал он равнодушно. — Я о ней не думал. Другая у меня на уме.

— У вас есть другая девушка? — сказала Анна Игнатьевна с сожалением. — Жаль Катю, она огорчится. А почему вы не привели с собой свою подругу?

— О вас я думал! С того дня, как повстречались у памятника, все о вас думаю. А когда вы посмеялись надо мной на воскреснике, так особенно!

Анна Игнатьевна попыталась освободиться, он не пустил. Танец был в разгаре.

— Почему вы меня не уважаете? — сказала она с упреком. — Чем я заслужила такое обращение?

Он смешался.

— Вот еще — не уважаю! Нет, серьезно — очень думал о вас.

Музыка кончилась. Анна Игнатьевна быстро отошла. Настроение Миши вконец испортилось. Катю окружили заводские пареньки. Шарутин опять где-то пропал. «К чертовой матери, — думал Миша, — наплюю на все и потопаю домой, нечего мне делать на чужом празднике.» Он пошел к выходу.

В вестибюле Анпилогова принимала от гардеробщицы пальто.

— Надо бы докончить разговор, Анна Игнатьевна, — подойдя к ней на улице, сказал он с угрюмой вежливостью. — Кстати, провожу. Ночью небезопасно, сами знаете.

Она кивнула головой. Несколько шагов они прошли молча. Потом он заговорил. Что она имеет против него? Слова его всегда мягкие...

Она сказала с досадой:

— Да не в словах дело. Вы нехорошо на меня смотрите.

— Смотрю, как на всех женщин.

— Именно. Как на всех женщин, за которыми ухаживаете. Для ухаживаний я вам не гожусь.

Нет, он и не думал за ней ухаживать. Ухаживания ему не по характеру. Пережиток, смешной в век равноправия. У мужчин с женщинами сейчас норма — договоренность, а не ухаживания. Он к ней — ты мне нравишься, давай встречаться. Она ему — можно встречаться или — не хочу, проваливай поздорову. И всё. Идеальная простота.

— Та самая простота, которая хуже воровства.

Он с насмешкой посмотрел на нее. Идеалов ищете? Между прочим, в любви и воровство — законно. Поцелуй украдкой, а если серьезное свидание, так запершись, по принципу: бог послал, никто не видал, а кто видел, тот не обидел.

— Это не мой принцип. Я женщина старой школы.

— Где вы, кстати, живете?

— Уже надоело провожать?

— Приятно идти, хочу продлить удовольствие.

— Живу в бывшем доме.

— Почему в бывшем?

— Разрушен очень. Третий год обещают приступить к восстановлению и третий год откладывают.

С проспекта Победы свернули на Кутузовскую. Анна Игнатьевна сказала, что с завода обычно возвращается этой дорогой. По зеленой, в цветах, Кутузовской прогуливаешься, как по саду. Миша согласился: улица хорошая, хотя на ней ни магазинов, ни кафе — для веселья такие улицы мало пригодны, а к прогулкам располагают.

Анна Игнатьевна свернула в плохо освещенную улицу. Сперва шли восстановленные дома, затем стали попадаться развалины. В руинах промелькнули две мужские тени. Анна Игнатьевна ускорила шаг. Миша сказал:. — Вы, оказывается, трусиха?

— Ужасная! Ночью иду домой, дрожу от каждого шороха.

— Со мной не боитесь?

— С вами я побаиваюсь другого.

Если бы она не сказала так, он вежливо довел бы ее до дому, чинно раскланялся. Вдруг озлившись, он схватил ее, стал целовать. Она вырвалась, побежала вперед.:

Он молча смотрел ей вслед. Болван, дубина безмозглая! На старуху польстился. Нужна тебе старуха! Он зашагал назад, удивляясь и негодуя. Вот уж невозможная баба, отбивалась, будто ее душили. Радуйся, что молодой парень тобой увлекся, ноги мне целовать надо, а не отбиваться, дуреха ты!

У дома, где мелькали тени, он остановился. Сдурел, совсем сдурел! Отпустил женщину одну в развалки. И она, идиотка, неслась, не помня куда!

Он побежал обратно по темному переулку. Липы шумели раскидистыми кронами. Он остановился, прислушался. Издалека донеслось испуганное восклицание. Он кинулся на крик. К Анне Игнатьевне приставали два подвыпивших парня, один низенький, другой повыше. Высокий схватил ее за руку, она вырывалась.

— Ладно, не кочевряжься, мы хорошие! — услышал Миша пьяный голос. — Ну, поцелуем, ну, обнимем, пятна не останется!

— Пустите, я позову на помощь! — крикнула она и вырвала руку.

Она побежала, они, захохотав; припустились за ней. Миша нагнал низенького, ударил его в плечо. Парень пошатнулся, позвал товарища.

— Наших бьют! — закричал высокий, оставив Анну Игнатьевну. — Что такое? Кто позволил?

Он бросился на Мишу. Миша едва успел ответить на удар, как налетевший низенький боднул его головой. Миша пошатнулся, низенький ударил кулаком в живот. Охнув от боли, Миша свалил низенького на землю; Теперь остался один высокий, он после крепкого удара отступил. Миша услышал отчаянный крик Анны Игнатьевны — низенький выхватил нож, она, вцепившись в его руку, пыталась не пустить его к Мише. Миша с такой яростью вывернул локоть нападавшего, что тот, завопив, выронил нож и опять повалился на землю. Миша ударил его ногой, схватил нож и кинулся на высокого — в руке у того тоже сверкнуло лезвие. Высокий помчался к ближайшему разрушенному зданию, за ним удрал и вскочивший второй. Миша кинулся было вслед, но Анна Игнатьевна обхватила его и твердила:

— Не пущу! Не пущу!

И лишь почувствовав, что ярость в нем утихает, она перестала кричать: «Не пущу!» и разжала руки. Миша со смехом показал трофей:

— Храбрецы! К одинокой женщине сильны разбежаться, а мужика побоялись.

— Выбросьте эту мерзость! — с содроганием попросила она.

— И не подумаю! Или на память оставлю, или в милицию занесу. — Он взял ее под руку, заглянул в лицо. — А вам не везет, Анна Игнатьевна! От меня убегали, а на кого угодили? Как же теперь прикажете мне держаться?

— Проводите меня, Миша. Одна я и шагу побоюсь сделать. От пережитого испуга она ослабела, шла медленно. Они приблизились к большому дому.

— Вот те на! — сказал Миша с удивлением. — Знакомое местечко! Тут же Тимофеевы хоромы.

— Тимофей — мой сосед.

— Ах, вот оно что! Что же он вас не встретил? Он же всегда встречает с завода соседку — вас, вероятно.

— Он сегодня провожает в море Шмыгова. А я сказала, что дойду с друзьями без приключений.

— И, точно, дошли. Правда, не с друзьями, да и приключения были.

Она поднималась с трудом, на каждом этаже отдыхала. Перед дверью ее квартиры он сказал:

— Бледны вы — страх! Не вызвать ли врача?

Она покачала головой, силилась улыбнуться, но дрожащие губы не складывались в улыбку.

— Тогда поднимите дочку, пусть заварит чаю покрепче.

— Варя выпросилась ночевать к подруге.

— Может, остаться? Нехорошо покидать вас одну в таком состоянии. Я могу пристроиться на диване или на полу.

Она кивнула.

— Посидите несколько минут, я успокоюсь...

— Я не тороплюсь, можете не волноваться. Да придите же в себя!

Он дружески положил ей руку на плечо. Рука была в крови.

— Вы ранены! — вскрикнула она. — Боже мой, вы ранены!

— Не моя, того низенького. Он поранил себя, когда я вырывал нож.

Она протерла ему полотенцем руку. Раны на руке не было. Она с облегчением сказала:

— Я не простила бы себе, если бы вы пострадали из-за меня. А теперь, пожалуйста, уходите.

Он стоял и смотрел на нее, дыхание, у него опять стало неровным. Она хотела отойти. Он обнял ее, целовал лицо и шею. И сейчас у нее не было сил и не было желания отбиваться.

19

Он лежал, утомленный и довольный, и все говорил. Анна Игнатьевна положила руки под голову, смотрела в потолок. На потолке бегал зайчик от уличной лампы, лампа раскачивалась — опять с моря налетел ветер. А березка, выросшая на балконе, так перегибалась, что порой закрывала мятущейся кроной все окно. То, что произошло у Анны Игнатьевны с Мишей, было и хорошо, и плохо — она не знала, чего больше, хорошего или плохого.

Миша говорил о ней. Она покорила его с первого взгляда — он сказал с «первого глаза». Он закрывает глаза и видит, как она идет вдоль братских могил. После второй встречи дошло до того, что дня не проходило без мысли о ней. Про себя твердо постановил: добуду Анну! А что он задумает — все! Из-под земли достанет, из облака утянет!

— Ну, и как — добыл Анну? — спросила она.

Он захохотал, притянул ее к себе. Он делом доказывал, что добыл ее. А было непросто, ох, непросто — признавался он, счастливый. Как же она отваживала от себя! Но он знал — рано или поздно они подружатся. Такими парнями женщины не разбрасываются. Она ведь одинокая, а свято место пусто быть не должно.

— Вот как? Чем же ты заполнишь мою пустоту? В мужья себя предлагаешь, что ли?

Он смеялся еще счастливей. Зайчик на потолке уже не метался оголтело, а перебегал неспешно из края в край. И от того, где находился зайчик, мрак в комнате то густел, то разреживался. Временами Анна Игнатьевна отчетливо видела Мишино лицо, временами оно пропадало в темноте. Что общего между этим молодым шалопаем, бесцеремонно хвастающимся своими сердечными победами, и тем храбрецом, ринувшимся на двух хулиганов? Это были разные люди, она не могла соединить их, а соединить непременно надо было, иначе становилось совсем плохо.

Миша отсмеялся и заговорил. Что ж, Анна в жены подошла бы, да разницу в возрасте не перечеркнешь. От одних приятельских смешков изведешься.

— Спи, четвертый час! Разве можно так с женщиной говорить?

Он разволновался, ему не хотелось ее огорчать. Он привлек ее к себе, она отвела его руку.

Зайчик, покачиваясь на потолке, сумрачно, как лампада, озарял комнату. Балконная березка билась в окно, как огромная черная птица. Нет, он ничего не понимал, он все больше сбивался на игривый тон. Не надо же сердиться, Анечка, я же без обиды. Все, что нужно тебе — скажи только! Пыль буду сдувать с тебя, колесом вертеться вокруг, охраню так, что и близко никто не сунется! Такая уж судьба свободных парней — заполнять одиноким женщинам житейскую пустоту. Поддаемся требованиям жизни.

— И много раз тебе приходилось поддаваться требованиям жизни? Спи, Михаил, я устала.

Он еще поболтал и уснул внезапно. Анна Игнатьевна слышала его дыхание, ощущала жар его тела. Она положила руку ему на грудь, под рукой гулко билось сердце. Она закрыла глаза, чтобы не видеть мебели, тускло выступавшей из мрака. Сколько раз, и не только зимой, она мерзла под этим одеялом, ей всегда не хватало собственного тепла. Сейчас тепла с избытком, одиночество кончилось — временно прервалось. Она зябко передернула голыми плечами, набросила на себя одеяло. Еще никогда она не была так обидно одинока, плохого много больше, чем хорошего. Так мало нужно, чтобы покорить тебя — быть человеком, а не подлецом... Ты схватила его, не дыша, ты умерла бы, если бы он побежал за теми двумя, он поддерживал тебя за локоть, когда ты оступалась, ты вздрагивала, ощущая пальцы, сжимавшие твою руку. Вот он лежит рядом, на время полностью твой — ты счастлива?

— Не удалась, — сказала она вслух о своей жизни. Миша, вздрогнув, что-то промычал во сне. Она повторила как приговор: — Не удалась!

Она тут же молчаливо запротестовала. Несчастной она не была. Жизнь ее, если вдуматься, скорее счастлива. Все было в жизни — и друзья, я здоровье, и дочь Варенька — чего еще? Ей не в чем упрекнуть себя, нечего стыдиться — жизнь шла по-хорошему!

— Моя жизнь, — сказала она горько. — Она была не хуже жизни моих сверстниц, рожденных в тысяча девятьсот двадцать четвертом.

Она вспомнила школу в Ленинграде — пятиэтажное здание, широкие окна, светлые классы и коридоры. Школу построили в тридцать пятом году, в конце сорок первого учению пришел конец, — чуть ли не всей жизни конец, — так иногда в тот год казалось. Она видела выпускной вечер, в их классе было поровну мальчиков и девочек — четырнадцать девочек, четырнадцать мальчиков. Оля, Светлана, Кира, Маша, еще Маша курносая, еще Оля беленькая, Татьяна, Галя, Липа, Рая, Фатима... Кто еще? Тамара, Фроня, нет Тоня... девочек она уже забывает, лиц уже не помнит, лишь имена звучат. А мальчиков видит всех. И низеньких Лешу и Гошу, и забияк Васю с Семеном, и высоких Петра и Павла, и остроумного Мирона, развязного Оскара, рыженького Мишу и Костю с Давыдом, и Федора с Тришкой, всегда хохочущим Тришкой... Их давно нет в живых, а она видит всех, боже мой, живые забываются, себя забывают, а мертвые вечно живут, им уже не измениться, все в них — навеки. Одним навеки — нет двадцати, другим навеки за двадцать, как написал кто-то в режущем сердце стихе! И Тришке, и Николаю, и Федору, и Павлу, и твоему Косте — всем им навеки за двадцать, остальные не преодолели этого рубежа, им навеки до двадцати!

Не плачь, глупая, на все горе в мире не хватит слез. Тебя вывезли в марте сорок второго, почти все вы, девочки, выжили, а мальчики погибли, те, кого ты навеки помнишь. Так странно, так невозможно горько — все они погибли, мальчики твоего класса, сверстники двадцать четвертого года. Вы уговаривались встретиться после войны в школе, многие девушки явились, другие прислали письма — ни один мальчик не прибыл и не написал, с того света не возвращаются... Говорю тебе, не плачь. Да и потом, поговорим рассудительно, не было там твоего любимого. Это были друзья, не возлюбленные. Ни одного ты не ждала в свой дом.

Но они не пришли с войны, и дом твой остался пуст. Люди, любившие тебя, погибли, и еще миллионы погибли, среди несвершившейся любви была и та, которой не хватило тебе и еще двадцати миллионам женщин, оставшихся, как и ты, одинокими. Милый близорукий Костя подарил тебе стихи в выпускной вечер, рифмованное предложение руки и сердца, — помнишь? Я все помню, я все вечно помню, я ответила ему: «Никогда, Костя!» Я тогда никого не любила из своих мальчиков-сверстников — соученики, друзья, не больше. Что осталось от моего «никогда»? Только то, что никогда мне не забыть этих слов, лучших в моей жизни не было, а я не понимала, я ничего, дура, не понимала!

В моей душе исходит кровью рана,

И я кричу, кричу вам: «Анна! Анна!»

Но глуп мой крик. Ведь я же первый дам

Пример беспомощности и боязни.

Нет, к дому вашему не зарасти следам.

Я вас хочу. Фанатик хочет казни.

Странно. Костя говорил мне ты, и в письмах тоже писал ты, а в стихах я были для него — вы. И лишь в том письме, от восьмого апреля, впервые появилось ты: «Тебе, дорогая Анна», а на конверте он надписал: «Доставить Анне Анпилоговой, моей подруге». Просто доставить, а не «доставить, если не вернусь», он знал: будет то, что он напророчил. И больше ничего уже не было от него, только конверт с надписью и эти шесть строчек, последние шесть строчек в его жизни:

Рассвет и разведка. Короткий бой.

На всякий случай — простимся с тобой.

Рассвет превратится в пожарище дня,

И, может, уже не будет меня.

Но будешь ты, когда кончится бой.

И буду я — в тебе и с тобой.

Ты читала эти прощальные строчки, замирая, у тебя не хватало сил на слезы — слезы пришли потом. Сколько лет ты не вынимала того конверта, все ты в нем помнишь, каждую букву, каждый штришок карандаша... Костя навеки во мне и со мной — очень тихий, близорукий, всегда один и тот же, ему уже не измениться...

И Николая я помню, отца Вари — он вечно во мне. Николай погиб в сорок шестом от пули бандеровца, через полгода после его смерти родилась Варенька. Уезжая, он просил тебя расписаться в загсе. Почему ты отказалась? Неужели, и вправду, ждала Костю? Подождем, сказала ты, подождем, Коленька, тебе скоро демобилизовываться — тогда распишемся. Пулей демобилизованный, он не оставил даже фамилии в метрическом свидетельстве дочери, у тебя даже фотографии его не сохранилось. Все равно, я его помню, он похож на Варю: те же кудрявые темные волосы, вздернутый нос, полные губы, широкие брови. Он плохо выговаривал «л», «хвеб» говорил он вместо «хлеб». Варя тоже не выговаривает «л», и ты не учила ее говорить правильно, так тебе милее. «Хвеб», говорит Варя, и ты смеешься, а она обижается. Даже голоса похожи, те же милые вскрики и звонкий смех, звенящий металл, если что не по нраву — копия отца.

Нет у нее отца, откуда взяться отцу, если мать, одинокая женщина, так и не выбралась замуж — в метрике черный прочерк. Двадцать миллионов одиноких женщин — а сколько детей без отцов? Наши несбывшиеся мужья унесли в могилы военных лет свою любовь к нам и свои несовершившиеся росписи в загсовских свидетельствах, нам остались вот эти — временно холостые. И нельзя им грозить карою алиментов, укоризной общественного осуждения! Двадцать миллионов женщин нельзя преждевременно списать в тираж! Столько десятилетий, столько веков так презрительно, так осуждающе звучали слова «одинокая женщина», чуть ли не иносказание для блудниц и обманутых дур, а сейчас столько сочувствия в этих словах, они вызывают такое желание помочь, облегчить твою участь, иные одинокие матери требуют чуть ли не уважения к своему одиночеству — почти как к почетному званию... Нет, я понимаю, иного выхода нет, будь я всем народом, я действовала бы только так. Но я не весь народ, я только маленький человек, у меня болит мое маленькое человеческое сердце. Скоро, скоро природа сделает свое дело, тогда и падут загсовские запреты — Варе они уже не грозят, ее поколению мужей хватит.

Запреты, говоришь? Кому запреты, а кому привилегия. Вот он лежит рядом с тобой, красивый, молодой, упоенный своим маленьким мужским успехом, ничего в тебе не понимающий — кто ты, в сущности, для него? Ты для него — часть естественной его добычи. Он владеет ненаписанной, но всем подразумеваемой лицензией — эти охотники за одинокими женщинами, так и называют свое занятие, рабочий любовный термин — добыть... Обычная, обычная для сегодняшних условий добыча, не легкая, конечно, даже означенную в лицензии добычу нужно еще выследить и одолеть в борьбе — очаровать улыбками, задурить словами, прийти в трудную для тебя минуту на помощь...

Нет, ты не смеешь так думать! Он кинулся спасать тебя, чтобы спасти, а не заполучить в постель. И он рисковал собственной жизнью! Он платил огромную цену за твое доброе расположение, будь честна — ты не стоишь этой цены! Ах, я не знаю, чего стою и чего не стою! И почему я действую так, а не иначе, я тоже не знаю. Ты возвратилась после войны в Ленинград, в Ленинграде ты жить не смогла, здесь погибли от голода твои родители, все напоминало об утратах. Надо было ехать на Киевщину, там родители Николая, они любят Варю, даже не освященную официальными бумагами — просто Варю, Вареньку, Варьку, дорогую внучку, так похожую на их сына... И ты уже собиралась перебраться к ним, но вдруг помчалась сюда, на пепелище крепости, под фортами которой погиб Костя, в этот медленно нарождающийся Светломорск. И здесь ты разыскала фамилию Кости, одну из тысячи двухсот фамилий, выгравированных на гранитных плитах братской могилы, стояла перед ней, стоишь перед ней, не можешь оторвать от нее заплаканных глаз. Живого ты отвергала его, к мертвому прибегаешь каждый свободный час... Его нет, твоего Кости, никогда не бывшего твоим — он вечно с тобой, вечно в тебе!

Она встала, накинула на себя халат, подошла к окну. Березка так отчаянно билась кудрявой головой в стекло, словно за ней гнались и она умоляла впустить ее. Отчаяние грызло Анну Игнатьевну.

Еще никогда, в самые трудные часы своей жизни, ей не было так безысходно худо. И отчаяние происходило от того, что она понимала, почему худо и почему нельзя ничего сделать, чтобы стало хорошо.

Она присела на подоконник, продолжала терзать себя трудными мыслями, продолжала молчаливо спорить с собой. Ах, к чему негодовать на парня, которому удалась легкая связь! Все мужчины любят хвастаться победами. Будь честна с собой — в сотню, в тысячу раз все было бы лучше, если бы оно было таким, как ему вообразилось! Так просто его понимание — мне удовольствие, тебе удовольствие, а придет час — без обиды расстанемся. Нет, не так все повернулось! И не нужно вспоминать о Косте, не любила ты доброго, великодушного, умного Костю, ты только память свою о нем любишь. Николая лишь начинала любить, до настоящей любви не дошло, она была бы, правда, настоящая любовь, но Николай погиб — любовь не созрела, ты не умела быстро влюбляться. Ты влюбляешься рассудком, не одним сердцем, уж такова твоя натура, так ты раньше думала о себе. А в этого сорванца, смелого и грубого, нежного и наивного, влюбилась! Влюбилась сразу, беззаветно и безответно, влюбилась безрассудно. Только так и назвать твое чувство — любовь без ума!

Нет, сказала она себе, нет, я не ханжа. И если бы было, как вообразил себе Михаил, мне стало бы легче — одинокая женщина, мечтающая хотя бы о временном друге, красивый парень — на роль утешителя! Сколько я знаю таких пар — еще ни одну женщину не осуждала! Я понимаю их всех, каждой сочувствую. Не мне бросать в них камень! Если и не на деле, не под одеялом, то в ночных своих мечтах я не раз была такой женщиной — хотела ею быть, во всяком случае! Вспомни того инженера с судоремонтного, он так и брякнул, приглашая в кино: «Как же будем играть, Анна Игнатьевна, в любовь или только в удовольствие?»— а ты весело возразила: «Играть — ни в то, ни в другое. А любить — как получится!» Любви не получилось, он ухаживал за тобой с месяц и отстал. И ты ведь втайне досадовала, что не нашлось в тебе силы хотя бы поиграть в любовь!

Нет, как все странно произошло! Они подошли оба, он и Юрочка, ты вздрогнула, на секунду показалось, что Костя идет навстречу. Показалось и прошло — и больше не кажется. Но Михаила, твоего теперь Мишу, запомнила, ты уходила от памятника, ни разу не обернулась, но видела его, он был с тобой — весь тот день! Почему ты думала о нем? Почему видела его? Ты прикрикнула на себя: «Перестань, это же еще мальчишка!» И вспомни, как ты узнала его, когда вы расчищали завалы. Он с другом показался в конце улицы, лиц не было видно, но ты его сразу узнала. И у тебя задрожали коленки, ноги стали как ватные, ты сказала подружке: «Ох, устала!» — и присела на горку кирпича. Михаил приближался медленно, ты приказывала себе успокоиться, успокоилась, даже шутила с ним. Ничего твоя наигранная веселость не изменила, свалилось на тебя это горе — любовь к парню моложе тебя на добрый десяток. Ты только одного не знала — как сильна нелепая твоя любовь, а если бы знала, то, может быть, и не дошло до сегодняшней ночи! За себя побоялась бы!

Будь честна, говорю тебе — будь до конца честна! Ты шла на вечер и думала — может быть, встречу Михаила, погляжу издали, напоминать о знакомстве не стану. Так ты обманывала себя. Сама захотела броситься в пламя! И когда пришел этот час, которого страшилась и желала, ты ведь была счастлива, может, впервые в жизни счастлива, нет, не лги, без «может» — впервые в жизни счастлива! А потом убоялась громадности счастья, стала прикидывать, чего больше, хорошего или плохого, стало страшно, что парень, так легко овладевший тобой, дороже всего я всех. Ох, как же правильно назвал это чувство Костя — в тебе и с тобой!

Нет, нет, и это неправильно — не в постели, не в его объятьях, еще до того ты поняла, кем он стал для тебя. Там, на улице, когда у хулигана сверкнул в руке нож и ты схватила ту руку, разве не заметалась в тебе, как живая, мысль: «Лучше пусть ударит меня, только не его!» И разве у тебя не упало сердце, когда ты в комнате увидела на Михаиле кровь? С какой радостью ты отдала бы всю свою кровь, только бы вызволить его из беды. Он в беду не попал, ему не нужна твоя кровь. Ему нужно немного удовольствия — это все, чего он добивается. А потом ты ему приешься, удовольствие потеряет остроту — он помашет ручкой на прощанье, еще поблагодарит за приятные часы. В тебе и с тобой! Он уже не будет с тобой, он уйдет. А то, что в тебе, разве вырвать из себя? Как жить тогда?

— Нет, нет! — сказала она вслух. — Говорю тебе — нет! Зайчик, застывший на потолке, стерся, ночь переходила в рассвет. Черное окно посинело, потом стало бледнеть, балконная березка уже не билась в окно мятущейся головой. Анна Игнатьевна подошла к кровати, залюбовалась Мишей. Он лежал на спине, ровно дышал, он был красив — широкие плечи занимали две трети кровати. Она прильнула к нему и тихо целовала его грудь и руки.

20

Миша, проснувшись, увидел, как Анна Игнатьевна, одетая, сидит у стола. Он подошел к ней, поцеловал В шею. Она отстранилась.

— Просьба, Михаил. Не будем повторять того, что было. Он смотрел на нее во все глаза.

— Что-нибудь случилось?

— Да, случилось. Эта ночь была ошибкой. Больше таких ночей не будет.

Он покраснел, шумно задышал.

— Я обидел тебя?

— Нет. Ты меня вчера выручил... Но не хочу такой ценой оплачивать свое спасение.

— Заладила одно — спасение! — сказал он с досадой. — Никакая это не цена, а просто мое сердечное отношение.

— Оно меня не устраивает.

Он сел рядом. Такой чужой она не была, даже когда прогоняла его на улице.

— Не понравилось, значит? — снова заговорил он.

— Не понравилось.

— А что не понравилось? Что замуж не беру?

— Я не дура, чтобы искать молодого мужа. Но и в любовники ты мне не годишься.

— Не гожусь? — Он зло усмехнулся. — А почему?

Он впился в нее негодующими глазами. Она отодвинулась.

— Молчишь? Тогда сам скажу — почему. Причина за стеной. И зовут ту причину — Тимофей. Неудобство, конечно, — сразу двоих иметь.

Она побледнела, сказала глухо:

— Зачем ты меня оскорбляешь? Разве я сделала тебе что-нибудь плохое?

— Так-таки не сделала? А что приласкала — и прогоняешь? Что целовала да еще так горячо — и чуть не плюешься. Над Тимофеем измываешься, теперь за меня принялась?

Она вскочила, гневно показала на дверь.

— Уходи. Я не хочу тебя слушать. Он не двинулся с места.

— Еще бы ты хотела! Сразу, сразу себя выдала: когда заговорил о Тимофее — вся затряслась! Шмыгов когда-то высказался — силой заставлю их пожениться, хватит его мучить!

Она все же нашла в себе силы сказать спокойно:

— О ком ты хлопочешь — себе или о Тимофее?

— О тебе! Раскрываю, какая ты есть.

Она медленно подняла на него глаза. Он запнулся, такая в них была мука. Он еще и догадываться не мог, что месяцы предстоящей разлуки будет помнить ее только такой — покорно принимающей оскорбления, побледневшей от внутренней боли. Его пронзило сострадание к ней. И если бы Анна Игнатьевна протянула руку, просто сказала бы что-то не очень злое, он целовал бы ее колени, просил прощения. Но она молчала, молчания он не снес. Он вскочил.

— Так я ухожу, да?

— Да, уходи, — сказала она бесстрастно.

Он быстро спустился по лестнице, на улице перевел дух, постарался собрать растрепанные мысли. Дыхание наладилось, мысли не собирались. Ну и женщина! Радуйся, что распрощался с бабой-ягой! Вместо радости была обида, почти горе. Он вспомнил, как она ночью прижималась, какие слова говорила, хорошая, вся хорошая — он так и засыпал с мыслью: до чего хорошо! Он опять выругался. Ее побледневшее лицо, скорбные глаза терзали, он не мог уходить после такой ссоры. Он должен вернуться, он хочет, черт подери, понять, в чем виноват!

Он повернулся назад. Из-за угла показался Тимофей. Тимофей радостно закричал:

— Ко мне, Миша? Идем, чего стоишь! — Он потянул Мишу.

— К тебе. Собственно... не к тебе, а от тебя... от вас. Ночевал там. — Миша показал наверх.

— Вот и молодец, что нашел ключ. А я, Миша, загулял. Всю ночь с Сережей в его каюте... Отход задержался до утра, он меня не отпустил. Песни пели, истории говорили, Сережа столько всего помнит! Какой это друг, Миша! Ближе брата, вот что за человек! Четыре месяца его не увижу и вроде осиротел. А потом поедем вместе в Архангельск, он приглашает в гости.

Миша со злостью сказал:

— Ты со своим Шмыговым весело коротал ночку, а на Анну Игнатьевну напали двое хулиганов. А мог бы проводить ее домой — и не было бы неприятностей.

У Тимофея жалко перекосилось лицо. Он хотел что-то сказать и не сумел — глотнул невысказанное слово, как застрявший в горле ком. И тотчас же, так и не выговорив ничего, заспешил наверх. Миша преградил дорогу.

— Куда?

— Да, видишь... Помочь надо, — бессвязно бормотал Тимофей.

Он пытался юркнуть мимо Миши, тот опять не пустил. Бешенство новой волной захлестнуло его. Тимофей выдал себя и побледневшими щеками, и дрожащим голосом, и дрожащими руками. Все, что возмущало Мишу, вдруг воплотилось в Тимофее. Он ненавидел этого смешного, до жалости некрасивого человечка, казавшегося недавно почти блаженненьким, — счастливого соперника, как теперь определилось. Миша жаждал драки. Но Тимофей только с испугом смотрел на Мишу. Миша насмешливо объяснил:

— Помог я, раз уж тебя не оказалось. Хулиганов отшил, Анну успокоил. Все в порядке.

Тимофей слушал с таким напряжением, что некрасивое его лицо стало вовсе уродливым. «За одну бы рожу бить!» — с отвращением подумал Миша.

— Здорова, стало быть? — с трудом выговорил Тимофей.

— Повреждений нет. Чтобы не волновалась, провел ночку в ее комнате. Сторожил — последствий от страха не было...

Миша наклонился к Тимофею, издевательски заглянул в глаза.

Он уже готовился крикнуть: «Да, все было, все, а потом поссорились, а потом помиримся, а ты проваливай, кончилась твоя любовь, я люблю — для третьего лишнего эта штука опасная!»

Тимофей схватил Мишину рук, с благодарностью воскликнул:.

— Ох, Мишка, молодец ты! Варьки же дома нет, я запропал, она от переживаний бы заболела, кабы не ты! Ну, спасибо, спасибо!

— Постой! — Тимофей или притворился дурачком, или и вправду не понимал. — Ты погоди с благодарностью! Ты спроси, как я вел себя у нее? Разгадай-ка загадку?

Тимофей снова испугался.

— Миша, какие загадки? Чтоб ты чего плохого — не поверю! — А если не для нее плохо, а для тебя? Ты на ней жениться мечтаешь, а я, скажем... обдурил Анну. Тогда что?

Тимофей недоверчиво покачал головой.

— Не такой ты. Не будешь ее обдуривать.

— А если все-таки? — настаивал Миша. — Ты сообрази — ночь, испуганная женщина, я — слова всякие, обещания... И поддалась! Что тогда? Как спор решим — добром или по-другому?

— Врешь ты, Миша. Язвишь, что не позаботился один вечерок... И ты не такой, и Анна не такая. Не могло быть...

— Нет, а если было?

— Тогда скажу: спасибо, Миша! За тебя рад, за нее рад... Ответ был таким неожиданным, что Миша растерялся.

— Как понимать — рад?

—: Так и понимай — рад. Анна приблизит к себе только хорошего человека. Значит, ты хороший, и ей с тобой хорошо. Вот за это — спасибо, Миша!

Он говорил, опустив лицо, а потом поднял глаза. И Миша увидел жестокость и ненужность пытки, устроенной Тимофею.

— Прав ты, ничего не было, — сказал он смущенно. — Подразнить хотелось. Ладно, ты не сердись.

— Я знал, что шутишь, — с облегчением воскликнул Тимофей. — Обдурить! И чтобы ты? Никогда!

Миша прервал его:

— Условимся. Ты меня не видел, о происшествии не знаешь. Ей неудобно — как-никак в ее комнате ночевал, всякое можно подумать...

Миша удалился, не оглядываясь.

По дороге он вспомнил, что пропустил выход в залив, Куржак удивится и рассердится, старый рыбак ни опозданий, ни прогулов не признает. И вдруг стала нестерпимой мысль, что завтра он опять утром пойдет на прибрежный лов и опять вечером возвратится, и будет ходить по улицам, где ходит Анна Игнатьевна, возможно, и встретятся, надо будет вежливо поклониться, степенно пройти мимо... Негодование, почти отчаяние так бурно захлестнуло Мишу, что он вслух выругался, — на него с недоумением обернулся случайный прохожий, вероятно, отнес ругань к себе.

Миша резко повернул к «Океанрыбе», торопливо поднялся на второй этаж к брату.

Алексей удивленно приподнял брови, когда Миша вошел.

— Ты почему не в заливе? Погода сегодня хорошая. Миша без приглашения уселся в кресло.

— На улице хорошая, а во мне буря.

— Давай поговорим вечерком, — предложил брат. — Домашние дела лучше решать дома.

Миша отрицательно покачал головой.

— Пришел как проситель, разговор не домашний. Походатайствуй, чтобы меня срочно выпустили в океан. Надо месяца на три, на четыре покинуть сушу.

— Да что произошло, объясни?

Миша коротко рассказал о событиях этой ночи. Алексей вскочил и взволнованно заходил по кабинету.

— Черт знает что! Нападение на женщину чуть не в центре города. Ты нож сдал в милицию?

— Выбросил по дороге в канал. У меня охоты объясняться с милицией что-то нет.

— Еще бы была охота, после того как сам ты повел себя с Анной Игнатьевной! С такой женщиной завязывать пошлую интрижку!

— Интрижки не получилось, уже доложил тебе.

— Хорошо, хоть сам понимаешь, что держался пошляком.

Миша зло глянул на брата, но промолчал. Негодование Алексея превращалось в удивление. Миша женщинами до сих пор интересовался мало, легких связей не заводил. И в том, как он рассказывал о ночи у Анны Игнатьевны, Алексей улавливал боль, а не простое разочарование от неудавшейся интрижки.

— Разговариваешь, словно оскорбили в тебе серьезное чувство. Но ведь не влюблен же ты?

— Нет, не влюблен, — ответил после молчания Миша. — Просто... Как бы тебе сказать? Узнал, как можно любить. И завидую, что до хорошей любви не дорос.

Алексей с минуту размышлял.

— )В отделе кадров мне недавно говорили, что имеется разрешение тебе на выход в море. Так что исполнить твою просьбу уже не составит труда. Забирай документы из колхоза и приноси к нам. Теперь о судне. В океан в ближайшее время выходит «Бирюза», на ней сейчас комплектуется экипаж. Могу попросить, чтобы Карнович взял тебя.

— Отлично! — сказал обрадованный Миша. — На «Бирюзе» я многих знаю. И все говорят — судно хорошее!

### Часть вторая

### ДОРОГИ В ОКЕАНЕ

1

Шарутин пришел в восторг, услышав, что Миша получил направление на «Бирюзу». Сам Шарутин тоже шел на «Бирюзе» вторым штурманом и порадовал Мишу, что команда на судне — лучше не пожелать! Миша знал только двоих — боцмана Степана Беленького и Кузьму Куржака, они, как и он, были новенькими в экипаже. О старожилах команды Шарутин дал Мише исчерпывающие сведения.

— Во-первых, капитан — Леонтий Карнович. Ты его видел, конечно.

— Видел и кое-что слышал о нем, — подтвердил Миша. — Так что, немного знаю.

— Видеть Леонтия и кое-что слышать о нем, значит, ничего о нем не знать, кроме внешности. Шуточки, хаханьки, усики пижона, костюмчик всегда, как в театр, первый при встрече руку протянет, улыбочка от уха до уха, хвастун — жуть, а попробуй у него на три минуты на вахту опоздать! Романтик порядка, энтузиаст дисциплины, фанатик точности — вот что это за субъект! Учти, Миша, чтобы непоправимо не ошибиться. Он мне друг, другого такого приятеля нет, но чтобы послабления или снисходительности по этому случаю — и не надеюсь! И ты на легкую житуху не рассчитывай.

Миша только пожал плечами. Он шел в океан вовсе не для того, чтобы веселиться. Шарутин продолжал. Второй человек на «Бирюзе», естественно, стармех Антон Петрович Потемкин, «дед» он из молодых, еще к тридцати не подобрался, немного заикается, словцо ему поперек сказать, мигом вспыхнет, зато машину знает — умопомраченье, а руки куда проворней языка, в аврал так зюзьгой и шкерочным ножом орудует, что и бывалому матросу не угнаться. Старпом Илья Матвеевич Краснов — из дубленых, вареных и пареных, в общем, настоящий морской волк, сам молчаливей сыча, но душа добрая, Шарутин как-то проплавал с ним рейс, ссор не было, только на стихи глух, обеими руками отмахивается, попробуй ему прочитать. И тралмастер невредный, зверски работящий, жаден, правда, любит до смерти хороший заработок, встретишься с ним на берегу, рубля на пиво не одолжит, зато на борту — открытая душа, и на судне без дела часа не просидит, и любому на помощь придет, не ждет, чтобы попросили. Остальных я сам не знаю, будем вместе знакомиться.

Миша после предупреждения, что опаздывать нельзя, на рассвете забросил свой чемоданчик в носовой кубрик. Кузьма, еще с вечера поселившийся на «Бирюзе», одетый, посапывал на койке рядом с койкой Миши. Миша поднялся наверх. На полубаке, прислонившись к бухте тросов, дремал Степан. На палубе было пусто. Волна из залива приваливала траулер к причалу. По небу неслись быстрые, яркие тучки. Вчера накатил изрядный шторм, сегодня погода поутихомирилась — ветер «тряс лохмами» балла на четыре.

— Обстановочка на посуде не по отходу, — заметил Миша, присаживаясь рядом со Степаном. — Не вижу жизни.

Степан, сбросив дрему, сладко зевнул.

— Возможно, и не уйдем, — пробормотал он. — Нам-то с тобой что? Не дадут «добро» на выход, пойдем спать.

Из рубки спустился на палубу Шарутин и присел рядом с Мишей и Степаном. Миша и ему сказал, что удивлен спокойствию на судне. Шарутин ухмыльнулся.

— Цирк еще будет. Вот заявятся береговики из портнадзора, и дойдет жуткая потеха.

Степан недоверчиво покачал головой. Миша слышал, что инспекторы портнадзора изводят придирками иных капитанов и старпомов, а те заискивают перед инспекторами и задабривают их угощением в каюте. Но неужели и Карнович так ведет себя с береговыми служаками?

Шарутин радостно захохотал.

— Ты не понял. Не портнадзор будет придираться к Леонтию, а Леонтий к портнадзору. У него ведь этот рейс особенный — начинает первое самостоятельное плавание. Выработал ценз капитана дальнего плавания и постарается теперь показать себя. Мне он сказал вчера: «Придется инспектору побегать по траулеру!» Хвастун, каких свет не видел! Своими руками все мои карты перебрал, еще пригрозил: «Забудешь что-нибудь из штурманского материала, взгрею, как Сидорову козу, ты мне друг, так что стесняться не буду».

На пустынной набережной показались Карнович и инспектор портнадзора. Шарутин вскочил, Степан, в последний раз зевнув, тоже поднялся. Шарутин в полном восторге быстро сказал Мише:

— Елисеев. Полупенсионер. Увалень-классик. Его Леонтий загоняет на десятой минуте. Через часок выберем швартовы. Ты смотри на палубе не разлегайся, Леонтий этого не любит.

Навстречу капитану вышли старпом со стармехом, Шарутин со Степаном присоединились к ним. Чтобы не мозолить глаза начальству, Миша спустился в кубрик и прилег на койку. Корпус траулера глухо сотрясали толчки о причал, что-то поскрипывало в переборках, на подволоке покачивалась мутная лампочка. Шторм утих, но погода, так казалось Мише, была по-прежнему слишком свежая для выхода в море. Кузьма проснулся и присел на койке.

— Значит, ты мой сосед, Миша? Это хорошо. Простился со своими или придут провожать?

— Вчера вечером простились. Я ушел, вы еще спали. А как у тебя? Помирился с Алевтиной?

Кузьма криво усмехнулся.

— Что называть — ссора и мир? Она ждет, чтобы я прощения просил. А я не вижу причины — не изменял, вообще к другим бабам не лез. Вечером пожелала мне счастливого рейса и ушла на ночное дежурство, а я с вещами сюда.

— Надо было все-таки пересилить себя и помириться. Кузьма промолчал. Миша спросил, что ему надо теперь делать в ожидании отхода судна?

— Повторяй все, что буду делать я, — не ошибешься, — сказал Кузьма, — мы с тобой в палубной команде, обязанность у нас — общая.

По судну разнесся сигнал тревоги, Миша проворно соскочил с койки. Кузьма обогнал его и стремительно вынесся по трапу. Миша только высовывал голову из капа на палубу, а Кузьма уже лез на ботдек, где у шлюпок вместе с инспектором стояли Карнович, стармех Потемкин, старпом Краснов, Шарутин и Степан.

— Ладно, ладно, Леонтий Леонидович! — говорил Елисеев капитану. — И не сомневался, что у вас порядок и максимальная готовность. Но вы же будете в заливе стоять, добро на выход в море все равно не дадут. Другие суда ждут, пока насильно не вытолкнут.

— В заливе не у причала, — весело возражал Карнович. — А с погодой надо ловить миг удачи, а то набедуешься.

Он с улыбкой оглядывался на своих, и каждому было видно, что капитану страх не терпится проскочить сорокакилометровый канал, пока он свободен от других судов, а если уж ждать погоды, то лучше ждать ее у выхода в море, а не в порту, где, неровен час, и кто из команды без разрешения соскользнет на берег, чтобы лишний разок заглянуть в забегаловку или прогуляться со знакомой девушкой — ищи-свищи его потом; и где к тому же близко начальство, а у начальства если и не семь пятниц на неделе, то уж семь заседаний непременно — и все обязательные, а сидючи на заседании можно и окошко отличной погоды проморгать. Елисеев же намекал на обычай руководителей промысла поскорей выталкивать суда в море, даже не успев подготовить их по всем пунктам строгой инструкции, и капитаны в этих случаях «тянут резину», стараясь дополнительно урвать со складов побольше, а портнадзору приходится глядеть в оба, чтобы в океане небрежность подготовки не вышла боком. Но было видно также, что инспектор, сам из бывалых моряков, понимает томление молодого капитана, впервые идущего в самостоятельный океанский рейс, и готов уступить.

Карнович показал рукой вниз, вся группа направилась к нему в каюту.

Над бортами торговых судов, стоявших дальше к востоку, показалось солнце. Темные спинки волн, набегавших с залива, засверкали жирным блеском. На пристани заворчали грузовики, задвигались краны: начинался рабочий день в рыбном порту. Миша опять спустился в кубрик. Ночь прошла без сна, тянуло полежать, если нельзя поспать. Из-за переборки доносился стук костяшек, в соседнем кубрике забивали козла, ликующий голос Кузьмы возвещал, что молодому матросу в домино везет. Миша задремал, едва опустил голову на подушку.

Тот же Кузьма, забежав к себе, рывком поднял Мишу. Траулер выбрал швартовы, отошел от пристани.

На обоих крыльях капитанского мостика стояло почти все судовое начальство. Карнович что-то оживленно говорил, показывая на отдаляющийся город. Кузьма, облокотившись о фальшборт, уныло сплюнул в воду.

— Не пришла, а ведь могла отпроситься у своего главврача. Нет, не хочет она мириться! — Он помолчал и с безнадежностью добавил: — Четыре месяца теперь вода да вода. То синяя, то зеленая, а в вечернее солнце даже золотая.

— Золотая вода — красиво! — сказал Миша.

— Красиво, — согласился Кузьма. — Чего-чего, а красоты в океане хватает. Одна беда — слишком много этой красоты. Демьянова уха, помнишь, учили в школе? Три тарелки съел — и уже в горло не лезет! А нам с тобой сколько тарелок этого вкусного варева хлебать?

Миша не стал спорить. Кузьма, хоть и не признавался, видимо, надеялся, что примирение с женой состоится хоть в час отхода.

«Бирюза» прошла линию приткнувшихся к пирсам судов, выплыла на середину канала. Пристань вскоре пропала за поворотом. Миша, взволнованный тем, что часа через два впервые в жизни выберется в открытое море, не мог оторвать взгляда от низких, быстро проносящихся берегов. Последние тучки исчезли с неба, шел светлый день. Слева открылись три ставника его бывшей бригады, к первому подходил катер с дорой на буксире — старый Куржак, как всегда, вывел своих рыбаков на рыбалку до восхода солнца. Миша знал, что на таком расстоянии никого не увидать, но помахал рукой и товарищам, с которыми так хорошо работалось, и катеру, и ставникам, и даже чайкам, белыми тучками кружившимся над неводами.

— Батя мой! — со вздохом сказал Кузьма. — Тоже не пришел проводить, а ведь мог бы. Сердится на меня старик. А за что, скажи на милость? Что не такой, как он? А почему мне быть, как он? Чего сам он успел в жизни? К ним подошел Степан.

— А молодец наш Леонтий: первыми выскочили в морской канал. Через часок тут попрут пароходы и придется выжидать очереди.

— Погода идет на лучше, Степан? — спросил Кузьма.

— На хорошо пошло. Начали выпускать суда в Балтику.

2

Хорошей погоды хватило лишь на полдня. С запада нагнало туч, тучи спустились на воду — туман окутал Балтику. Вдоль польских берегов «Бирюза» шла на средней скорости, но Карнович не уходил надолго от локатора, а Шарутин в своем штурманском закуточке не поднимал головы от карты, на которой прокладывал путь. Степан посмеивался, туман его не беспокоил. Пожилой тралмастер с сомнением покачивал головой, он больше доверял глазам, чем приборам: катастрофы не будет, если, по случаю трудных погодных условий, они и опоздали бы на сутки на промысел. Сочувствия Колун — фамилия тралмастера была Колуновский — не встретил. Кузьма даже рассердился — где те трудные погоды? Тишина, гладь, а если туман, так что особенного?

Сутки траулер шел в тумане, а потом вырвался из него, как из стены: позади отдалялась глухая, от неба до края моря, мгла, впереди глубокой синью сверкало залитое солнцем море и зеленели датские острова. Траулер приближался к Зунду. Пустынное море превратилось в оживленное водное шоссе: сновали рыбацкие суденышки, важно шествовали танкеры, торопились желтые и бурые сухогрузы и оранжевые фруктовозы, проносились белоснежные лайнеры и паромы, угрюмо крались серо-стальные военные сторожевики. А на берегу возникали заводы и замки, раскидывались города, серебряно светили нефтяные цистерны, на огромном международном аэродроме садились и поднимались самолеты.

На переходе всем службам судна хватает работы, но когда проходят по узкостям, отделяющим Скандинавию от Дании, наружу высыпают все свободные от вахт и срочных работ. Один стармех, полюбовавшись издали в бинокль приближающимся Копенгагеном, со вздохом спустился в машинное отделение. Степан занял место на баке у якоря, приготовленного к аварийной отдаче. Тралмастер, сидя на лючинах, перекраивал по-своему сети, он усердно занимался этим с утра до ночи, не передоверяя никому и не требуя подмоги. Кузьма готовил буи к работе, Миша маркировал вожаковый трос.

На левое крыло мостика вышли Карнович и Шарутин.

— Пейзаж! — сказал Карлович штурману. — Скоро пойдут гамлетовские места. О них кое-что написал некий Шекспир, так что не будоражьте вдохновения на повторы. А о тех вон фортах можешь высказаться, это тема открытая.

Показался первый из фортов, охраняющих Копенгаген, — крохотная скала, вырвавшаяся со дна моря и дополнительно закованная в гранит человеком: откосы бастионов, орудийные амбразуры, сторожевая башня. На левом берегу раскидывалась заводами и домами, устремлялась вверх шпилями соборов и флюгерами столица Дании. Зрелище было до того живописное, что все на палубе залюбовались картиной города, как бы выбежавшего на берег и оттеснявшего своими зданиями само море.

Вскоре Копенгаген стал удаляться. Траулер прошел мимо верфей «Бурмистер ог Вайн», затем показался замок Кронборг — красный кирпич, завершенный позеленевшими медными крышами. Огромные рекламы на домах прославляли пиво заводов Карлсберга. Шарутин спустился вниз, Карпович занял свое место в рубке, у крайнего окна справа — оно было не на задрайках, как все иллюминаторы, а на кожаной петле. Карнович сбросил петлю, опустил стекло — отсюда было видно палубу не хуже, чем с мостика.

— Пошли покимарим, — сказал Кузьма Мише, зевая. — Степан намекал, что Леонтий что-то задумывает. Аврал, это уж точно.

Миша не пошел вниз, ему скоро было сменять рулевого. Траулер всю вторую половину дня шел проливом Каттегат. Миша дежурил в рубке, слышал разговоры Карновича и старпома. Капитан доказывал, что рейсовый график не молитва, придерживаться его буква в букву не обязательно. И он не лайнер, у которого час опоздания — событие. От них ждут рыбы, а не рейсовой точности. Он намерен оборачиваться не столько к хронометру, сколько к эхолоту. Старпом с сомнением покачивал головой. Капитан забывает, что к его первому самостоятельному рейсу будут присматриваться с лупой. А если потеряем время, а рыбы не найдем?

Карнович увел старпома к себе в каюту. Радист поймал хорошую передачу, женский голос пел на незнакомом языке, но так душевно и нежно, и мелодия была такая дружелюбная, что Миша заслушался. Он следил за курсом и молчаливо, одним внутренним голосом вторил песне.

В эту ночь «Бирюза» вышла из Каттегата в Скагеррак. Миша повалялся на койке и выбрался наружу. Ночь была темная и теплая, многозвездное небо сверкающей чашей опрокинулось над морем. Корпус судна пронизывала дрожь от работающей машины, из тьмы вылетали безмолвные белые полоски невысоких валов и, внезапно обретая голос, с плеском расшибались о левую скулу траулера, шипели по борту. Ветер с юго-запада посвежел. Из затемненной будки доносился бас Шарутина, штурман клял эхолот, писавший одну пустую воду. Миша усмехнулся. Поэта-рыбака слишком уж било нетерпение: в проливе, на большой морской дороге, все равно нельзя было широко раскидывать сети.

Миша лежал на горке дели, наваленной Колуном у трюма, отсюда были хорошо видны и небо, и море, и берега. Небо вращалось, по мере того как траулер менял курс, вчера всю ночь Полярная звезда висела на полубаке, чуть ниже огня на мачте, сейчас она вывернулась на правый борт. В море то там, то здесь проплывали ходовые огни судов, темное море чем-то напоминало звездное небо, судовые огни были только реже и спокойней звездных, они лишь передвигались, а звезды лихорадочно мерцали, меняя окраску и яркость. Берега, озаренные сиянием прожекторов и ламп, медленно отдалялись.

Прошлое отходило, как эти берега, оно уступало место простору. Миша не знал, что ждет его в океане, на первом большом промысле в его жизни, все, конечно, там может быть, но на этом небольшом суденышке каждая мелочь обрела масштабы, здесь все крупно — и люди, и вещи, и любой поступок, и любое слово. Давно уже Миша не чувствовал себя таким умиротворенным, таким довольным собой, таким полным особой, не сухопутной энергией, внутренне собранным.

Миша забросил руки за голову, закрыл глаза. Небо, лихорадочно смещавшее звезды и менявшее их блеск, тянуло к себе и мешало поразмыслить о неудачах жизни. Да, тут уж ничего не поделаешь, на суше ему собранным не быть, там он не уследит за собой, все мелко, все не имеет большого значения. Здесь же все по-другому. Один неверный шаг — и в пучине, одно неосторожное слово — и нажил врага, один раз поленился — и всех подвел!

3

Час проходил за часом, эхолот «писал» пустую воду. После оживленной Балтики Северное море, серое даже в полдень, с широкой волной удивляло безлюдьем — правда, траулер шел выше больших торговых и пассажирских трасс. За весь первый день лишь раз что-то промелькнуло на ленте самописца, но если всплески на диаграмме и изображали рыбные косяки, то косяки эти рассыпались еще до того, как их оконтурили. И лишь на вторые сутки, в дневную вахту Шарутина, траулер набрел на мощную стаю сельди: диаграммную ленту усеяли пики «показаний».

Карнович прошел над косякам с востока на запад около семи миль, вернулся обратно, повернул на север, снова ушел к югу. Контуры стаи вызвали восторг даже у старпома, под килем не то просто резвилась, не то сгущалась для ухода в норвежские воды масса рыбы, По карте глубина достигала 300 метров, основное сгущение прибор указал метрах в шестидесяти от поверхности — массивное рыбное ядро, вытянувшееся с юго-востока на северо-запад. Карнович застопорил машину и лег в дрейф, велев команде отдыхать до вечерней зорьки, когда косяк станет подниматься. Степан не покидал палубы, Кузьма подбил соседей играть в домино, но сам после каждой партии выскакивал на палубу посмотреть, не склоняется ли солнце.

За полчаса до заката капитан вызвонил команду наверх и приказал выметывать сети на глубину в пятьдесят метров: выше стая не поднялась. Миша стал между Степаном и Кузьмой. Сети — полотна из ячеистой дели, каждая сеть длиной в тридцать метров и высотой в десять, скреплялись одна с другой на правом борту и вытравливались с левого борта. Сети соединял сизалевый вожак, к вожаку привязывались оранжевые буи. Карнович на самом малом ходу отводил судно от поддерживаемого буями все удлинявшегося «порядка».

Сеть за сетью уходила в воду. Капитан, командовавший с мостика выметкой, приказал остановиться, когда за борт отдали сто сетей, — Шарутин, помогавший на палубе собирать порядок, запротестовал. Если уж хватать Нептуна за бороду, так вырвать клок посолидней., Смех же — сто сетей, хотя бы сто двадцать! Старпом, вышедший на мостик к капитану, поддержал Шарутина. Но Карнович только покачал головой.

Судно легло в дрейф. Линия ярких буев уходила в темную северо-восточную точку горизонта — капроновая трехкилометровая стена перегородила море. Миша спросил Степана, почему капитан, с таким пылом разведывавший попутные косяки, вдруг заосторожничал? Степан считал, что Карнович прав. Если сельдь повалит густо, отяжелевшие сети утонут. Степан посоветовал не засиживаться за ужином.

— Ужин — пустяк, а не выспишься, не наверстаешь. Леонтий еще сам не проснется, а Колун засветло всех поднимет.

После ужина Миша задержался на палубе. Судно казалось вымершим. Ближние буи еще кое-как виднелись, все остальное пропадало в неспокойной темноте. Над головой покачивались очень живые звезды, огонь на мачте прочерчивал между ними светящуюся полосу. Третьи сутки стояла хорошая погода, без туч, ветер балла на три.

От шкафута двигалась темная фигура. Миша узнал капитана, лишь когда тот приблизился.

— Простите, барон, что потревожил, — вычурно оказал Карнович. — Увидел вас в иллюминатор, захотелось узнать, чем вызвана ночная прогулка? Или вы не слышали, что на завтра назначен бал, надо бы подготовиться!

Миша все не мог привыкнуть к странной речи капитана. Сдерживая обиду, Миша спросил, что за бал и как к нему готовиться. Карнович расхохотался. Лица его почти не было видно, но в голосе было что-то мальчишеское, голос напоминал, что капитан лишь на год старше Миши.

— Бал — выборка сетей. А готовиться так — поспать. Вздремнуть, заснуть, отоспаться, покимарить, похрапеть, подрыхнуть, попочивать, забыться в грезах, забиться под одеяло, зарыться в подушку. Короче, понежиться в объятьях Морфея. Теперь ясно, Михаил Прокофьевич?

Если бы Карнович не помянул отчества, Миша ответил бы дерзостью в тон зубоскальству капитана, слишком уж тот играл под веселящегося подростка. Но в голосе Карновича вдруг прозвучала такая отстраняющая вежливость, что Миша ответил только:

— Теперь ясно, — и поспешил спуститься в кубрик.

Было еще темно, когда старпом крикнул: «Подъем!» Трал-мастер уже успел одеться и разбудить соседей. Миша с Кузьмой поплелись в салон. Кузьма не так глотал еду, как зевал. Зато Степан орудовал ложкой за двоих, он сказал с одобрением: «Неплохо сработал шеф!» — он всегда называл кока Сизова шефом, если еда удавалась. Шарутин, сдавший вахту старпому, тоже вышел на палубу. Миша с Кузьмой тянули сети, Степан шпилем выбирал вожак. Карнович из рубки наблюдал за выборкой, приказами в машинное отделение время от времени подталкивая траулер к вытягиваемому порядку.

Из темного моря медленно выползал толстый канат. Потом показалась первая сетка, в ней бились серебряные язычки. Команда прокричала «ура!» Миша изо всей силы тянул тяжелую дель. Но как он ни старался, Кузьма опережал его — на какие-то доли секунды быстрей ухватывал пальцами капроновую вязь, рывки его были мощней, он дальше выгибался туловищем вперед, круче откидывался назад: Миша стремился побороться с неподатливой, упругой от влаги тканью, а встречал слабину, основное усилие уже совершал Кузьма. Миша напрягся, липкий пот быстро выступил на лице и груди, едкими каплями стекал с бровей на глаза. Все ожесточенней хватая сеть, Миша рвал ее на себя, перебрасывал назад, теперь Кузьма не обгонял. Миша, бросив в его сторону взгляд, увидел, каким одутловатым, багрово темным от прилившей крови стало лицо напарника.

Шарутин восторженно прокричал Карновичу, когда первая сеть была выбрана:

— Уловчик — помучаемся!

Во второй сети рыбы было еще больше, третья же показалась Мише сплошь забитой. Команды: «Раз-два, взяли!» смешивались с приказами Карновича в машинное отделение, и после каждого приказа судно толчком надвигалось на сеть, а Миша чувствовал, что становилось легче. И он тянул, стараясь не отстать от Кузьмы, пока натянувшаяся сеть не переставала подаваться, и точно в этот момент раздавался новый приказ капитана, сеть обвисала за бортом и, ослабевшая, снова шла легче.

Это повторялось раз за разом, Миша не ощущал ни времени, ни перемен вокруг, он весь словно бы был заведен на то, чтобы по окрику: «...взяли!» быстро спружинить мускулы, сильным рывкам бросить сеть на себя, перешвырнуть тем, кто стоял позади, снова схватить, снова дернуть на себя. Он уже не смотрел на Кузьму, на разглядывание не хватало времени, он и без проверки знал, что движения их одновременны до таких долей секунды, что разницы ощутить невозможно.

Зато он не сумел остановиться и тянул один, когда из рубки донеслась команда Карновича:

— Отставить выборку! Встать на вожак! Все на уборку рыбы!

Миша разогнул ноющую спину. На востоке пробивалось наверх солнце, там посветлевший горизонт был резок. А на западе и на севере темное море сливалось с темным небом. На палубе рыба вываливалась из переполненного приемного ящика. На правом борту рыбмастер с двумя матросами проворно наполнял бочки селедкой, перемешивая ее с солью. Судно легло в дрейф, удерживая оставшиеся сети на вожаке.

На уборку улова вышла вся команда, кроме капитана и моториста. И кок, и камбузник, и старпом, и штурмана, и стармех, и радист, стоя плечом к плечу, орудовали зюзьгами.

Карнович вышел на левое крыло мостика и разглядывал в бинокль цепочку невыбранных буев. Они едва проступали оранжевыми пятнышками на темной воде. Если косяк продолжал ловиться, то перегрузка могла потопить весь порядок. Краснов советовал выбирать сети дальше, Шарутин тоже опасался, что не удержать погружавшийся улов. Рыбмастер запротестовал: куда еще валить сельдь, ведь перемнется же, пока затарят. Карнович еще раз оглядел буи.

— Не рви нервы! — посоветовал он возбужденному Шарутину. — Недооцениваешь мой краткий опыт старого морского волка. Солнце уже высоко, и косяк ушел ниже сетей.

Одна пустая бочка за другой вылетала из трюмов, одна полная бочка за другой заполняла свободные места на палубе. Ни один буй не погружался. Капитан скомандовал перерыв на обед.

В салоне на столе дымились тарелки с пшенной кашей, перемешанной с мясом. Камбузник наливал в кружки какао, кок резал сыр. Миша густо намазал маслом ломоть хлеба, воздвиг сверху трехслойную плиту сыра. Кузьма и Степан, сидевшие напротив, трудились за столом с тем же усердием, что и на палубе. Дожевывая на ходу, они втроем помчались наверх, там уже команда выстраивалась для выборки сетей. И снова раздались крики: «Раз-два, взяли!», и снова приказы Карновича в машинное отделение подбрасывали траулер вперед, и на палубу лилась рыба, и ноги погружались в нее по щиколотку, потом по икры...

Вытряска сетей закончилась под вечер. После ужина и короткого отдыха команда в полном составе вышла солить и затаривать улов. Миша с Кузьмой определились спускать наполненные бочки в трюм. Сельдь перебирали, выбрасывали мелочь и рваные тельца, смешивали с солью, ссыпали в бочки, забондаривали и откатывали к трюму. Во втором часу ночи последняя селедка была обработана, Карнович скомандовал идти на отдых. Трюм задраили лючинами, но на палубе громоздилось с сотню забондаренных, но не укрытых в трюмы бочек.

Шарутин, в полночь заступивший на вахту, сказал Карновичу:

— Майнай в каюту. Селедка наша — первый сорт, прелесть, что за селедка.

— Селедка хорошая, — согласился капитан. — Но она еще не наша.

У штурмана удивленно взметнулись брови.

— Почему не наша? Раз на палубу вывалили, значит, схватили.

— В море мало схватить, надо еще удержать. У меня промысловый принцип: что в трюме, то полностью мое, а что на палубе — мое наполовину. Вот еще поавралим одну вахту — будет, точно, все наше.

Шарутин, усталый и довольный, сладко зевнул.

— Самая спокойная вахта — моя, от полуночи, — объявил он. — Не знаю, почему ее прозвали собачьей. Все спят, работы прекращаются, поглядывай по сторонам и блаженствуй. Авралить бочки в трюм позаботится Краснов, а я в те часы буду дрыхнуть.

Миша так устал, что не смог сразу уснуть и беспокойно ворочался на койке. Рядом неподвижно лежал Кузьма и тоже не спал. Миша пожаловался:

— Все кости ноют! У твоего отца тоже не приходилось лениться, но было куда легче. А ведь я вначале боялся, что и той работы не вынесу. Знал бы, каково здесь!

— Привыкнешь! — равнодушно ответил Кузьма. — С непривычки всякое дело невмоготу. Еще других обгонять начнешь.

— Тебя обогнать будет нелегко. Во всяком случае, скоро не удастся.

— Никогда не удастся, — сухо отрезал Кузьма. — Чтоб обогнать меня — и не надейся! Без толку жилы надорвешь. Миша, уязвленный, насмешливо заметил:

— Работаешь ты быстрей меня, не опорю, но и не так, чтобы не справиться с этой разницей.

— С этой разницей оправишься, другая появится. Сколько ни будешь гнаться, на шажок, на вершок всегда буду впереди.

Кузьма говорил с такой спокойной уверенностью, что Миша смутился. Кузьме, наверно, не понравилось, что Миша замолчал. Он Приподнялся на койке и сердито поглядел на товарища.

— И не думай, пожалуйста, что я такой в работу влюбленный. Работа как работа, могла и куда лучше быть. Просто не терплю, чтобы кто меня обгонял. Так что если в соперничество ударишься, учти мой характер!

— Спать хочу, а не соперничать! — устало сказал Миша.

— Спи, я разрешаю, — ответил Кузьма, и у Миши, словно он только и ждал разрешения, стали слипаться веки.

4

Обильный улов воодушевил команду. Карнович продолжал охотиться в Северном море, не торопясь в океан. Старый косячок — от него урвали тонн тридцать — успел рассыпаться, надо было искать новые. Карнович сообщил по, радио на берег, почему опаздывает в район промысла, получил в ответ наставление придерживаться, рейсового задания и пренебрежительно махнул рукой. Опытный Краснов предостерег молодого капитана, что радиограммы подшиваются к делу, образуя основу для производственных характеристик. Карнович засмеялся.

— Основа производственных характеристик — работа. А основа работы — добыча. А добыча — в трюме. О чем спорить?

И верный задуманному плану капитан так круто менял галсы, что Шарутин только восхищенно качал головой, нанося на карту внезапные зигзаги курса. Старпом все больше тревожился, ни один из поворотов нельзя было бы рационально обосновать, придерись какая-либо проверочная комиссия. Шарутин, давно уже проникнувшийся жаркой верой в удачу капитана и одобрявший любое изменение курса, успокаивал Краснова:

— Илья же Матвеевич, ты же третий год плаваешь с Карновичем, ни разу в пролов не попадали. Наш Леонтий — ведун, любимец Нептуна, чует шестым чувством, куда поворачивает стая. Уверен, что уже сели ей на хвост, через час, максимум на другой день, ворвемся в самую ее середину.

— Пролова у нас никогда не было, а нагоняи от Кантеладзе случались, — со вздохом вспоминал Краснов. — Все три летних месяца этого года торчали на Балтике на одной салаке.

Хмурым дождливым утром мимо «Бирюзы», как раз в это время внезапно повернувшей на северо-восток, прошла прямым курсом на север плавбаза «Печора». Вся команда траулера высыпала на палубы и приветствовала новое судно криками и радостным маханьем руками. Сирена «Бирюзы» загудела, плавбаза ответила низким рокочущим басом. Огромное белое судно, отчеркнутое по борту тремя рядами сияющих иллюминаторов, шло с такой быстротой, что буквально промчалось мимо траулера, и так ровно, что даже не порождало бурунов. С плавбазы запросили, знают ли на «Бирюзе», что идут не по курсу. Карнович ответил, что изменил курс сознательно и на короткое время, есть для того веские причины.

Миша, стоявший на левом шкафуте, любовался плавбазой, недавно сошедшей со стапелей и впервые вышедшей в океанское плавание. Рядом с Мишей оперся о фальшборт Шарутин. У штурмана было такое счастливое лицо, он так восторженно махал рукой плывущему мимо белому судну, что Миша не скрыл удивления. Шарутин предусмотрительно оглянулся, не слышат ли их, и постарался приглушить свой бас:

— Тебе могу сказать правду, ты не выдашь. Большие неожиданности нас ждут на промысле в связи с приходом туда «Печоры». Такие неожиданности, что некоторым на ногах не устоять!

— Надеюсь, неожиданности меня не касаются? — осведомился Миша без особого интереса: новая плавбаза ни с какой стороны его не интересовала.

— Тебя не касаются! — Штурман радостно захохотал. — И потому о тайне, что я тебе доверил, ты — молчок!

— Не слышал никаких тайн, — возразил Миша, пожав плечами, — и потому, говорить, собственно, не о чем.

«Печора» вскоре стала исчезать за линией горизонта. Один ряд иллюминаторов за другим как бы погружался в воду, потом остались видны одни надстройки и палубные подъемные краны, через десяток минут и они пропали. Миша пошел досыпать, была не его вахта.

Второй крупный косячок нашли на выходе из Северного моря. На этот раз Карнович не осторожничал, за борт выметали сто тридцать сетей. Зато и улов подобрался к сорока тоннам. Все на палубе было задраено и занайтовлено. Суденышко, валясь с борта на борт на посвежевшей волне, резво побежало дальше. Открытый океан встретил «Бирюзу» порывистым ветром с севера и неспокойной водой. Забитое темными тучами бурное небо низко нависло над сумрачным морем.

Рыбацкие суда промышляли почти у полярного круга. Флот появился в эфире за сутки до того, как показал свои мачты. Он состоял из нескольких флотилий — отряда колхозных судов, двух флотилий «Океанрыбы» и разных вспомогательных судов. Каждой флотилией командовал свой флагман, общее руководство промыслом принял Березов. Сперва в эфире прорывались обрывки разговоров между промысловыми судами, потом стали слышны и радиосоветы. Во время одного радиосовета, поймав заминку между докладами флагманов и капитанов, Карнович рапортовал Березову, что на подходе и ждет указаний. Березов сперва отчитал Карновича, что без разрешения ворвался в середину совета, затем язвительно поздравил с опозданием и в заключение поставил «Бирюзу» во флотилию, сдающую улов на плавбазу «Тунец». Карнович поинтересовался, может ли немедленно пришвартоваться к «Тунцу». Березов, теряя терпение, ответил, что пусть «Бирюза» раньше наполнит трюмы хоть до половины, а потом испрашивает очередь к базе. Карнович возразил, что трюмы наполнены доверху.

На несколько секунд в эфире установилось удивленное молчание, затем Березов опросил:

— Вы серьезно, Леонтий Леонидович? Что-то в радиограммах ваших о таком успехе не сказано.

— В Северном море два раза высыпали сети. Об этом я радировал.

— Тонн тридцать взяли?

— Побольше семидесяти, Николай Николаевич.

Даже сквозь шумы в эфире, искажавшие голос, было слышно, как рассердился Березов.

— Вас пропустят к «Тунцу» вне очереди. Сам погляжу, так ли блистательно вы использовали недельную задержку в Северном море.

В радиорубку послушать разговор капитана с начальством набилось полно. Краснов радовался, что прикрепили к «Тунцу», а не к «Печоре». «Тунец», база крупная, но старая и «теплая»— без рефрижераторных трюмов — брала только засоленную сельдь. «Печора» была еще крупней «Тунца», но «холодная», с мощным рефрижераторным хозяйством, она принимала в основном «свежье». За свежую рыбу платили больше, но ее нельзя было долго держать на борту и время, потерянное в частых очередях на сдачу, сводило на нет выгоду от высокой оплаты. Старпом считал, что лучше подходить к базе раз в неделю, когда трюмы заполнены забондаренной добычей, чем мотаться к ней, чуть залита свежьем сотня бочек.

— Ты все-таки, Леонидыч, дерзкими словечками не беси старика, — посоветовал Краснов, когда остался один с капитаном. — Надо было заранее радиограммой сообщить Березову, какой улов.

Карнович подмигнул старпому. Краснов был почти вдвое старше, часто говорил «ты» своему молодому капитану и называл его по имени, а Карнович иначе, как по имени-отчеству, к помощнику не обращался. Но говорить без словесных вывертов Карнович не мог и с пожилым старпомом.

— Сутки промыслового времени, Илья Матвеевич, мы уже выиграли на том, что малость побесили его превосходительство, знатного рыбака Березова. Считаю, что задача на будущее остается той же: понемножку действовать ему на нервы, не теряя ума, разумеется.

— Вот, вот, не терять ума. А не то строгача схлопочем.

У Березова это быстро!

На другое утро открылся флот.: юркие трудяги ОРТ, черные, окутанные дымом во время поисков рыбы, мертво покачивающиеся в дрейфе, у вытравленных порядков. Приходилось идти все осторожней, чтобы не напороться на чье-то, отмеченное буями, рыболовное заграждение. Мимо «Бирюзы» пронесся буксир-спасатель «Резвый». На мостике стоял Луконин. Луконин крикнул в мегафон приветствие, с траулера дружно ответили.

А затем на горизонте обрисовались «Печора» и «Тунец». Огромные белые суда расположились в сгущении рыбацкого флота. Даже издалека было видно, как внушительна очередь СРТ, ожидающих разгрузки. У «Печоры» их стояло больше десяти, правда, сдача здесь протекала быстрее, свежей рыбы редко кто привозил помногу. Зато у «Тунца» разгрузка затягивалась на день и на сутки, если траулер приходил с набитыми трюмами и палубой, заставленной в два слоя бочками.

Карнович вызвал по радио вахтенного штурмана и доложил, что у него разгрузка вне очереди. Куда швартоваться? Он говорил с нарочитой развязностью, на вахте стоял Мартынов, бывший капитан СРТ: человека этого рыбацкая удача ровно шесть лет обходила, и он предпочел, смирясь перед судьбой, спокойненькую подчиненность на плавбазе тревожной самостоятельности на мостике траулера. Карнович не упускал случая побесить прежнего напарника. Мартынов был из тех, кто нехватку удачи перекрывает пунктуальностью. Он сказал:

— Когда вы на промысле, Карнович, неожиданностей так и жди. Швартуйтесь у кормового трюма.

По правому борту плавбазы, образуя два причала, протянулись массивные резиновые «сигары» амортизирующих кранцев. Когда от кормового причала отвалил разгрузившийся траулер, Карнович, круто обойдя дрейфовавший «Звенигор», помчался на освободившееся место. Он не сбросил скорости, пока не прошелся бортом по кранцам и тут же дал задний ход: заторможенный траулер осел кормой, кранцы ухнули. Капитан «Звенигора» Бродис замахал рукой с мостика. Лихое причаливание «Бирюзы» примирило Бродиса с тем, что Карнович обошел его в очереди.

Разъяренный Мартынов рявкнул в мегафон:

— Не понял, Карнович: вы швартуетесь или тараните нас?

Бродис покатывался со смеху, показывая рукой на Мартынова, он тоже не ладил с придирчивым штурманом плавбазы. Карнович прокричал:

—  Была бы война, а вы — неприятель, обязательно бы таранил!

За «Звенигородом» Бродиса дрейфовал «Коршун» Никишина. Внеочередная швартовка «Бирюзы» обрекала команду «Коршуна» на несколько часов дополнительного бездействия. Нетерпеливого Никишина раздражал каждый час, проведенный в ожидании приемки. Он быстро переводил в уме такие томительные часы в тонны потерянного улова. И так как любая, даже вполне «приличная» для морского слуха, ругань по радио запрещалась, Никишин подвел «Коршуна» поближе к «Бирюзе» и прокричал в мегафон:

— Бирюзовцы! Бы пираты! Леонтий Леонидович, считаю за тобой пять тонн уведенной из-под моего киля селедки. Расплачиваться будешь на промысле или отложим до вечерка в «Балтике»?

Карнович, посмеиваясь, только приветственно помахал рукой долговязому худому Никишину. Шарутин ответил вместо капитана:

— Расплачиваемся передачей трудового опыта. Учитесь у нас, как работать без суетни и перепрыгивания из квадрата в квадрат. Это вам будет полезней вечерков в «Балтике», Корней Прохорыч!

Никишина на промысловых советах часто поругивали за «непоседливость»: он был способен удаляться за сотню миль от «своего квадрата», если сообщали, что где-то появился верный косячок. Насмешка штурмана вконец рассердила вспыльчивого капитана. Он отвернулся от «Бирюзы».

На мостик плавбазы вышли Березов и капитан-директор «Тунца» Трофимовский.

Мстительный Мартынов, показав рукой на «Бирюзу», не удержался от язвительного замечания:

— Картина, Андрей Христофорович: явление хлюста народу! Абсолютно уверен, что в трюмах «Бирюзы» нет и половины того, что обещано. Придумали необыкновенный улов специально, чтобы прорваться вне очереди, а потом будут оправдываться: ах, извините, ошиблись, прикидывали на глазок! А ведь многие чуть не молятся на Карновича!

Мартынов явно намекал на благоволившего к Карновичу главного флагмана промысла. Трофимовский, чтобы не ввязываться в рискованный разговор, неопределенно пожал плечами. Березов хмуро распорядился:

— Карновича — ко мне!

Штурман повторил его приказание в мегафон. Карнович, стоявший на мостике со старпомом и Шарутиным, весело сказал:

— Итак, старик вызывает меня на ковер. Я буду вертеться ужом, он будет укоризненно качать головой. Кончится тем, что он прослезится, когда разглядит, что у нас в трюмах, и выставит рюмочку в смысле стаканчика.

— Ты же не пьешь, — завистливо сказал Шарутин. — Вылил бы незаметно в карман, у тебя все карманы водонепроницаемые.

— Спирт они впитывают, маркиз. И непьющий я только у себя на судне, а в кабинете начальства пью с охотой. Ты видел, как Мартынов что-то нашептывал Андрею Христофоровичу? Уж, наверно, доказывал, что если и полны наши трюмы, так все равно прославлять нечего, успех — рядовое дело на промысле.

— Как нечего прославлять! А наши рекорды в Северном море? Кто еще такими похвастается? — Шарутин вдруг заревел зычно, как в мегафон: — О, славный король наш, Карнович-Хлодвиг! Пою твой блистательный, уникальный подвиг! Кто тонет в воде, кто в бутылочке спиртовой, а ты в селедочке потонул с головой!

С плавбазы спустили на палубу «Бирюзы» металлическую сетку.

Карнович вцепился в ее ячеи, штурман базы подал сигнал поднимать ее. Карнович не сомневался, что Мартынову хочется так резко дернуть сетку вверх, чтоб у капитана «Бирюзы» кости затрещали. Но Мартынов органически не умел что-либо делать рывками. Он перенес Карновича на базу с почти оскорбительной плавностью.

Березов, по морскому обычаю, раньше поздравил Карновича с приходом на промысел, потом стал распекать. Ну, что за самоволка в Северном море? Научники из промысловой разведки установили, что сельди большой там в этом году не будет, серьезного промысла не развернуть. А он задержался — и хоть бы по-хорошему радиограмму отбил — на столько-то задерживаюсь, такой-то взял улов. Только на прямой запрос изволил ответить: промышляю-де, не гуляю — и всего сводок от тебя!

— Сатанеешь ты в море, Леонтий Леонидович! Впервые в полной самостоятельности — и задурил! А как швартуешься? Посмотри, как подходят другие суда. Не подплывают, подкрадываются!

— А Бродис?

— Что Бродис? Этот в бурю швартовался в порту, когда надо было срочно вывозить людей. Попробуй из вас кто! У него хоть бы раз авария за всю морскую жизнь! Корсар Карнович — наш штурман Мартынов иначе тебя и не зовет!

— Будьте справедливы, Николай Николаевич, у меня ведь тоже ни одной аварии.

— Будут, предсказываю. Просто рискованные штучки не успели обернуться серьезными неприятностями.

— Николай Николаевич, у вас четырнадцать орденов и медалей! Четырнадцать, а у меня — ни одного! — воскликнул Карнович. — Неужели вы зарабатывали свои награды смирением, вечной боязнью риска?

— Тебя не переговоришь, на слово — два! — с досадой сказал Березов. — Ладно, поглядим, так ли тяжелы твои тонны, как похвастался.

Они пошли на мостик. Разгрузка трюмов «Бирюзы» шла в таком темпе, что Карнович злорадно покосился на вахтенного штурмана: команда траулера понимала, что их капитану идет «втык» и старалась вовсю. Палуба была заставлена бочками, один строп за другим передавался на базу. Мартынов, подобрев, доложил, что перегружено пока десять тонн, но судя по тому, что выстроено на палубе и виднеется в трюмах, тонн семьдесят намечается. Березов рассмеялся и развел руками.

К свободному левому борту плавбазы на большой скорости подходил «Резвый».

Березов и Карнович перешли на левое крыло мостика, отсюда было лучше видно, с какой стремительностью и изяществом приближается спасатель. «Резвый» несся, как вписанный в четкую математическую линию, с той же плавностью, с какой выворачивал к борту плавбазы, сбросил ход, легко коснулся плавучих кранцев, с шипением прошелся вдоль них и замер на середине борта.

— Пришвартовался, как прилепился! — сказал Березов. — Вот у кого учись разумной, а не озорной лихости.

Карнович не отрывал восхищенного взгляда от спасателя.

— Василий же Васильевич! До него, как до звезды!

На спасатель опустили металлическую сетку. На мостике плавбазы показался улыбающийся Луконин. Он тоже поздравил Карловича с приходом на промысел и сказал Березову:

— Повреждение винта на СРТ-312 выправили без отбуксировки в порт.

— Капитан триста двенадцатого уже докладывал, что возобновил промысел, — ответил Березов и, взяв Луконина под руку, увел к себе.

Карнович еще полюбовался с мостика, как лихо разгружается «Бирюза». Технологи базы вскрыли несколько бочек, сельдь везде была крупная, немятая, с хорошим содержанием жира — Мартынов даже заулыбался. Воспользовавшись его хорошим настроением, Карнович заказал на базе сметаны, свежих овощей и фруктов, которые обычно приобретаются для тех, кто давно на промысле, не забыл выпросить и бочек побольше, и технических запасов и залил танки водой и горючим.

— Часто тревожить вас не буду, — объявил он Мартынову, — но каждый раз работы со мной будет много.

— Давайте, давайте, Карнович! — почти миролюбиво проворчал штурман. — Работы на базе не боятся.

5

Погода в районе промысла стояла обычная для этих мест в начале осени: ветер умеренный сменялся ветром сильным, сильный падал до умеренного или свежего, море непрестанно бурлило, плотные тучи, казалось, навсегда упрятали солнце — темный день сменялся черной ночью, черная ночь светлела до темного дня. Рыбаки такую погоду обозначают выразительным словом «промысловая». Траулеры бросало с борта на борт и на ходу и в дрейфе, но рыба шла хорошая: день за днем каждый промысловик к ночи вытравливал порядок сетей на сто, а на другой день выбирал улов тонн на десять.

Капитаны траулеров, переговаривающиеся по радио, радовались удачному промыслу: давно уже не валило такой стабильной рыбы. Если бы «обстановочка продержалась еще с месяц», выражали надежды на советах своих флотилий флагманы, то годовые планы вылова были бы перекрыты досрочно. Один Карнович высказывал недовольство. Он все вспоминал удачу в Северном море — за какую-то неделю взяли почти десять процентов годового плана. Шарутин посмеивался над увлекающимся другом и в прозе и в стихах. Шарутин говорил, что одна удача — удача, две удачи — подозрительно, а систематические удачи — опасно: природа не терпит несимметричности, большой успех влечет еще больший провал. Карловичу не терпелось почаще швартоваться к «Тунцу» — Шарутин и об этом «срубил экспромтик» и с торжеством прочитал его капитану.

Прошло две недели, пока трюмы «Бирюзы» наполнились настолько, чтобы проситься на сдачу. Очередь была судов шесть, но все с полными трюмами. Карнович прикинул, что придется потерять не меньше суток. Погода была балла на три и, вместо того, чтобы занять место в хвосте, «Бирюза» моталась между судами, приваливаясь бортом то к одному, то к другому.

— Махнемся кинофильмами? — предлагал Карнович в мегафон.

Картины на «Бирюзе» были из тех, что будто нарочно выпускают для рыбных промыслов и геологических экспедиций — товар, «большим экраном» не употребляемый. Но и на других судах боевиками не хвастались. «Бирюза» за день полностью обновила свои кинозапасы, а фильмы, ценные настолько, что с ними не хотели расставаться, Карнович выпрашивал на часок и, не отваливая от борта давателя, прокручивал в салоне, отменяя для срочного киносеанса даже обед.

Миша не пошел в душный салон. На лебедке, прикрытой парусиной, Колун навалил горку сетей, Миша растянулся на них. Отсюда было хорошо видно и слышно море.

Море, как живое, набрасывалось на траулер, толкало его в борта. Тучи шли так низко, что клочковатые их языки лизали мачты плавбазы. День переходил в вечер, и небо было темнее океана.

А в океане суетился и перемещался город огней и шумов. У высоких бортов «Тунца» разгружались траулеры, оттуда доносились звонки лебедчиков, визг цепей, грохот моторов, окрики сигнальщиков, переговоры по мегафону, глухой стук катящихся по палубе бочек. Едкий дым подходящих и отходящих траулеров прибивало к воде. Милях в пяти от «Тунца» возвышалась стройная белоснежная «Печора». И там повторялась та же картина — сгрудившиеся у плавбазы траулеры, низко стелющийся дым...

К Мише подсел Кузьма.

— В салоне «Насреддин в Бухаре», половина выдрана, остальное — вполне интересно. Иди, не теряй времени, — сказал Кузьма.

— Не пойду, — равнодушно сказал Миша и, помолчав, добавил: — А почему ты не в салоне?

— Словечко сказанул, что старая фильма. Крутит Колун, он осторожный, но тоже и у него рвется лента. Все враз зашикали! Я их послал, куда надо, и попер к радисту.

— А у радиста что?

— Отбил телеграмму Алевтине.

— О чем?

— Ни о чем.

— Как — ни о чем?

— Нормально. Без содержания. Живу, тружусь, зарабатываю потерянные деньги, погода приличная, чего и вам желаю. Отбыл повинность.

Кузьма говорил с раздражением.

— Странные у тебя все-таки отношения с Алевтиной, — сказал Миша. — К чему ты упоминаешь непрерывно о том вечере? Ей ведь обидно.

Кузьма ответил не сразу:

— Думаешь, мне не обидно? Так опростоволосился! Другая жена еще бы утешила, приласкала, а она при тебе такой скандал подняла!

— Ты сам говорил да и она объяснила — не из-за потерянных денег.

— Ни в чем другом не виновен. И тоже ей объяснил — с головы до ног чистый! Почему же не поверила? Любила бы, так не высказывала недоверия. Хочешь знать правду? Ищет повода, чтобы придраться! Печенкой чую.

Они с минуту молчали, глядя на идущий мимо них на разгрузку траулер. Миша сказал:

— Несправедлив ты. Придумываешь о своих родных плохое.

Кузьма порывисто повернулся к нему.

— Придумываю? А ты ее радиограммы прочти, я тебе дам. Хоть бы раз словечко — милый, дорогой, скучаю по тебе. Скажешь — стесняется? А у других не стесняются, пишут, как чувствуют. Придумываю! Батя такую головомойку устроил, когда я признался, как тошно бывает, чуть в рейсе о семье подумаю. — Он с раздражением махнул рукой. — Э, что там расписывать! Твой браток меня к себе вызывал, наставлял на правильный путь...

— Алексей? — с удивлением спросил Миша.

— Кто же еще? Вроде другого брата нет у тебя. Такая была агитация с пропагандой! И все слова до невозможности правильные! Просто молчи да слушай, да жалобно вздыхай, вот такие слова.

Миша рассмеялся.

— На тебя мало похоже, чтобы ты молчал и вздыхал жалобно.

— Отвечал, конечно. Оправдывался. — Кузьма вдруг чуть не закричал — Нет, ты понимаешь — оправдывался! А что это значит? Виновен, стало быть, раз оправдываешься. Вот таким меня сделали. Я тут уродуюсь, из кожи вон лезу, еле руки не кусаю, когда о Лине думаю, — и я же еще виновен, нужно оправдываться!.

Они опять помолчали. Миша осторожно спросил: — И сейчас все так же о Лине тоскуешь? Кузьма угрюмо ответил:

— Чего сейчас о ней тосковать, если ей безразлично, каково мне? Я сейчас разочарованный в дымину, правильный от пяток до макушки. Работаю, ни от кого не отстану, никому не позволю вперед себя вырваться. Рыбку — стране, деньги — жене, сам — носом на волну! Больше нечего от меня требовать. А что про себя думаю, то мое дело. И после объяснения с батей ни с кем теперь не буду откровенничать. Тебе одному можно сказать, ты парень вроде хороший, не треплив, а еще кому раскрываться — себе дороже выйдет! Помнишь, что я тебе говорил о Степане? Вот уж кто не перестает присматриваться, как я себя веду. Даже у радиста интересовался, что за телеграммы домой отбиваю.

— Не хочешь ни с кем откровенничать, а зачем ты мне все это рассказываешь? — с упреком спросил Миша. — Не нужно мне знать о ваших взаимоотношениях со Степаном!

— Правильно, не нужно. А рассказываю затем, чтобы ты ненароком в наши дела не встрял. Он хитро поинтересуется, ты чего-нибудь ответишь...

— А сам только что признавал, что я не из трепливых. Кузьма еще посидел на горке дели и удалился в кубрик.

Миша лег на спину, сосредоточенно всматривался в небо. Ночь, безлунная и свободная от туч, окутала океан. Качка была бортовая, звезды, проносясь слева направо и справа налево, прочерчивали короткие сияющие черточки. Миша с удивлением отметил про себя, что качка у них на судне непрестанная и, вероятно, небо всегда такое же искристое, но только сегодня он разглядел его — раньше лишь смотрел, но как-то не видел: до сознания не доходило. Разговор с Кузьмой заставил Мишу вспомнить о собственных горестях. Миша недоумевал — то негодовал, то жалел себя. Нет, у Кузьмы все ясно — милые побранились, потешили себя кратковременной ссорой и снова помирятся. И давно уже помирились бы, не уйди Кузьма в рейс. Правильно назвал океан Шарутин — великий разлучник. У него, у Миши, куда сложней, ибо непонятней. Не было причин для ссоры, даже малейшего повода не разглядеть — а ссора такая, что никакими объяснениями не заглушить, никакими оправданиями не оправдаться. Кузьма сердится — заставили признавать, что виновен, гордость его страдает. А он, Миша, и хотел бы повиниться, да не знает промаха своего, рад бы извиниться, да не догадывается, в чем. И все думается, каждую свободную минуту думается — что совершилось?

— Засела ты у меня в душе, как топор в коряге, — с досадой пробормотал он и с удивлением, жалея себя, добавил — Надо же! Со всех сторон посмотреть если — втюрился...

От влажноватой, мягкой дели шло накопленное за день скудное тепло, в воздухе быстро холодело. Миша все глядел на темное безоблачное небо — в нем крупные звезды прочерчивали яркие искорки при каждом крене траулера.

6

Почти три недели погода держалась между штилем и штормом — «нормально неспокойная». За это время «Бирюза» лишь раз сдала улов на базу, а дальше промысел пошел хуже: разразились штормы.;В районе между Гренландией, Исландией и Норвегией, в атлантической «кухне погоды», обычно зарождаются все зимние бури, обрушивающиеся на Европу и Азию. Остров Ян-Майен лежит в центре этой дьявольской кухни, а рыбачьи флотилии, гоняясь за сельдяными косяками, пересекли полярный круг и все дальше отрывались от скалистых, но сравнительно безопасных Фарер, все ближе подходили к зловещему острову.

Первый шторм выпал несильный, ветер метров на восемнадцать в секунду. Но волнение быстро прибывало, волны перехлестывали через фальшборт, на палубе натянули штормовые леера — при ходьбе хвататься руками. Карнович и в эту погоду высыпал порядок. То же сделали: и другие капитаны. На «Коршуне» волны оборвали вожак, Никишин погнался за сетями, но всех выбрать не смог. После этого случая никто уже не рисковал сетями в шторм.

Шарутин посмеивался над Карновичем:

— Сильней рыбаков шебутяга-Нептун. Рыбак перед ним — слабосильный шалун. Слышишь, как бьет о фальшборт волна — страшись Нептуна, страшись Нептуна!

Раздраженный Карнович пригрозил штурману:

— Лучше бы меня пострашился! Переведу в пассажиры за непочтительность к начальству! Капитан на судне первый после бога, говорят англичане.

Шарутин отпарировал:

— Служебной прозой я почтителен. Стихи — не служба, а — литература. Применишь репрессии, буду орать, что зажимаешь творчество.

— Тогда хоть ставь правильно ударения, — попросил Карнович. — Какой пример вы подаете, дорогой мэтр, начинающим стиходелателям, вроде меня! Нептуна вместо Нептуна!

Шарутин отверг и эту просьбу.

— Морская специфика. Компас, а не компас; рапорт, а не рапорт; в Киле, а не в Киле....

— Но Гибралтар, а не Гибралтар, — настаивал Карнович.

— Ну и что же, что Гибралтар? Морская специфика в искажении ударений, а в Гибралтаре как раз ударение искажается. Спор с Шарутиным навел Карновича на мысль заняться стихами. Бездействие было единственное, чего он не мог делать, а сочинение стихов убивало время.

На утреннем радиосовете флотилии — его проводил флагман отряда средних траулеров, но на нем присутствовал и! Березов, — Карнович начал своё сообщение стереотипной фразой:

— Добрый день, Николай Николаевич, добрый день, товарищи капитаны и все присутствующие, — а затем заговорил стихами, выделяя голосом рифмы:

Ждем на море хорошей погоды.

*Доклад промысловому совету.*

Вчера нас здорово мотало.

Порядка судно не метало.

И, видно, вечером опять

Сетей сегодня не метать.

Что мне сказать вам на совете?

За все один Нептун в ответе!

Совсем старик сошел с ума,

Развел волну, развел шторма,

Устроил на море качалку,

Шлет к черту лучшую русалку,

Рвет бороду сынку Борею,

Огнями Эльма красит рею.

Хозяйственных вопросов нет.

Примите мой большой привет.

— Надеюсь, я уложился в свои три минуты? — уже прозой невинно осведомился Карнович.

В эфире вместо голоса флагмана, послышался бас Березова:

— В три минуты вы уложились, Леонтий Леонидович, а в рамки дисциплины никак не укладываетесь. На этот раз прощу. Личная просьба: задержитесь на этой же частоте после совещания. Хочу для себя описать ваши стишата.

Березов при встречах всем говорил «ты», а на радиосоветах, тоже без исключений, всех называл на «вы» и по имени-отчеству.

Карнович продиктовал свою стихотворную речь, уверенный, что ее сейчас записывают на всех судах, а потом сказал Шарутину:

— Ты заметил, что Николай Николаевич все свои внушения мне заканчивает фразой: «На этот раз прощу».

— Старик тебя нежно любит. Ты отчаянный, это трогает его усталую душу. И надо бы наказать, а рука не поднимается.

— Он был меня отчаянней. Столько о нем говорят...

— Надо же о ком-нибудь петь и рассказывать истории. Он для песни — подходящий. И перепадали ему, очевидно, не одни ордена, а и выговора. Только память о собственных взысканиях и спасает тебя.

7

А после штормов наступил штиль.

Даже мелкая рябь не морщила воду. Если и возникало колебание, то оно прорывалось не волной, а вспучиванием — вырастала как бы опухоль, но зеркало поверхности нигде не сводили полосы. Океан натянул кожу, называли такой штиль рыбаки.

На безоблачном небе день за днем всходило и закатывалось одинокое солнце. Ни одна тучка не прикрывала его, пропали даже утренние туманы. И, когда было время оглянуться на окружающее, команда любовалась двумя солнцами: одно — на него нельзя было смотреть — шествовало наверху, другое — и тоже нестерпимо сияющее — глядело из тяжелого сине-золотого литья воды, это кружилось вокруг траулера, с утра было с одного борта, к вечеру перемещалось на другой. А когда оно садились, рыбаки любовались еще одним зрелищем: по мере того, как солнце закатывалось, небо темнело. Наступал момент, когда цвет и яркость неба и моря сравнивались, тогда пропадала линия горизонта, солнце висело в сияющем, на все оси одинаковом пространстве, от солнца урезалось нижнее полушарие, потом верхнее, потом оставался лишь сегмент, сегмент превращался в сияющий ободок. В эти минуты вода становилась пронзительно светлой, а над водой раскидывалось потемневшее небо и казалось, что небо внизу, а море наверху. И надо было ступать по палубе с осторожностью, шли как бы вниз головой, любой шаг мог нарушить зыбкое равновесие невероятного.

После захода солнца вспыхивали звезды, и каждая светила в полный накал — мало кто раньше видел столь же ярко иллюминированное небо. И можно было любоваться созвездиями, не поднимая головы, звезды были в воде такими же яркими.

В эти дни безветрия, как-то под вечер, Шарутин из рубки закричал на весь траулер:

— Рыба играет!

На верхней палубе быстро собрались свободные от вахт.

Издали это было пятно передвигающейся ряби на глянцевитой воде, островок темного беспокойства среди умиротворенной светлости. Потом стали видны выскакивающие рыбы — сельдяная стая бушевала. Косяк подходил с кормы, солнце светило с носа — каждая выбрасывающаяся рыбка яркой искоркой прочеркивала воздух. И вскоре весь островок играющей стаи был озарен сеткой вспыхивающих и погасающих искорок, он превратился из темного пятна в сверкающее. Косяк двигался клином, от головы, бурного сгущения кипящей рыбы, отходили крылья, они тоже сверкали, но послабее.

Играющая стая ушла в сторону солнца, вскоре ее не стало видно. Карнович со вздохом сказал:

— Видит око. Эх, жалко, что после прошлогодней неудачи оставили кошельковый лов. Был бы сейчас кошельковый невод — и рейсовое задание схвачено. Тонн триста сельди резвится под носом!

На каждом радиосовете сообщали об отменных уловах. Для экипажа хорошая погода означала изнурительную работу. Вечером высыпали сети, ложились в дрейф. От рассвета до полуночи тащили сети, вытряхивали рыбу, солили, забондаривали, погружали в трюмы. И, добравшись до койки, мигом засыпали — не раздеваясь, через три-четыре часа все равно надо было подниматься. Миша узнал, что можно заснуть шагая, можно разговаривать и дремать, можно есть в полусне — сон не отменял других проявлений жизни, он соседствовал с ними.

Только сети нельзя было тянуть в полусне, да спускать бочки в трюм.

Однажды на радиосовете Доброхотов сообщил, что в его промысловом квадрате появились косатки. Стая этих громадных хищников улов не уничтожила, но сети изорвала.

«Бирюза» промышляла далеко от «Ладоги» Доброхотова, но Карнович, встревожась, собрал помощников и опытных матросов. Все хмурились, от косаток спасения не было.

Капитан рассердился.

— Как вам угодно, я поддаваться этим бестиям не намерен!

— Буду читать им свои стихи, — предложил Шарутин. — Самым громовым голосом. Может, испугаются. — Последние слова прокатились по салону колокольным басом.

— Шум — это хорошо! — Капитан повеселел. — Я слышал, они ориентируются по слуху, а не по зрению. Значит, надо их дезориентировать. Но подберем что-нибудь поэффективней твоих стихов.

Он приказал вытащить на палубу ведра, чайники, металлические буи, колокол, стальные полосы, цепи, прутья. В рубке он положил ракетницу и запас ракет.

Косатки появились утром, когда порядок сетей с богатым уловом наполовину выбрали. Карнович — по обыкновению, один в рубке — увлекся выборкой сетей и проглядел хищников. Первым увидел морских разбойников Степан. Из радиорубки выскочил радист. Мимо шел на сдачу рыбы «Коршун», с него тоже разглядели косаток, несущихся к «Бирюзе», и радировали о грозящем нападении.

Дерзкие хищники мчались прямо на судно. Черные спинные плавники трехметровыми косами высовывались из воды. Карнович выстрелил из ракетницы, ракета с шипением врезалась в воду, со свистом взорвалась. На палубе ударили кто во что горазд. Грохот, визг, металлический стон пронеслись по океану. Вторая ракета взорвалась в центре стаи.

И так же стремительно, как атаковали, косатки стали удирать. Поворот был проделан перепуганными хищниками как по команде. Вскоре черные косы еле виднелись на сияющей маслоподобной воде. Карнович хохотал. Никишин с «Коршуна» прокричал по радио насмешливое поздравление. Он не ограничился радиоприветами, а выскочил на мостик и помахал фуражкой. «Коршун» шел метрах в трехстах, высокая худая фигура Никишина черным силуэтом врезалась в светлый фон голубого неба и зеркально-светлого моря.

На радиосовете Березов поинтересовался, сколько артистов в джазе «Бирюзы». При каждом разговоре по радио теперь Карновича расспрашивали, как дела в его шумовом оркестре. Он отвечал неизменно серьезно: «Шумим помаленьку!»

8

Шарутин, вероятно, был самым беспокойным и хлопотливым в экипаже траулера, состоящем из двадцати пяти человек. В свою вахту он почти не выбирался из крохотного штурманского закутка, соседствовавшего с ходовой рубкой, а в свободные часы появлялся во всех уголках судна. Его собственная каюта была единственным местом, куда он всего реже забирался — только когда сон валил с ног и нужна была койка. Иногда, впрочем, он растягивался на кровати в капитанской каюте, Карнович против таких вторжений не возражал, штурман пользовался капитанской койкой лишь в часы, когда самому капитану было не до сна. А когда вызванивали общий аврал на выбирание трала и обработку рыбы, Шарутин мигом мчался на палубу и с веселыми криками тянул сеть или орудовал шкерочным ножом. В ловкости и быстроте на палубных работах он не мог угнаться ни за Кузьмой, ни за Степаном, ни даже за Мишей, но шума поднимал столько, что со стороны могло показаться, будто он один трудится больше всех. И хмурый тралмастер Колун, всегда находивший повод любого покритиковать, ему одному не выговаривал: умение шло от многолетней морской практики, ее у Шарутина было маловато, а увлечение он показывал такое, что и Колун постеснялся бы потребовать больше.

В кубрике, в свободную минуту, Колун так отозвался о Шарутине:

— Второй штурман у нас мозговит и работящ, да одна беда: губят его рифмы. Когда человека стихи одолевают, настоящей специальности ему полняком не одолеть. Вот помяните мое слово, сходит он рейс-другой в океан, и точка: заест его грамота!

Как раз в этот день радиостанция «Печоры» передавала новые стихи Шарутина, среди них и то, об океане-разлучнике, которое он читал Мише на воскреснике.

В конце второй недели на промысле Шарутин спустился в машинное отделение. Там стармех обучал молодого второго моториста следить за правильной работой «вспомогачей» — малых двигателей. Главный двигатель гудел мощно и ровно, Потемкин был из стармехов, для которых перебои в работе дизелей не столь даже досадны, как оскорбительны. Шарутин отозвал стармеха в сторону и пытался заговорить потише, но в машинном отделении стоял такой грохот, что вместо интимного приглушения голоса пришлось перейти почти на крик.

— Слушай, дед, исполни личную просьбу, — сказал он Потемкину, который был ровно на год моложе его самого. — Как у тебя в смысле горючего? Запаса в танках хватает?

— Собираешься вместо спиртного пить солярку? — сострил стармех. — Много на пропой души не выдам, а с центнер налью. Притаскивай канистры.

— Чудак, я серьезно.

— Если серьезно, так подошло время пополнить запасы горючего. Танки на три четверти опорожнены.

— Вот и я так думаю — подошло время. А где собираешься бункероваться горючим?

— На «Тунце», естественно, мы к этой базе прикреплены.

— Антон, окажи одолжение, сугубо личный вопрос, понимаешь? Надо чтобы «Бирюза» пришвартовалась разок к «Печоре». Вот так нужно! — Штурман выразительно провел рукой по горлу. — И капитану не говори, что я это просил, придумай что-нибудь от себя.

— Что-нибудь придумаем, если тебе позарез нужно, — пообещал стармех.

Шарутин удалился в рубку. Там Карнович с Красновым обсуждали перспективы ближайших дней. Сельдяные стаи в районе обеих плавбаз поредели, надо было уходить в дальние промысловые квадраты. Шарутин принял горячее участие в обсуждении, он всегда был за то, чтобы в океане носиться от меридиана к меридиану, от одной параллели к другой. В рубке появился стармех с сообщением, что надо запастись горючим и лучше это сделать на «Печоре», а не на «Тунце».

— Вот еще — на «Печоре»! — возмутился капитан. — С какой стати? Мы селедку засаливаем и сдаем полными трюмами, а к «Печоре» без свежья не подходи. А сколько свежья будет?

— На «Тунце» запасы горючего в обрез, а «Печора» только пришла на промысел, у нее танки полны, — ответил Потемкин. — Кое-какое различие и в качестве смазочных материалов, для наших механизмов имеет значение.

— Один разок можно пойти и к «Печоре», — сказал старпом. — Наберем тонн десять, двенадцать свежья и пойдем.

— Сделаем по-другому, — решил капитан. — Набьем сперва трюмы соленым товаром, а потом, сверх соленья, добавим свежья. Сдадим на «Печору» свежье, попросим заодно принять и соленую продукцию. Пока Потемкин будет заливать танки, не стоять же нам без дела у борта плавбазы. «Печора» и от соленой селедки тогда не откажется.

Шарутин молча слушал этот разговор и сразу после решения капитана выскочил наружу с таким радостным лицом, что Миша, подсоблявший Колуну укладывать в порядке трал, зачиненный и приготовленный к отдаче за борт, посмотрел с удивлением. Штурман помог обоим, потом уселся на горке влажной дели. Колун сел в стороне чинить другой трал, эту работу он всегда делал сам. Штурман поделился с Мишей и Колуном новостью: промышлять пойдем в дальние квадраты, а сдачу произведем на «Печоре».

Миша припомнил, что Шарутин ждал каких-то неожиданностей в связи с приходом на промысел «Печоры», но подробно разъяснять не захотел — не захочет, вероятно, и сейчас. Миша никак не отозвался на сообщение штурмана, а тралмастер рассудительно заметил, что здесь ли промышлять или дальше, ему безразлично, была бы рыба, — дорог в океане на все тридцать два румба, и ни на одной не встретишь светофора.

Штурман с увлечением подхватил новую тему.

— Дорог в океане — большой джентльменский набор. Нас буря не остановит, буря не светофор. Кати на все румбы, куда тебе суждено. Дорог в океане много. И одна — на дно!

— Мрачные стихи! — заметил Миша, улыбаясь. — А что до бури, то пока ни одной не было. Такое безветрие, что просто прелесть.

— Не прелесть, а жуть! — серьезно возразил штурман. — Продолжительный штиль на этих широтах — шутка многозначительная. Такую фантасмагорию предвижу! Как по-твоему, Иван Яковлевич?

Колун подтвердил, что затянувшееся безветрие рано или поздно, но оборвется бурей. И чем сегодня тише, тем завтра загрохочет сильней. Что до него, то он свои меры принял, на палубе держит только необходимые материалы, а все остальное несет в кладовку.

Шарутин, заметив, что капитан спустился к себе в каюту, поднялся снова наверх и прошел в радиорубку.

— Отбей на «Печору» маленькое сообщение, — сказал он радисту. — Диктую текст. «Печора», каюта номер семьдесят четвертая. Все в порядке. Жди. Шарутин.

— А кому конкретно? — спросил радист, записывая радиограмму. — Фамилия получателя?

— Получатель — каюта, — строго сказал штурман. — И фамилия ее — номер семьдесят четыре. Или не ясно?

Радист, молча пожав плечами, застучал ключом на своем радиопередатчике «Ерш».

Через несколько дней, впервые за три недели на промысле, «Бирюза» с полными трюмами засоленной селедки и палубой, сплошь заставленной бочками со «свежьем», понеслась не к «Тунцу», а к «Печоре» и, лихо повернув, заняла очередь.

Когда подошло время траулеру швартоваться к базе, Шарутин объявил, что ему хочется на «Печору».

— И вместе с тобой, Леонтий! — пробасил он просительно. — Очень нужное дело, а без тебя не выйдет.

— А что за дело, и почему оно тебе нужное? — поинтересовался капитан.

— Лучше не рассказывать, а показать. Тебе картинка понравится, ручаюсь.

С плавбазы спустили сетку, на ней поднялись сразу четверо — мастер добычи, стармех и Карнович с Шарутиным. Карнович хотел пройти в носовую пристройку к капитану плавбазы, но Шарутин не дал.

— Представляться начальству успеется, мое же дело отлагательства не терпит. Шагай со мной вниз.

Они прошли мимо камбуза и столовой, мимо красного уголка и библиотеки, спустились еще ниже. Карнович раздраженно объявил, что экскурсия по внутренним помещениям плавбазы ему надоела, он дальше ни шагу не сделает. Шарутин, вместо ответа, постучал в каюту, к которой они подошли.

— Входи и не падай в обморок, — сказал он, пропуская капитана вперед.

В четырехместной каюте у столика сидела Дина.

— Ты? — проговорил Карнович, пораженный. — Неужели ты? Или мне померещилось? Призрак? Мираж?

— Можешь дотронуться до меня, — смеясь, сказала она, протягивая руку. — Сразу убедишься, что не призрак и не мираж.

Шарутин радостно хохотал. Он казался гораздо более счастливым, чем Дина и еще не пришедший в себя от изумления капитан.

— Моя работа! — восторженно басил он, не давая ни ей, ни ему больше слова сказать. — Сперва Дину уговаривал определиться на плавбазу. Жуть, что было, она ведь командовать кораблями мечтает, ты Дину знаешь, она такая! А потом старпома уламывал, чтобы взял, он мне приятель, вместе мореходку кончали, только для меня и согласился зачислить необученную. Зато Дина теперь полноправный член экипажа — лаборантка по анализу сельди, за один переход сюда освоила дело, старпом мне по радио сказал — вполне справляется. Жуткие способности химика, так и рубанул по «караваннику». И учти — заработки нашей команды теперь зависят от того, какую цифру жира у селедки выведет Дина в накладной. Так что ищи ее доброго расположения!

— Что-то не вижу, чтобы ты очень искал моего доброго расположения, Леня, — заметила с насмешкой Дина.

Карнович бодро сказал:

— Минутная растерянность, извини. Итак, наши промысловые показатели в твоих суровых руках, и я должен перед тобой лебезить? А с чего начнем завоевания твоего доброго расположения?

— Хотя бы с того, что ты меня обнимешь и поцелуешь. Капитан не заставил дважды себя просить.

9

Затянувшееся безветрие тревожило не только Колуна с Шарутиным. Все опытные рыбаки понимали, что в природе нарушена естественная гармония тишины и шума, покоя и толчеи. В «адской кухне погоды» между Гренландией и северной Норвегией произошла катастрофа, и выразилась она в том, что мертвое спокойствие сковало на долгие дни океан. Он должен был преодолеть одну катастрофу другой — ураганом. Сколько бы антициклон не задерживался, его сметает циклон, так учил морской опыт. И что буря, призванная взорвать затянувшийся штиль, будет немалой, предугадывали все.

С каждым новым днем синоптики на плавбазах все опасливей изучали карты погоды, по два раза в сутки принимаемые по радио автоматическими аппаратами. С каждым новые днем все беспокойней звучали их ежедневные сообщения на радиосоветах: «Сегодня в океане ожидается полное спокойствие». И каждое утро, и каждый вечер капитаны с сомнением вглядывались в горизонт — не появится ли где на его темной синеве зловещих быстро летящих туч. Но барометр показывал максимальное давление, небо было чисто.

И когда в Гренландском море, где-то к западу от Шпицбергена, возникло колечко падающего давления, синоптики и руководители флотилий восприняли его, если не с удовлетворением, то с пониманием. Совершилось то, чего с тревогой ожидали — природа порождала бурю.

Пока это была маленькая воронка в атмосфере, набор крутящихся изобар с невысокими перепадами давлений. Циклон вращался вокруг собственной оси, он еще никуда не двигался, ничему не грозил. Но давление в его центре продолжало падать, перепады становились крутыми, сперва десятки, за ними сотни кубических километров воздуха обрушивались в исполинский воздушный провал, образовавшийся около Шпицбергена. И, как чудовищный зверь, очнувшийся от спячки, циклон начал медленно подвигаться, он еще не мчался, только пошатывался, только присматривался — куда же броситься?

Крупные метеостанции Европы и Америки отметили зарождение бури, на синоптических картах появилось грозное закольцевание изобар. Давление в центре циклона падало, колец с каждым сообщением становилось больше. Как гигантская вытяжная труба, циклон жадно всасывал воздух, и, на смену исчезающей атмосфере, сюда устремлялись воздушные потоки из областей высокого давления. На периферии циклона забушевали вихри, воздухопад расширялся, захватывал все новые площади в океане — ураган набирал силу.

И внезапно вся эта бездна осатаневшего воздуха пришла в движение — циклон ринулся на юг.

В день, когда направление бури на юг стало явным, Березов собрал на плавбазе совещание флагманов рыбацких флотилий. На совещание подплыл и Луконин. Синоптик расстелил на столе две карты погоды — последнюю сводку и прогноз Вашингтона на завтра. Около Березова лежали телеграммы из Москвы от Института Прогнозов.

Синоптик доложил, что, по прогнозу американских метеоинститутов, циклон, все убыстряя бег, пройдет западнее острова Ян-Майен и через Датский пролив, между Гренландией и Исландией, прорвется в Западную Атлантику, к американскому материку. В связи с этим все суда, находящиеся на трассе циклона, получают штормовые предупреждения и рекомендации, куда уйти, чтобы избежать встречи с бурей. Рыбацкому промыслу юго-восточнее Ян-Майена, по-видимому, ничего не грозит.

Вывод синоптиков подтверждала и московская радиограмма. Институт Прогнозов тоже считал, что циклон будет прижиматься к берегам Гренландии. Институт советовал суда, забравшиеся к пятнадцатому меридиану, увести к востоку за десятый, а еще лучше — за пятый меридиан.

— Какая скорость ветра в обводе циклона? — спросил Березов. — И какие перепады?

— В районе Гренландии сейчас свыше тридцати метров в секунду, но ветер продолжает расти. Дождь, мокрый снег. В центре — девятьсот семьдесят миллибар. У нас пока 1050.

— Там уже двенадцать баллов, а буря лишь разворачивается! — Березов покачал головой. — Давно не слыхал о таких перепадах! Как будем с промыслом?

Флагманы полагали, что оснований для паники нет, промысел надо продолжать. В «Океанрыбе», где следили за метеообстановкой в Северной Атлантике, поводов для беспокойства тоже не видели: управляющий трестом поздравлял с досрочным завершением плана месяца, надеялся на крупное перевыполнение.

— Итак, промысел продолжаем, — разюмировал Березов общее мнение. — А промысловиков предупредим, чтобы запасались топливом, строже следили за трюмами и палубой.

Флагманы разошлись по судам, Луконина Березов задержал. Луконин вторую неделю возился с СРТ «Хариусом»: неловко отвернувший встречный траулер продырявил «Хариусу» борт, причинил повреждения в машинном отделении. Пробоину в борту Луконин заделал надежно, но с двигателем было хуже: самостоятельный ход траулер восстановил, но прежней скорости не добирал. И когда Березов стал расспрашивать, как дела на пострадавшем траулере, Луконин лишь молча развел руками.

— Ты понимаешь, чего я боюсь, Василий Васильевич?

— Да, — ответил Луконин.

— Нет, я не о буре. Прогнозы, сам слышал, благоприятные, так что не о буре речь. Но представь себе просто сильный шторм, обычную здесь осеннюю чертопляску баллов на девять-десять. На плаву «Хариус» в промысловые дни держится прилично, а против сильного ветра не выгребет.

— Не выгребет, — согласился Луконин.

— Значит, надо снять его с промысла. И отвести куда-нибудь отремонтироваться, раз сами хорошего ремонта обеспечить здесь не можем...

Луконин вопросительно поднял брови.

— Торсхавн?

— Куда же еще? И сделать это должен ты. Одного такого инвалида посылать опасно. Но и тебя надолго с промысла отпускать не могу.

— Одна нога — к Фарерам, другая — обратно к Ян-Майену, — сказал Луконин, улыбаясь.

— Точно. Когда сможешь выйти?

— Когда надо?

— Сейчас.

— Могу. Дай распоряжение «Хариусу».

Еще сутки прошли, заполненные промысловой работой. Циклон продолжал нестись на юго-запад. И Москва, и Вашингтон прогнозировали точно — ураган обрушился на гранитные берега Гренландии, он ломал ледяные горы, перебулгачивал пустынные фиорды. Метеостанция на Ян-Майене доносила, что острову тоже достается, но центр бури промчался западнее. С промысла снялась в порт «Печора»: последние дни шла обильная рыба, и морозильные камеры свежей сельди, и емкости бочкового товара были заполнены доверху. С уходом «холодной» базы на промысле не оставалось рефрижераторного судна: Березов приказал всем траулерам рыбу засаливать.

На другой день Березов, стоя на мостике, ждал послеобеденной сводки — предсказанного поворота циклона на юго-запад, к берегам Америки.

С полудня в море прибывала зыбь, безветренные волны с тихим рычанием набрасывались на борта плавбазы. У носового трюма разгружался «Звенигор» Бродиса; дожидался очереди «Коршун» Никишина, у кормового трюма стояла «Березань» Новожилова, за ней «Ока» Петренко. Березов переводил бинокль с траулера на траулер. У Петренко были заставлены бочками шкафут и полубак, трюмы он не раскрывал, но Березов знал, по предварительной сводке по радио, что трюмы «Оки» полны — Иван Петренко был из тех капитанов, кто не побежит на сдачу, когда есть хоть крохотная, свободная емкость и местечко для нее на судне. У Никишина вытаскивали из полного трюма бочки, главная палуба и полубак в два слоя были забиты ими — этот славился быстротой разгрузки, подготовка к сдаче начиналась у него не на подходе к базе, а при выходе из рабочего квадрата — долгих отдыхов и «травли» по кубрикам энергичный капитан не признавал. Зато на «Звенигоре» и «Оке», хотя бочек на палубе тоже хватало, людей не было видно. «Поменялись кинофильмами и прокручивают, пока другие разгружаются», — подумал о них Березов. Капитану, вышедшему из штурманской, Березов показал на промысловиков.

— Трудно без «Печоры», Андрей Христофорович. Будем вспоминать времена, когда главной помехой в добыче рыбы были мы, приемщики.

Трофимовский, отличный хозяйственник, сам проделывающий экономические расчеты — умение такое считалось у капитанов редчайшим даром, — уныло вздохнул. Старые времена, когда промысловым судам приходилось по неделе, по две простаивать в очередях на разгрузку, конечно, уже не вернутся, баз теперь много на флоте. «Печора» ушла в порт, а из порта на днях выйдут в океан «Онега» и «Комсомолец». Но пока они не появятся на промысле, попыхтеть придется.

Солнце опустилось на воду, запад ярко сиял: от места, куда обрушилось солнце, вздымались тонкие перистые облака. И небо, весь день нежное и голубое, потеряло свою томную голубизну, в нем появилась густая краснота, к северу и югу оно отливало коричневым. Небо не погасало, а меняло цвет — и даже на востоке, где давно уже пора было народиться темноте, оставалось таким же светящимся.

— Что вас заинтересовало, Николай Николаевич? — спросил Трофимовский, заметивший, с каким удивлением Березов рассматривал небосвод.

Березов со смешком ответил, не отрываясь от заката:

— Если бы мы находились не в Арктике, а в тропиках, я сказал бы, что на нас движется тайфун. И яркий закат, и толчея на воде... Лишь черного летящего облачка не хватает, и впечатление такое, будто вот-вот оно вынырнет из-за горизонта!

— Небо грозное. — Трофимовский обводил глазами небосвод. — Знаете, если бы мы по старинке, без сводок по радио, без метеопрогнозов, по одним приметам вели суда, я бы сейчас приказал все задраивать и занайтовывать...

Из штурманской выскочил обеспокоенный вахтенный штурман: давление вдруг стало падать. Березов с капитаном заторопились в рубку. Перо на барографе валилось вниз. Березов вызвал по спикеру синоптика, тот запаздывал с вечерней картой погоды. Синоптик вошел в рубку, когда Березов бросил микрофон. В руках синоптика была еще пахнущая краской карта.

— Да что случилось? — крикнул Березов, выхватывая карту. — Повернул на юго-запад твой проклятый циклон?

— Повернул на восток. Циклон прорывается не в Датский пролив, а между Ян-Майеном и Исландией. Скоро он обрушится на наши суда.

Березов, ошеломленный, выглянул в иллюминатор на запад. На ярком, красно-коричневом небе, над самой линией горизонта, быстро ширилось черное облачко — то самое, которое он предсказывал.

10

Впоследствии и простые рыбаки, перештормовавшие жестокую бурю, и ученые метеорологических институтов, и различные следственные комиссии, и тем более Березов с руководителями промысла не раз, задавали себе вопрос — почему циклон так неожиданно и катастрофически изменил направление. И на этот простой и такой бесконечно важный вопрос никто не мог дать удовлетворительного ответа. Движение циклона наблюдали с самолетов, анализировали метеозондами, данные наблюдений вводились в электронные машины, все результаты сводились к одному — путь буре через Датский пролив к Америке. А циклон, даже не заметавшись в разные стороны, как бы нащупывая лучшую дорогу, что часто происходило при поворотах бурь, разом бросился на северные берега Европы. И весь рыбацкий флот, промышлявший южнее Ян-Майена, оказался на магистральном морском шоссе урагана, самого свирепого за последние десять лет в Атлантике, как потом установили.

В часы, что еще оставались до бури, Березову было не до раздумий и анализов. Надо было срочно готовить флот к борьбе с ураганом. С этой минуты и до часа, когда буря умчалась дальше на восток, Березов уже почти не выходил из радиорубки. Его уже не было на судне, он весь был в эфире — командовал, выслушивал, требовал ответа, кричал, упрашивал, приходил в отчаяние, снова командовал. Открытый для всех шестнадцатый радиоканал наполняли выкрики и вопросы, суда перекликались и переговаривались, кто ругался, кто звал на помощь, кто сообщал, что обошелся без помощи, — Березов слушал всех, он был со всеми.

И первым, что он властно потребовал от капитанов, было приведение судов в штормовую готовность. «Аврал, немедля!»— прокричал он на открытой для всех частоте.

Вторым распоряжением он вызвал к аппарату Луконина. «Резвый» с «Хариусом» на буксире подходили к Фарерам, до Торсхавна оставалось не больше трех часов хода.

— Дойдет он сам? — запросил Березов. — Ответьте, может он часов за шесть добраться сам? Если может, немедленно отдавайте буксирный трос и поскачите сюда, Василий Васильевич. Нужны вы будете здесь, очень нужны!

Луконин несколько минут молчал в эфире — совещался с капитаном «Хариуса». Тот без спора согласился расстаться с буксиром: море у Фарер спокойное, встречаются местные рыбацкие суда, машина работает без перебоев — доберемся и сами в укрытие.

— Иду назад! — доложил Луконин, и Березов вздохнул с облегчением: ненадежное судно вывели из района ожидаемой бури, за него можно не беспокоиться. — Сообщите, когда доберетесь в Торсхавн! — приказал Березов капитану «Хариуса». Луконин отключился, и прошло несколько часов, прежде чем Березов снова вызвал его на связь.

Теперь, когда неотложные распоряжения были сделаны, оставалось ждать. Березов вышел наружу. И тот единственный раз, когда он на полчаса выбрался на мостик, совпал с первым ударом бури. Черное облачко, возникшее на горизонте, захватило половину неба, на одной половине небосвода наступила ночь, на другой еще сиял вечер и тускло перемигивались звезды. А затем в вантах засвистел ветер и хлынул дождь. Березов отскочил под навес, кто-то подал ему прорезиненный плащ, что-то проговорил, он натянул плащ на плечи, не видя, кто подает, не слыша, что говорят.

«Коршун» Никишина и «Ока» Петренко, не дождавшись своей очереди, отошли от плавбазы. Березов увидел в бинокль, что на палубах снуют матросы, убирая в трюмы выставленные наружу бочки и занайтовывая наверху то, что нельзя было упрятать. Два траулера, успевшие разгрузиться, отвалили от причалов, на палубах было чисто, команды энергично задраивали трюмы, одна лючина за другой валились на горловины. Первый траулер отошел сразу, второго усилившееся волнение прижимало к правому борту «Тунца». Тогда сама плавбаза забила винтом и отошла от суденышка, а оно рванулось вперед и выскочило из-под высокого носового подзора «Тунца» в свободное пространство. На плавбазе зажглись огни, кругом засверкали промысловые суда. И плавбаза, и траулеры перестраивались носом на запад — ураган, как врага, надо было встречать грудью. Взорвалась молния, с неба низринулся гром, но грохот его был перекрыт ревом осатаневшего ветра.

Ветер нарастал с ужасающей быстротой. Впоследствии, изучая, как рушилось давление на лентах барографов, как близко валились одна на другую черные линии изобар на синоптических картах районов бедствия, следственные комиссии приходили к выводу, что все происходило закономерно, только это и могло произойти — давление за час падало на десять миллибар, ветер рос соответственно: вся атмосфера, как лавина, понесшаяся с горы, низверглась во внезапно образовавшуюся в ней воронку разрежения. Буря неминуемо должна была быть быстро нарастающей и мощной, таков был потом справедливый вывод. Она была, несмотря на все заблаговременно полученные штормовые предупреждения, ошеломляюще внезапной, таково было ощущение рыбаков, спешно поворачивающих свои суда на ветер.

И еще не успел Березов уйти с мостика в радиорубку, как волны стали долетать до фальшборта. Они не были просто огромны, огромным волнам Березов бы не удивился, он повидал много бурь на своем веку. Каждая следующая волна была мощнее предыдущей. Фальшборт плавбазы метров на восемь поднимался над водой, но валы уже вторгались на палубу. Мостик, на котором стоял Березов, был еще метров на семь выше, но и сюда, на пятнадцатиметровую высоту, долетали брызги.

На палубе «Тунца» не было ни души, бочки в стензелях закреплены цепями, люки задраены, массивные концы подняты и занайтовлены тросами, лебедки закрыты, все, что могло подвинуться, пошатнуться, покачнуться — убрано. «Молодцы!» — подумал рассеянно о команде плавбазы Березов и больше о ней не думал всю ночную бурю: суда в двадцать тысяч тонн водоизмещения с пятью тысячами лошадиных сил в машине не по зубам и грозному урагану. Все его мысли были с промысловиками, почти пятьдесят суденышек штормовало сейчас вокруг плавбазы в черном океане — железные скорлупки по пятьсот тонн водоизмещения, по триста сил в двигателе...

Березова бросало то направо, то налево, а когда судно лезло на волну, швыряло назад. «Черт! — выругался Березов. — Руки что ли слабеть стали!» Не выпуская поручней, он выбрался в ходовую рубку. Прибор показывал крен до тридцати градусов, на развертке локатора вспыхивали острыми точками промысловые суда. Березов заглянул к штурману. В штурманской рубке над картой склонились Трофимовский, старпом и все три штурмана.

— Дайте-ка и мне одну карту, — попросил Березов и ушел в радиорубку.

Он спросил радиста, нет ли чего нового? За вахтенного радиста, занятого выслушиванием эфира, ответил сидевший рядом начальник радиостанции. Новостей нет. Суда усиливают штормовую безопасность, держат носом на волну. Березов вынул утреннюю сводку — дислокацию флота с координатами судов и стал переносить их на карту. Каждый траулер обозначался точкой с номером судна. За день многие суда меняли свои координаты, но далеко от утренних мест уйти не могли. Семь судов, толпившихся у плавбазы и пропавших сейчас в бурной мгле, он обозначил большим кружком с номерами по окружности: они были где-то поблизости. Только для спасателя, повернутого от Фарер к Ян-Майену, он не смог обозначить местонахождение. Березов нанес лишь точку поворота «Резвого».

После этого он сел в массивное вращающееся кресло. Все, что можно сделать, сделано. Придут новые сообщения, придет время снова действовать. Сообщений не было. Трофимовский держал базу носом на волну, но ветер менял направление по часовой стрелке, поднятые им валы изгибались веерами, били то в правую, то в левую скулу. Временами крен становился таким сильным, что Березов хватался за подлокотники, изо всей мочи прижимался к спинке кресла, чтобы не вывалиться на пол. От грохота ветра даже в рубке было трудно говорить, тело уставало от этого непрерывного грома, как от ударов. Иногда Березов, раскрывая глаза, смотрел в задраенный иллюминатор. За окном простиралась ночь, свергнувшаяся в океан раньше времени. В черной ночи, когда плавбаза кренилась влево, Березов видел океан, белый от пены. «Метров тридцать пять, тридцать шесть в секунду! — размышлял Березов. — Вот же ветерок, еще, пожалуй, до тридцати восьми наберется». Лишь на следующий день Березов узнал, что ветер южнее Ян-Майена достигал сорока пяти метров в секунду.

Успокоительно тикала морзянка. Радист не снимал наушников. Березов не видел его лица, но было что-то спокойное в том, как он сидел. У рации изогнулся начальник радиостанции, он вращал регуляторы, переключаясь с частоты на частоту и снова возвращаясь на шестнадцатый канал. Его лицо Березов видел хорошо. Лицо начальника радиостанции было спокойно. Чрезвычайных происшествий не было.

— Опроси-ка флагманов, как дела на флотилиях, — приказал Березов второму радисту. — Похоже, они забыли, что я еще существую и что мне надо периодически докладываться.

Радист выстучал приказ. Один за другим флагманы выходили на связь. Флотилии штормовали благополучно. «Подготовку к буре завершили до ветра, теперь держим на волну», — бодро докладывали флагманы.

Березов закрыл глаза. Яркий свет заливал приборы, свет мешал Березову сосредоточиться. Вокруг него надрывался беснующийся океан. Крохотное, отмеченное во тьме лишь ходовыми огнями, суденышко грудью держало на ветер, его сшибало, швыряло, несло назад — оно упрямо пробивалось вперед. Березов стоял в рубке траулера, всматривался в стекло, оборачивался на кренометр, сам хватался за штурвал, помогая рулевому быстрей выйти на курс. Их было много, небольших суденышек, затерянных в бурной мгле. Березов перебегал с одного на другое, все были одинаковы и каждое — особое, надо было побывать на каждом, ко всем пристально — присмотреться — все ли там благополучно? Березов видел их все вместе и поодиночке.

И он думал о том, что на траулерах последнего выпуска на трюмах высокие комингсы и лючины задраиваются крепко, закладываются стальными шинами, черта с два буря сорвет такое крепление. А на первых, послевоенных траулерах — ах, каким же они тогда казались совершенством морской техники! — комингсов нет и крепление трюмов — простые барашки, тоже сталь, конечно, воде она не под силу, но тяжелого удара они, пожалуй, не выдержат. И машины на тех старых, по восемь, по десять лет плавающих судах тоже послабее, триста лошадей на валу, всего триста, а у новеньких — четыреста — прибавка немаловажная.

Березов с закрытыми глазами, мысленно перебираясь с траулера на траулер, с отчетливостью видел, как по разному ведут они себя на волне, все одинаково шли на нее грудью, но одних она отшвыривала легче, те захлебывались, их до самой рубки накрывало волнами, другие держались уверенней, эти упрямо взбирались на гребень вала, разрезали форштевенем пенный обрушивающийся козырек. За них можно не беспокоиться, они выдюжат, думал Березов. И снова он возвращался быстрым, отчетливым воображением к судам постарше, тревожился о них, пытливо всматривался — как они там?

— SOS! — закричал радист. — Кто-то терпит бедствие! Березов метнулся к рации. Плавбазу положило на левый борт, Березов повалился на радиста, тот еле удержал его. Второй радист лихорадочно вертел регуляторами, улучшая слышимость. Канал был пуст.

— Да кто терпит бедствие, кто? — крикнул Березов. — Отвечай немедленно — кто?

Радист предостерегающе поднял руку. Передача ключом возобновилась. Радист повторял вслух:

— ...Сорвало лючины... Волна наполняет трюмы... Передача прервалась так же внезапно, как началась. Несколько секунд тишина в рубке нарушалась лишь ревом ветра снаружи. Потом сквозь шумы в эфире прорвался чей-то далекий голос, который прокричал конец неуслышанной фразы: «...помощи поскорей!» — и снова наступило молчание.

Березов немного подождал, не повторится ли призыв о помощи, потом крикнул в микрофон:

— Товарищи, кто это был? Кто знает, сообщите!

В эфире зазвучали голоса, они перебивали друг друга, сталкивались, спорили — все суда приняли отчаянный призыв терпящего бедствие товарища:

— Никишин! — Да нет, не Никишин. — Я с Никишиным недавно разговаривал, он бежит на юг. Новожилов это, у него смыло сети. — Я Новожилов, сети смыло, верно, в остальном ничего, штормую. — Никишин, отзовись, Никишин! — Николай Николаевич, говорит Петренко, это Бродис. Бродис это, голос на него похож. — Бродис, ответьте флагману, как у вас, прием. — Я Никишин, я Никишин, у меня все в порядке, штормую без потерь. — На связи Бродис, что там за паника насчет меня? Это же был Доброхотов, Доброхотов это, его голос!

В рубку вошел взволнованный Трофимовский.

— Слышал? — спросил Березов. — Кто-то терпит бедствие, а кто — не понять. Как на локаторе?

— Обозрению мешают волны, но все, кто показывался в развертке остались, — ответил Трофимовский. — В радиусе пятидесяти миль никто не исчез.

Березов с минуту раздумывал. В районе, очерченном пятьюдесятью милями от плавбазы, штормовал практически весь флот. На севере, на новых рабочих квадратах, куда перемещался промысел, за пределами пятидесяти миль траулеров быть не должно, да и буря шла оттуда, она гнала суда на юго-восток, ближе к плавбазе. На юге, за электронным обзором, оставались суда, подчищавшие уже обработанные квадраты, их было немного. Несчастье могло произойти и с теми, кто попадал в развертку локатора, и с теми, кто оказался вне локаторного поля. Березов поглядел на свою карту, она вся была густо усеяна номерами штормующих судов, они разбрасывались на полтораста миль по меридиану, почти на сотню миль по параллели — с кем произошла беда?

— Опросить весь флот! — приказал Березов радисту. — Всем капитанам отвечать по флотилиям, кратко — кто, где, в каком состоянии. — А ты, — сказал он Трофимовскому, — поставь одного из штурманов у второго локатора — не отрываться, следить, кто как штормует, куда несет... И дай пеленг, чтобы определялись по плавбазе.

Трофимовский удалился в штурманскую. Аппарат выстукивал ответы: капитаны сообщали, как дела, где они сейчас — скорей по собственному соображению, чем по пеленгу, — и нужна ли помощь. Минута шла за минутой, количество опрошенных судов умножалось, ни один, кого вызывали флагманы, не молчал — борьба с бурей у всех шла благополучно. Березов все с большим недоумением всматривался в карту, он начинал думать, что судно, запросившее помощи, не из их флота. Правда, в районе промысла, слишком далеком от морских трасс и традиционных мест рыболовства, других, не «Океанрыбы», судов еще не было ни одного, но не исключено, что буря подхватила какой-то пароход и гонит его издалека. И Березов прикидывал: если незнакомец еще на плаву, он вскоре появится в локаторе, и тогда можно будет организовать помощь, даже если радиостанция у них отказала — погнать плавбазу навстречу чужому электронному пятнышку, засветившемуся среди своих.

Сомнения Березова прервал голос радиста:

— Есть! Есть! Передает Карнович. Он принял повторный сигнал бедствия.

И тут же из приемника вынеслись взволнованные голоса, штормующие суда запрашивали, у кого бедствие и куда идти на помощь. Все приняли сообщение «Бирюзы».

— Опять передает Карнович, — быстро говорит радист. — Он принял SOS, очень слабый, отчетливы только слова: «...нуждаюсь срочной помощи!»

— Почему услышал Карнович, а не вы? — возмущенно крикнул Березов. — На что тогда ваши аппараты?

В разноголосицу голосов в эфире ворвался яростный вопль Карновича:

— Николай Николаевич, да заткните им всем!.. — Карнович бешено выругался. — Слушать мешают!

— Всем уйти с частоты! — распорядился Березов. — Только слушать, кто терпит бедствие, и докладывать мне на ключе.

И еще несколько минут прошли в молчании и это были, вероятно, самые томительные минуты во всей нелегкой жизни Березова. А потом опять зазвучал взволнованный голос Карновича:

— Вижу судно, погружается кормой. Кабельтовых пять от меня. Иду на помощь.

— Сынок, сынок, помоги! — закричал Березов, спазма вдруг перехватила его горло. — Помоги скорей!

И тут же, овладев собой, снова становясь тем уверенным четким командиром, каким единственно и знали его на флоте, Березов отдал приказание всем судам, штормующим неподалеку от Карновича, запеленговать «Бирюзу» и срочно, не взирая ни на какие собственные трудности, идти к ней. Радист повторил его приказ радиограммой.

Внезапно усилившийся крен так резко швырнул Березова, что он налетел на столик. Не успел он подняться, как обратный крен бросил Березова на дверь. Второй радист вылетел из кресла. В радиорубку быстро вошел Трофимовский.

— Повернул, да? — спросил Березов, хватаясь за скобу на щите с, приборами. — Лагом пойдешь? А куда пойдешь?

Трофимовский показал на северо-восточный край промысла.

— Искать его, всего вероятней, здесь. Если понадоблюсь, я в ходовой рубке.

11

Борис Андреевич Доброхотов проштормовал в своей жизни не одну бурю. Предупреждение с «Тунца», что ураган изменил направление, пришло во время выборки порядка. Всего было вытравлено сто тридцать сетей, семьдесят успели возвратить на палубу, остальные с богатым уловом еще находились за бортом.

Доброхотов кинулся к барографу. Стрелка самописца тянула крутую линию вниз. Доброхотов выскочил на правое крыло. В суматохе выборки улова он некоторое время не следил за океаном. Его поразило зловещее изменение, совершившееся с небом за несколько минут: весь этот день ясное, успокоенно томное, оно внезапно стало буро-коричневым, по багровому фону струились красные полосы, а в точке, куда упало солнце, быстро росло черное облако.

Зрелище диковинного заката напомнило Березову о тропических тайфунах. Доброхотов не раз попадал в эти бури, когда служил в торговом флоте на Тихом океане. И его тоже удивил схожесть признаков. Несомненно было, что надвигается ураган. В штормовом предупреждении так и говорилось: «Циклон с ураганной силой ветра». Не было года, чтобы Доброхотов не попадал в ураганы, в иные зимы они налетали по три в месяц — это был зверь опасный, но хорошо изученный. С ним не следовало панибратствовать, но траулеры послевоенной постройки, идеально приспособленные для борьбы со стихией, успешно противостояли самым сильным ураганам.

— Предстоит ночка сегодня! — хмуро сказал Доброхотов вышедшим на мостик старпому Самохину и стармеху Шмыгову. — Будешь стегать кнутом все триста своих лошадей в машине, — добавил он Шмыгову. — И вам достанется, — предупредил он Самохина.

Старпом промолчал. Молодой моряк, недавно получивший диплом штурмана дальнего плавания, он аккуратно вырабатывал ценз на капитана и предпочитал, не суясь со своим мнением, выслушивать товарищей постарше и поопытней — властный Доброхотов ограничил свое общение с ним тем, что отдавал старпому приказы и с придиркой проверял выполнение. А со стармехом любил советоваться. Шмыгов редкостно чувствовал море. Он угадывал погоду лучше синоптиков, имевших перед собой карты и сводки перемещений воздуха и воды в атмосфере. «Море надо понюхать, прищуриться на него, подставить щеку ветерочку — и все ясно!» — говаривал он и удивлялся, если слова его воспринимались как хвастовство или парадокс.

— Штука идет серьезная. — Стармех с сомнением оглядывал небо. — Выборку надо прекращать.

— О выборке и думать нельзя, но как с порядком?

— Рубить, что осталось за бортом, Борис Андреевич!

Доброхотов поморщился. Шмыгов отвечал только за исправность машины, это накладывало отпечаток на его суждения. Море он понимал лучше, чем капитана на море. Ответственность капитана за судно часто казалась стармеху обузой, а не должностной обязанностью. Доброхотов живо вообразил себе, какие будет писать рапорты об отданных, пучине сетях и как станут у него вежливо интересоваться, так ли уж была грозна обстановка, что пришлось поспешно губить государственное добро? Вспомнил он, и как года два назад стоял на вожаке на полностью вытравленном порядке, и налетел шторм, и вдруг вышел из строя главный двигатель, и судно превратилось в игрушку волн — пришлось просить по радио помощи. В тот трудный день его «Ладога», может, лишь потому и проштормовала благополучно до прихода товарищей, что не обрубили вожак — траулер держался на порядке, как на якоре, его вывернуло носом к ветру, буря дико навалилась на потерявшее управление судно, но погубить не смогла. И Доброхотов решил:

— Затаривание приостановим, черт с ним, с остатком улова, а сети спасать надо.

Он распорядился аврально заканчивать выборку сетей, все забондаренные бочки майнать в незаполненный трюм, сколько войдет, а что не войдет, укладывать на шкафуте, накрывать брезентом, намертво принайтовывать тросами, а всю незатаренную сельдь в приемном ящике и ту, что еще вытрясут из сетей, — за борт.

Тралмастер с рыбмастером взмолились, им горько было отдавать пучине так нелегко добытое добро. Доброхотов резко оборвал их. Боцман с матросами поспешно натягивал на палубе штормовые леера, раздавал предохранительные пояса со страховочными линями. К рулю Доброхотов вызвал второго матроса, в большое волнение даже дюжий парень быстро уставал у штурвала. Капитан не сомневался, что, закончив штормовую подготовку, сумеет надежно противостоять летящей буре.

И, вероятно, так бы и было, если бы Доброхотов сумел, осуществить, что наметил. Но ураган налетел быстрей, чем рассчитал капитан.

Ветер засвистел в вантах. Над морем потемнело, хлынул дождь. И хотя ливень обычно несколько усмиряет волнение на воде, сейчас этого не произошло. Волны росли с необычной быстротой. Матросы продолжали выборку сетей, но работа становилась с каждой минутой опасней. Пока шла выборка, судно не могло держать носом на волну — вал за валом обрушивался через низкий фальшборт на палубу. Доброхотов, встревоженный, выскочил на мостик и прокричал в мегафон:

— Вожак рубить, живо!

Освобожденное от остатка сетей судно получило свободный ход. Доброхотов повернул траулер на волну и снова выскочил наружу. Палубные работы продолжались с лихорадочной быстротой, их нельзя было прекратить — и трюмы еще не были полностью задраены, и сети, вытащенные из моря, еще валялись горкой на палубе, их надо было поскорей сложить и увязать, и бочки, еще недостаточно закрепленные, всей горой пошатывались при крене. Доброхотов со страхом смотрел вперед: всего он мог ждать, но только не того, что не будет каких-то двадцати-тридцати минут, чтобы закончить приготовления. Зловещие пенные козырьки, первое свидетельство урагана, уже летели впереди вздымавшихся горами волн.

Доброхотов прокричал старпому, орудовавшему на палубе:

— Бочки валить за борт! Проверьте задрайку лючин!

Одна бочка за другой рушились в воду, палуба быстро очищалась. Даже не проверяя сам, по одному тому, как энергично матросы затягивали крепления трюмных досок, Доброхотов видел, что за трюмы можно не беспокоиться, воды они не наглотаются. Доброхотов повернулся было в рубку, но с палубы донесся крик старпома:

— Человек за бортом!

Доброхотов перегнулся на мостике. Волна ударила в скулу траулера и прокатилась по палубе, сшибая людей и расшвыривая бочки. Какая-то бочка перебила страховой линь боцмана. Боцмана, не успевшего схватиться за леер, смыло в море. Доброхотов крикнул в рубку, чтобы застопорили машину, снова наклонился над поручнями.

Он первый увидел в свете повернутой на море палубной люстры, как вынырнул на поверхность боцман, как он бьется на воде. Боцману метнули круг, затем другой, он не увидел ни одного. Доброхотов прокричал в мегафон, где ближайший спасательный круг. Резкий крен налево едва не вышвырнул капитана с мостика. Когда траулер стал выпрямляться, Доброхотов вторично прокричал, куда плыть. На этот раз боцман повернул к спасательному кругу. С палубы стали выбирать линь, подтягивая боцмана к судну. Доброхотов с мостика командовал спасением — и торопиться было нельзя, чтобы не оборвать спасательного троса, и медлить опасно: застопоривший машину траулер повернулся к буре бортом, безвольно мотался на волне.

И когда боцману остался до палубы с пяток метров, Доброхотов вдруг увидел, что на траулер надвигается чудовищная волна — гребень ее вздымался выше клотика. И уже не только летящий впереди козырек сверкал белизной, вся она, от вершины до основания, была бешено пенной. Быть может, впервые в Своей жизни охваченный паникой, Доброхотов понял, что если волна обрушится сбоку на топчущийся на месте траулер, то всем, кто суетится на палубе, придет конец — тонкие страховочные тросы не выдержат удара сотен тонн взбесившейся воды. Лишь поворот и движение могли спасти их. «Только не под волну!» — мелькнула смятенная мысль. Капитан вскочил в рубку, крикнул, чтоб дали «полный», сам, схватив штурвал, повернул судно навстречу валу. Траулер пошел на волну.

И Доброхотов, подскочивший к окну, увидел, как от резкого толчка разорвался трос, тянувший боцмана к судну, и боцман вмиг пропал в черной тьме позади. И еще одно увидел Доброхотов перед тем, как сам стал жертвой своего маневра. Траулер не сумел плавно взобраться по склону, он врезался носом в волну и, хоть и ослабленная, она накрыла судно. Перед Доброхотовым возник дымный, свирепо исторгавший протуберанцы гребень — вода ринулась на рубку, вышибая стекла и ломая приборы.

Доброхотов не услышал криков товарищей, разбросанных кто куда. Что-то врезалось ему в лицо, что-то ударило в челюсть — он потерял сознание. Очнулся он в салоне на скамье. Шмыгов держал его за голову, рыбмастер бинтовал лицо, бинты пропитывались кровью. Доброхотов хотел заговорить и не смог, нижняя челюсть была вывихнута. Он знаком показал, что прежде нужно вправить челюсть, а потом бинтовать, но стармех и рыбмастер не умели делать такой операции. Вошел старпом, капитан его попросил знаками сделать это. Старпому операция удалась, Доброхотов заговорил, но каждое слово причиняло ему острую боль.

— Что боцман? — простонал капитан. — Как люди?

Закрыв глаза, чтобы не глядеть на помощников, он выслушал сообщение, что боцмана найти не удалось. Люди на палубе уцелели и сейчас в укрытии. В рубке разрушения, рация, возможно, не работает — приема нет, неизвестно, идет ли передача. Никто в рубке не пострадал, за исключением самого Доброхотова — ему изрезало стеклом лицо и шваркнуло челюстью о корпус локатора.

— Положение грозное, — несмело высказал мнение молодой старпом. — Хоть бы была возможность информировать начальство, что с нами.

Доброхотов с усилием недобро усмехнулся.

— О чем информировать? Что поддались панике и загубили человека? Что не успели подготовиться к шторму? Еще будет время признаваться в просчетах... А положение судна пока терпимое, могло и хуже быть. — Он говорил уже свободно, только морщился от нестихавшей боли. Он обернулся к Шмыгову. — Сергей Севастьянович, тебе объяснять не надо. Сегодня мы все в твоих руках.

— Буду держать максимальные обороты, — пообещал стармех и ушел в машинное отделение.

У машины дежурил второй механик и моторист Костя, которого Шмыгов сам обучил и принял на судно. Костя машину знал хорошо, но океана побаивался. Он со страхом взглянул на сдустившегося Шмыгова. Даже грохот трех машин — главного и двух вспомогательных двигателей — не перекрывали шума, доносившегося сквозь стальные борта и переборки — рев бури и резко усилившаяся качка пугали парня.

— Держи голову выше, Костя! — сказал Шмыгов. — Не так страшен черт, как о себе докладывает. Темь, конечно, — глаз выколи. И дождь в темени. Сейчас самое время показать, чего стоит механослужба.

— Нашли Семена? — опросил второй механик. Шмыгов только махнул рукой.

Доброхотов в это время, молчаливый, подавленный, сидел в рубке на своем обычном месте — на поворотном стуле у правого крайнего окна. В радиоклетушке радист пытался починить отказавший передатчик. Он менял лампы, проверял и зачищал контакты, крутил регуляторы. Иногда прибор вдруг оживал, в радиорубку врывались громкие голоса — радист, поспешно переключаясь, пытался сам проникнуть в эфир, но рация также внезапно прекращала работу. Старпом с матросами заделывали фанерой выбитые стекла.

Уставясь неподвижными глазами на освещенную одной люстрой палубу — по ней, перекатывались толщи черной воды — Доброхотов думал все об одном: как получилось, что он сам способствовал гибели боцмана? И хоть он по-прежнему знал, что жертв, вероятно, было бы больше, если бы он дал волне всей мощью ударить на палубу, легче ему не становилось. Он спас нескольких ценой гибели одного — цена была недопустима! Столько было трудных минут в его долгой морской жизни, никто не мог упрекнуть его в трусости или невежестве. Что скажут о нем сейчас? Что он сам о себе должен сказать?

И горестные эти мысли так поглощали Доброхотова, они непрерывно порождали в душе такое страдание, что, когда в рубке вдруг появился хмурый Шмыгов и капитан понял, что совершилось новое несчастье, он не вскочил, не испугался, только осведомился:

— Ну, чего у тебя?

— Течь, — сказал стармех. — Во втором трюме полно воды. Повреждена переборка в машинное отделение, нас тоже заливает. Запущены все помпы — вода не прибывает, но и не убавляется.

Доброхотов с минуту размышлял. Беда одна не ходит. Шальные ли бочки, покатившиеся по палубе, повредили лючины, другие ли причины, сейчас безразлично — важен факт: боцман погиб, рация отказала, траулер нахлебывается воды. Подавленность Доброхотова превратилась в бессилие. Он знал, что надо что-то немедленно делать, и надо делать ему, не перекладывая ответственности на других, но он не мог придумать, какую отдать команду, не находил в себе сил даже встать, а нужно было немедля вскочить и, побежать вниз посмотреть, так ли уж грозна новая опасность. И по тому, с каким недоумением глядели на него Шмыгов и вахтенный штурман, Доброхотов смутно соображал, что помощники поражены внезапным превращением решительного, властного капитана в безвольного человека и что он должен переломить себя и снова стать прежним, иначе будет совсем уж плохо.

Но он нашел в себе силы только на новый вопрос:

— Что советуешь, Сергей Севастьянович?

Шмыгов помедлил — вероятно, впервые произносил такие слова:

— Помощи надо запрашивать, Борис Андреевич. Сами не справимся.

Доброхотов слез со стула, вошел в радиорубку. Качка была такой, что радист левой рукой держался за скобу, а работал одной правой. Доброхотов сказал с горечью — он еле сам услышал свои слова, так усилился грохот бури:

— Два передатчика у нас и на тебе — оба!.. Радист все же услышал и прокричал:

— В «Ерше» повреждения крупные, быстро не починить. А на аварийном контакты забарахлили, то работают, то отказывают... Толчки, Борис Андреевич, провода рвутся.

— Течь в трюме и машинном отделении, — сказал Доброхотов. — Надо просить помощи. — Он сделал новое усилие и сказал Шмыгову: — Я спущусь проверить крышки трюмов. Как-нибудь заделаем повреждения...

Шмыгов посмотрел в стекло. Вахтенный штурман держал судно на волну, два рулевых с трудом вращали штурвал, с такой мощью буря рвала его. Выход на нижнюю палубу был опасен — операция не для раненого капитана. Шмыгов сказал, что пойдет с Самохиным, возьмут для страховки матросов покрепче, а Доброхотову лучше оставаться в рубке. Он говорил, словно капитаном стал сам, а Доброхотову лишь нужно исполнять его распоряжения. Доброхотов не спорил, он чувствовал, что пока не пришел в себя, так будет лучше.

И он снова уселся на поворотном стуле, то всматривался в освещенную люстрами палубу — на нее обрушивались пенные гребни валов, по ней перебегали, держась за леера, застрахованные тросами Шмыгов и Самохин с матросами, — то оборачивался к радиорубке. Сквозь неплотно пригнанную фанеру вторгалась буря, в легкие проникал не воздух, а воздушно-водяная смесь — Доброхотов ранами во рту болезненно ощущал соленый воздух. Радист то работал на ключе, то хватался за микрофон и, напрягая голос до крика, пытался ворваться в аварийный радиоканал:

— Я — «Ладога». Я — «Ладога». Терплю бедствие. Терплю бедствие. Нуждаюсь в срочной помощи. Отзовитесь! Прием.

Но приема не было, никто не отзывался. Доброхотов, понемногу отойдя от потрясения, думал о том, что из туго оплетенного узла несчастий выхода нет. Он ожидал новой беды. В том трюме, куда проникает вода, хранилась соль. В такую качку бочки не могло не разбить, соль не могла не просыпаться. А если бочки и не разобьет, то разворотит торопливо забондаренные крышки, этого наверняка не избежать. Соль сейчас смешивается с водой, осушительные помпы вскоре потянут не воду, а смесь воды с солью. И когда соль забьет трубы осушителей, траулеру придет конец. И надо будет думать уже не о том, чтобы бороться дальше за плавучесть судна, а только о последних, отчаянных мерах по спасению команды.

— Я — «Ладога», — отстукивал радист. — Терплю бедствие. Прием.

В рубке появился с трудом переводивший дыхание старпом. Повреждения были грознее, чем думали, — не только изломаны деревянные лючины на трюмной горловине, но и трещина появилась в трюме. Доброхотов снова прикрыл глаза, каменно молчал, покачиваясь на поворотном стуле. В нормальную погоду повреждения были не опасны — и лючины можно заменить, и на трещины в железных листах не так уж сложно наложить аварийные пластыри. В такую бурю и крохотное повреждение может обернуться катастрофой. Час бы относительного спокойствия, всего час — все удалось бы выправить, и «Ладога» с уверенностью противостояла бы буре. Если и есть у них еще час, то, может, лишь до гибели судна.

В рубку вбежал Шмыгов. Доброхотов вскочил со стула. Он и без объяснений знал, что несчастье, которое предвидел, совершилось.

— Помпы отказали, да?

Шмыгов кивнул головой. Он был очень бледен.

— Сколько даешь времени на сборы к Нептуну? Надо бы хоть чистые сорочки напялить.

Мрачная шутка капитана возвратила Шмыгову дар речи.

— С минуты на минуту остановятся вспомогачи, Борис Андреевич. А за ними — главный...

Доброхотов уже не раздумывал. Когда зальет главный двигатель, оседающее кормой судно станет безвольной мишенью для волн. И долго они с добычей церемониться не будут! Траулер надо было покидать.

И придя к такому решению, Доброхотов опять обрел и спокойствие, и утраченную было способность командовать. Он объявил шлюпочную тревогу, приказал экипажу выходить на ботдек в теплой одежде и спасательных нагрудниках. Стармеху велел прихватить побольше ветоши и бидоны с горючим, чтобы разжечь костер, приказал все буи, какие найдут, доставить наверх, связывать их, прикрепляться линями к связкам.

— Постараемся спустить шлюпки на воду, — сказал он помощникам. — Но в такую чертопогодину вряд ли удастся...

Он распоряжался спокойно, старался не забыть никакой мелочи, сейчас не представляющейся важной, но потом, в океане, на шлюпках или в воде, способной чем-то помочь. В архивах следственной комиссии, изучавшей впоследствии катастрофу у Ян-Майена, были приведены все последние распоряжения Доброхотова, и эксперты поражались их продуманности и полноте.

Он спустился к себе в каюту и взял портфель с судовыми документами — накладными, радиограммами, приказами по судну. В портфель он положил и судовой журнал, куда размашисто внес последнюю запись: «Оседаем кормой. Покидаем судно». Когда он прятал журнал, погас свет. Наверх Доброхотов выбирался ощупью.

На верхней палубе штурман с матросами разводил костер в чане из камбуза, закрепленного между железными предметами. Ветошь, плававшая в солярке, вспыхивала легко, но буря вырывала тряпье, огненные птицы выбивались из чана и уносились. Вся команда вышла наверх, не было лишь стармеха с мотористом. Шмыгов сказал, что не покинет машинного отделения, пока работает главный двигатель, и убежал вниз.

Радист, привязавшись к трубе, давал световую телеграмму азбукой Морзе. От батарейки, спрятанной в кармане, шли два проводочка, одни был закреплен на лампочке, другой радист периодически смыкал с цокольком. Длинные и короткие вспышки озаряли грудь радиста. Доброхотов с безнадежностью оглянулся. Гигантские валы сузили простор до крохотной долинки между их белыми, покрытыми словно пенящимся снегом, склонами. Радист, трижды повторив передачу светом в одну сторону, повернулся вокруг трубы и стал сигналить в другую.

Доброхотов, позвав матросов, попытался отдать шлюпки за борт. Он десятки раз проделывал эту операцию на маневрах и учебных тревогах, дважды она удавалась ему в шторм. Одна шлюпка была разбита о борт судна, чуть ее приспустили, со шлюпбалок, вторую унесло во тьму.

Все совершилось, как опасался Доброхотов. Теперь мог помочь лишь надувной плотик и буи, которые с лихорадочной поспешностью скреплялись по три и по четыре. Через нижнюю палубу уже свободно перекатывались валы, так она осела. К оседанию добавился крен направо. Медлить нельзя было ни минуты. Доброхотов приказал покидать судно.

И в этот момент из тьмы вынеслась зеленая ракета и веером искр рассыпалась в вышине. На секунду окаменев, почти не дыша, погибающие следили, как она мчалась и угасала. А за первой из черноты вырвалась вторая, за ней третья...

У Доброхотова подогнулись ноги, он опустился на палубу, прижался лицом к аварийному лазу из машинного отделения. Даже надвигающаяся гибель не так потрясла его, как эта внезапно появившаяся помощь.

12

Капитан «Коршуна» Корней Прохорович Никишин, уходя от «Тунца», преследовал цель разумную и ясную. Буря надвигалась с северо-запада, «Коршун» удирал от нее на юг, отдаляя время встречи. А каждый час, выигранный до бури, даже каждая спокойная минута были важны Никишину: на палубе «Коршуна» громоздились вынутые из трюмов бочки с рыбой, он не собирался выбрасывать добычу вместе с тарой в море.

И получив сообщение, что приемка рыбы на плавбазе отменяется в связи с приближающимся циклоном, Никишин сразу выскочил из группки судов, где в ожидании провел почти сутки, и во всю прыть винта припустил по глянцевито-спокойной воде. На сдачу было доставлено семьдесят тонн отлично засоленной, аккуратно прошкеренной сельди, она вся шла высшим сортом — и до последней тонны должна была быть сохранена.

Никишин вызвал на аврал команду, отпустил в помощь и рулевого — у штурвала встал вахтенный штурман. Трюмы наполнялись быстро, быстро очищалась палуба. Но ураган приближался быстрей.

И первым, что серьезно смутило Никишина, была возникшая вдруг крупная беспорядочная зыбь. Волны, появившиеся в полном безветрии, метались то вперед, то назад, то вправо, то влево — и они были слишком крупны.

— Толчея, как перед бухгалтерией «Океанрыбы», — сказал Никишин вахтенному штурману, и тот захохотал остроте капитана.

Ветер засвистел, когда команда укладывала лючины на комингсы трюмов, набрасывала и закрепляла на них брезент. Хлынул дождь, ясный вечер превратился в ночь. Никишин засветил обе люстры, сверху наблюдал за авральной приборкой. Всех бочек в трюмы не уместили, с сотню еще осталось на палубе.

— А всю бы остальную компанию за борт! — с волнением сказал штурман, передавая штурвал вернувшемуся матросу. — Боюсь, ветер налетит страшный!

— Ветерок накатывается правильный! — согласился капитан. — Но чтобы недельную работу за борт — ерунда! Год потом отчитывайся! На фига нам такая самодеятельность?

— Как же с бочками?

— Аккуратненько уложим, накроем брезентом, принайтуем, чтобы никакому ветру не по зубам... Не впервой!

Никишин спустился вниз, сам проверил, хорошо ли размещены бочки, плотно ли натянут на них брезент, надежна ли найтовка, прочны ли штормовые леера. Все было в порядке, ничто не вызывало сомнений. Никишин спустился в салон, с аппетитом поел, побалагурил с командой, усевшейся после аврала на палубе смотреть кинокартину, — все в голос требовали, чтоб из кинозапасов, хранившихся у старпома, выбрали комедию посмешней. Никишину нравилось веселое настроение команды, в часы испытаний было хорошо и то, что собрались в салоне гурьбой, а не разбрелись по кубрикам и каютам; и что шуточки и смех, никто не прислушивается особенно к грохоту бури, а если кто очень уж показывает боязнь, над ним подшучивают, и он мигом подтягивается; и особенно важно, что комедия сохранит бодрое настроение и люди, посмеиваясь над героями на экране, чудно отдохнут, отдых сейчас самое важное — неизвестно еще, какие усилия потребуются...

Когда Никишин возвратился в рубку, вид океана поразил его. Ураган мчался слишком стремительно, с таким Никишин еще не знался. На экране локатора изображения соседних судов путались с сигналами, отраженными от валов, по развертке шастали «электронные духи».

«Бегство на юг» Никишин прекратил при первых же налетах ветра, теперь оставалось только держать на волну. Вахтенный третий штурман — он был всех моложе в молодом экипаже — умело справлялся с курсом. Когда вздымался очередной вал с несущимся впереди пенным козырьком, траулер тяжело, рывками, как выбившаяся из сил, но честно тянущая лошадь, карабкался вверх по склону. И в эти секунды Никишина охватывало удивительное ощущение: он как бы сливался с судном в единое существо, всем телом наклонялся вперед, он как бы подталкивал траулер наверх усилиями собственных мышц. Гребень обрушивался на палубу, пенящаяся вода проносилась по судну, а траулер, вынырнувший из накрывшей волны, долгую минуту трепетал на перевале. Обнажившийся винт ускорял обороты, судно вибрировало каждым шпангоутом и переборкой, и вместе с ним вибрировало тело Никишина, зубы стучали — он крепче сжимал рот, чтоб оборвать этот отвратительный стук.

А затем нос траулера валился вниз — судно спускалось по гребню вала. Винт погружался в воду, разом обрывалась вибрация, прекращали стучать зубы. Траулер ухал в долинку между двумя валами — и опять начиналось восхождение по склону вала с несущимися впереди козырьками пены. И опять движение шло рывками, и Никишин, сливаясь с судном в одно полужелезное, полуживое целое, наклоном тела, сжимающимися мускулами, всем напряжением души старался помочь восхождению. Он уставал от этих усилий, как от тяжкой работы, но особой усталостью — в ней было удовлетворение, почти довольство: судно вело себя на волне отлично!

Второй штурман со старпомом уселись рядом с радистом, к ним временами присоединялся стармех. Радист «перебегал» с канала на канал, вслушиваясь в разговоры между судами, вылавливал распоряжения по флоту, сам отвечал на запросы. Дважды Никишина вызывали в радиорубку — «Тунец» передавал о сигнале бедствия от неизвестного судна, потом уточнил, что помощи просит Доброхотов, — Березов просил всех, кто поблизости, поспешить на помощь товарищу. Радист вопросительно посмотрел на Никишина, капитан лишь молчаливо развел руками — они были в противоположном районе промысла, слишком далеко от «Ладоги».

Борьба с океаном продолжалась та же, но Никишин воспринимал ее по-иному, чем до сообщения о Доброхотове: исчезла удовлетворенность от сопротивления судна ветру и волнам, теперь это было трудное испытание. Никишин сумрачно глядел в стекло — ураган был слишком жесток, «Ладога» его не переборола, и другие траулеры могут испытать бедствие, все может быть в такую бурю! Никишин зорко замечал все, что совершалось на палубе, и одновременно видел «Ладогу» — осевшую на фальшборт, со снесенными шлюпками, из последних сил стремящуюся повернуть на волну...

Он досадливо отгонял от себя мрачное видение — никто не знает, что реально происходит с «Ладогой». Но у Никишина было живое воображение, оно настойчиво подсовывало одни зловещие картины. Никишин выругался громко вслух. Штурман переспросил, что приказывает капитан?

Никишин не успел ответить. Он с испугом прижался лицом к стеклу. Бедствие надвигалось на его собственное судно. Траулер нырнул под гребень волны, очередные десятки тонн воды забесновались на полубаке. А когда волна схлынула, по палубе понеслись вырванные из-под брезента бочки с рыбой, оставленные на шкафуте.

Оцепеневший Никишин увидел, как они покатились вдоль фальшборта и, подброшенные ударом нового вала, ринулись с левого борта на правый и ухнули там в пучину. На их месте появились новые, их становилось больше. Ветер вначале разорвал лишь угол брезента, но каждая следующая волна сдирала брезент с горки бочек. Какая-то бочка ударилась в лебедку и разлетелась вдребезги, другую швырнуло на ящик над лебедкой, где были укрыты брезентом и увязаны тросами сети, — и Никишина охватил страх перед тем, что может вскоре произойти.

Он крикнул штурману поднять по тревоге экипаж, сам схватился за штурвал, стал поворачивать судно правым бортом к ветру. Он хотел хоть на время превратить ураган, свирепого противника, в деятельного помощника. Когда бочки окажутся под ветром, их при первом же крене налево смоет за борт. Важно было одно: прекратить их беспорядочный грозный танец на палубе.

Но Никишин только еще подбирал волну покрупнее, чтобы повернуть на ее вершине, как одна из бочек разнесла загородку и сети стало сносить за борт. Никишин ринулся вниз. Сети надо было втащить обратно на палубу, пока их не смыло полностью и пока — это всего больше страшило Никишина — они не намотались на винт. В проходе он увидел подготовленных к выходу людей, быстро надел спасательный пояс, закрепился тросом. Все это заняло не больше минуты, но и минуты было слишком много: когда Никишин с матросами добрался до лебедки, ветер вырывал из загородки последние метры сетей.

На освещенном пространстве моря тянулась цепочка ярких буев — конец сетного порядка заклинило в загородке, ветер, не вытащив сети полностью, длинным шлейфом расплескал их по воде. Траулер совершил поворот, обратный тому, что вначале хотел Никишин, он подставил буре левый борт — так было легче выбирать сети и меньше опасности намотки на винт.

Уже после первых попыток Никишин убедился, что ни спасти сети, ни быстро отдать, их за борт полностью не удастся. Он приказал рубить порядок, бегом кинулся в рубку. Спасение было теперь в маневрировании. «Не дать завернуть сети под корму, не дать завернуть сети под корму!» — только об этом думал Никишин. Он вывернул судно носом к сетям, сбросил ход, но ветер, швыряя траулер с борта на борт, по-прежнему надвигал его на сети.

После того как палубу освободили от обрубленного порядка, Никишину какое-то время казалось, что теперь-то можно бежать от опасного соседства. Содрогание, пронизавшее корпус судна, известило всех, что бегство не удалось. Сети завернуло под кормовой подзор, лопасти винта стали захлебываться в тенетах, с каждым оборотом наматывая их все больше. Никишин приказал застопорить машину. Буря развернула судно лагом, уже не десятки, сотни тонн воды обрушивались на палубу.

— Надо просить помощи, Корней Прохорыч! — сказал испуганный штурман.

— Успеется! — крикнул капитан, устремляясь вниз. — Еще поборемся сами!

В трудные минуты Никишина охватывало лихорадочное возбуждение, все в нем как бы ускорялось — и способность восприятия, и мысли, и движения, и речь. Опасность порождала в нем вспышку энергии, жажду действия. Он влетел в салон. Боцман спешно прикреплял к трехметровому древку длинный, как сабля, зубчатый нож, другие мастерили такие: же длинные багры.

— Будем резать намотку! — сказал Никишин. — Два раза я уже так оправлялся с намоткой, справимся и в третий.

Он говорил с уверенностью, но уверенности в нем не было. В те разы, когда, еще молодой промысловик, он дважды допускал намотку сетей на винт и дважды успешно отделывался от нее, бури не было, просто свежая погода баллов на пять-шесть. И ему не ко времени вспомнилось, как опытные капитаны ехидно поздравляли его с успехом: «Везет тебе, как этому... Ну, которому всегда везет!..» И тогда он сам спускался с ботдека на беседке рубить намотавшуюся сеть, сегодня о таком спуске нельзя было и думать — беседку мигом разнесет в клочья. Попытка, не спускаясь под подзор, сверху резать шлейф, тянувшийся от винта, была почти безнадежна, и если Никишин вызвал команду делать это, то лишь потому, что ничего не делать было еще хуже.

Он сам и боцман наклонились над кормой, остальные страховали их. Боцману удалось выловить багром сеть, ее потащили наверх, срывали с лопастей винта, но не сорвали. Никишин с боцманом стали резать сеть, сколько доставали вниз ножом на древке. Отрезанные сети уносило в море, но намотка на винте осталась. Была еще одна надежда, что остаток сетей излохматит лопастями винта при прокрутке и они слетят сами. Но сети были намотаны слишком плотно, винт не работал. Никишин возвратился в рубку. Штурман снова спросил, не дать ли сигнал бедствия. Никишин не успел ответить, его срочно вызвали в машинное отделение.

Там, по-настоящему подавленный, он услышал, что в трюмы поступает вода, и все осушительные помпы запущены. Никишин приказал радисту соединиться с Березовым. Пока радист вызывал «Тунца», мрачный Никишин не отрывался от стекла. Палуба «Коршуна» была наконец освобождена от всего лишнего, от всего, представляющего опасность — и от по принайтовленных бочек с уловом, и от столь же неудачно закрепленных сетей. Очистка произошла слишком поздно. Потерявшее ход судно стало мячиком в злых руках урагана, его куда-то несло, швыряло, мотало, немилосердно клало на оба борта. Горы воды бьют по палубе, даже крепчайший корпус долго не вынесет такой болтанки, а у них где-то щели, трещины, дыры, черт их знает что, но что-то такое, откуда проникает вода. И щели, и трещины или дыры в такую круговерть не отыскать и не заделать, и они сами собой не исчезнут и не уменьшатся, напротив, будут становиться больше и больше...

— Березов в эфире! — крикнул радист.

Никишин сдержанно доложил о бедствии, получил заверения, что помощь окажут, и вернулся в рулевую. Вахтенный штурман, слышавший разговор капитана с Березовым, спросил, не пора ли предупредить команду о возможной шлюпочной тревоге. Никишин согласился, что надо заняться подготовкой всех спасательных средств, все может быть в такую ночь.

— Мы еще поборемся, — сказал он угрюмо. — Нептун нас мотает, но мы на плаву. Скоро он нас не опрокинет, а помощь идет.

Его снова вызвали в машинное отделение, он пошел вниз.

13

В то время как «Тунец» пробивался сквозь ветер на северо-восток, где терпело бедствие пока неизвестное судно, в эфир выкликались один за другим капитаны траулеров, все отзывались, все торопливо, дорожа уже не минутами, а секундами, докладывали, что у них, и уступали радиочастоту соседу. Один Доброхотов не отозвался, радиостанция «Тунца» повторяла несколько раз призыв к нему — «Ладога» молчала. С «Тунца» опросили оставшиеся по списку невызванными суда, список исчерпали и стало ясно, что несчастье с «Ладогой». Это же подтвердил и Карнович, он снова внезапно прорвался в забитый переговорами эфир и прокричал, что гибнущий траулер «Ладога» и что все на «Бирюзе», кроме механослужбы и рулевого, выходят на спасение товарищей, — и замолк надолго. Березов склонился над своей картой. Трофимовский правильно выбрал курс, плавбаза шла именно туда, где, по расчету, и должен был находиться Доброхотов. Это же направление подтверждал и пеленг на «Бирюзу».

База шла лагом к ветру, бортовая качка была не только сильна, но и стремительна. Это была особенность конструкции: база после толчка в борт слишком быстро возвращалась в исходное положение, все на верхних надстройках не качалось по плавной дуге, а стремглав мчалось то вправо, то влево. Березов не помнил, чтобы его одолевала морская болезнь, но сейчас испытывал головокружение. В новой серии плавбаз, которую собираются строить в Штральзунде, нужно будет потребовать успокоения помедленней, пусть конструкторы ставят амортизаторы качки, что ли. Инженеры, гоняясь за высокой остойчивостью, перестарались, нельзя же так! Он досадливо, мысленно же отмахнулся от этой мысли, нужно было думать о делах, куда более срочных, чем улучшение Конструкции плавбаз, нужно было искать пути самого быстрого, самого надежного спасения гибнущих!

Но четкие мысли не возникали, их забивали образы и воспоминания. Березов вспоминал, как отходили от плавбазы нагруженные суда — палуба заставлена бочками, команда торопливо майнает в трюмы все, что нельзя убрать. У Доброхотова, вчера просившего очередь к базе, конечно, и трюмы все полны, и палуба забита, Доброхотов раньше, чем нагрузится по горло, на сдачу не просится. «Ладога» встретила бурю отяжеленной, все может быть в такой ситуации. Березов возразил себе — Доброхотов опытнейший капитан, до сих пор удачливый промысловик ни разу не оттеснил в нем осторожного моряка. Да, сказал себе Березов, до сих пор, правильно, не было, а сегодня произошло — призыв о помощи, вынесшийся в эфир, прозвучал от Доброхотова, несчастье совершилось с опытнейшим из капитанов, от этого не уйти.

И Березов думал о том, что в неведомой беде, обрушившейся на «Ладогу», немалая доля и его вины: он мог предписать ни при каких условиях не перегружать суда, ну, и что, если добыча падает, пусть падает улов, зато будет меньше риску! Капитаны бы втихомолку осуждали его за трусость, но подчинились — есть у него право приказывать! И сегодня он мог выстучать на ключе распоряжение всем: трюмы немедленно задраивать — и к чертовой матери за борт, что навалено наверху! Он не отдал такого приказа. Он ограничился предупреждением о шторме. Он понадеялся, что капитанам на судах видней, как держаться в бурю. И они, конечно, не захотели расстаться с добром — и затраченного труда пожалели, и опасались выговоров потом от Березова. А чего было бояться ему? Он мог приказать — и пусть на берегу, расследуют его действия. Правильно ли он поступил?

Березов размышлял и о том, что плавбаза сейчас уходит на северо-восток, отдаляясь от основной массы своих судов, и если произойдет несчастье здесь, то поблизости не окажется могучего товарища, готового быстро явиться на выручку.

— Ах, как же не вовремя та авария с «Хариусом»! — вслух проговорил Березов.

— Вы что-то сказали, Николай Николаевич? — прокричал начальник радиостанции.

— Дай-ка мне связь с Лукониным, по-быстрому дай! — приказал Березов.

Когда послышался сильно ослабленный расстоянием голос Луконина, Березов сообщил о «Ладоге» и приказал идти быстрее, каждую минуту можно ожидать новых несчастий.

— Сообщите свои координаты, Василий Васильевич. Приблизительные по исчислению... И хоть через часок повторяйте.

— Часто меняю галсы. Шел галфиндом, сейчас бейдевиндом левого галса, — ответил Луконин и, сообщив координаты, выпал из эфира.

Березов нанес местонахождение «Резвого» на карту. Он смотрел на новую точку восхищенный и растроганный. Ему не нужно было закрывать глаза, чтобы видеть, что происходило сейчас севернее Фарер. Волны валили набок, отбрасывали назад «Резвого», стальную крохотульку с могучим сердцем, так надо понимать краткое словечко «галфинд», дикий ветер бьет в скулу, заворачивает судно носом в правую сторону, это был «бейдевинд левого галса», а суденышко в ревущей тьме рвется вперед, летит, иначе не назвать, летит на помощь товарищам! «Тысяча пятьсот лошадей! — пробормотал Березов. — Тысяча пятьсот и все до одной бьют копытами!»

И опять какое-то время была тишина, оглушаемая изнуряющим ревом ветра и толчками вещей, мечущихся в своих штормовых загородках. Два радиста, молчаливые и хмурые, выслушивали эфир. Березов ждал новых сообщений, прикидывая, что может сделать, чтобы помочь своему флоту. В иллюминаторе то вспыхивало, то погасало сияние — прожекторы «Тунца» обрыскивали океан. Березов знал, что в эти минуты все штурманы, все свободные механики, бригадиры, матросы, рыбообработчики, все, кто не на вахте, с биноклями и без биноклей, в укрытиях и на мостике, до боли в глазах вглядываются в белое от пены море — не мелькнет ли там силуэт судна, пятнышко шлюпки, черная точка терзаемого волнами человека. Он хотел быть с ними, но не мог подняться — здесь он был нужнее.

Вскоре стали поступать ответные радиограммы. Все траулеры, что были поблизости от «Бирюзы», поворачивали к ней. Но буря слишком сильна, мощности двигателей не хватало, ни один капитан не был уварен, что продвигается в нужную сторону, а не отдаляется, относимый ветром и волнами. Карнович по-прежнему молчал.

Зато умножились сообщения с других судов. То одно, то другое докладывало о непорядках и авариях. Это не были призывы о помощи, тот трагический SOS, что заставляет любое судно мира, забыв о себе, менять самый срочный курс и кидаться на подмогу — нет, деловые информации о борьбе с ураганом, повреждениях, у иных даже серьезных, но не гибельных. У одного повалило грузовую стрелу, у другого сорвало якорь и снесло занайтовленные на палубе сети, у третьего обрушило вентиляционный стояк, четвертый сообщал, что волной выбило стекла в рубке.

И Березову уже начинало казаться, что трагедия этой ночи ограничится тем, что происходит с Доброхотовым, когда опять в эфире разразился SOS.

На этот раз спасение призывал Никишин. Он сам, выйдя на связь с Березовым, с обстоятельностью перечислял обрушившиеся на них беды.

— Делаем все, что можем, — четко выговаривая каждое слово, докладывал Никишин. — Но шансов мало, Николай Николаевич. Если не подоспеет помощь, придется доверить свои жизни шлюпкам.

Березов в отчаянии выругался. Плавбаза удалялась от «Коршуна», она не могла идти на выручку. Не то, чтобы спастись на шлюпках в такую дикую ночь, даже спустить их благополучно в беснование волн было задачей почти, неисполнимой. Но без воистину крайней нужды, Никишин и не заикнулся бы о шлюпках. Березов снова вызвал Луконина. Голос Луконина зазвучал так ясно, словно он находился поблизости, хотя до него было несколько десятков миль.

— Василий Васильевич, перебежим с шестнадцатого на десятый, не хочу занимать открытую частоту. — И сообщив о несчастье с «Коршуном», Березов попросил повернуть спасатель к терпящему бедствие судну.

— Поворачиваю, свяжусь с «Коршуном», — ответил Луконин. Березов нанес на карту новые координаты «Резвого». Прошло минут десять и заговорил Луконин.

— Связь с «Коршуном» установлена. Никишин надеется продержаться до прихода спасателя, положение его скверное. Я тороплюсь, — кратко известил Луконин.

Березов снова закрыл глаза, откинулся в глубоком кресле, думал, вспоминал, убеждал самого себя, прикидывал, как убедить других, — явились новые мысли, он пытался оценить их истинное значение, представить себе дальние выводы из них. Он — руководитель бедующего флота, он должен соответствовать своему посту. И он думал о том, что нужно после бури предпринять, чтобы усилить способность судов бороться со стихиями. Среди этих мыслей были и мелкие — реконструировать трюмные закрытия, вместо палубных люстр поставить везде прожекторы; и идеи покрупней — заменить слабые машины двигателями помощнее, и посылать на дальные промыслы только новые суда, сходящие со стапелей, а старые специализировать на малых промыслах, во внутренних морях. И что такая реконструкция рыболовного флота уже производится и без него, на нее отпускаются ежегодно десятки, если не сотни миллионов рублей, он может только дополнительно указать на ее срочную настоятельность, лишь немного подтолкнуть ее, и без него спешную, докладами министру и рапортами правительству — и что он обязан, чуть вернется на берег, засесть за такие доклады и рапорты — и непременно, что бы ни отвлекало, засядет за них...

А сквозь эти важные мысли, по-деловому объективные и глубоко специальные, прорывались мысли помельче, очень субъективные, очень личные — и Березов, молчаливо терзаясь, отдавался им, забывая о больших проектах. В обезумевшем океане бедовал его флот, два суденышка гибли, к ним спешили на помощь — успеют ли? Как он может усилить подмогу? Не забыл ли он чего.

Кресло швыряло то вправо, то влево, оно то старалось вывалить Березова на стол, то пыталось перебросить через спинку. За стенами рубки оглушающе, изнурительно ревел океан. В душе Березова совершался перелом, еще день назад он не мог бы и подумать, что такой перелом возможен. Он видел гибель судов, сам дважды чуть не погиб. В трех книгах написано о нем, в двух помещены его портреты. Все слова, что писались и произносились о нем, были признанием его бесстрашия и умелости, это были только хорошие слова и главное — правдивые. Он вспомнил, как на катере, охваченном пламенем, мчался, зная, что идет на гибель, на врага, не уступавшего ему ни в храбрости, ни в умении, — он раньше должен был швырнуть врага в пучину, потом сам погрузиться туда. И лишь когда взрыв торпеды возвестил, что одно дело сделано, он приказал команде бросаться в шлюпку — ушел все же от гибели. То был честный бой, лицом к врагу, и он, капитан-лейтенант Березов, выиграл этот бой. Березов оглядывался на прожитую жизнь — не было в ней чего-либо существенного, чего он мог бы устыдиться.

Сейчас тоже шел бой, и Березов командовал им — бой против озверевшей природы. Бой был неравным, он шел из укрытий — враг не стоял перед ним лицом к лицу. Нет, не здесь бы ему быть, не здесь! Командовать смог бы и другой опытный моряк. Ему бы лучше находиться сейчас в рубке с Карновичем, с Лукониным вглядываться в бурную мглу, вместе с терпящими бедствие коршуновцами откачивать воду из затопленных трюмов, на одном из своих многочисленных траулеров пробиваться сквозь ошалевший ветер на помощь гибнущему товарищу. Он покоится в удобном кресле, самая страшная буря не вышвырнет его отсюда. Он дает руководящие указания, дела совершаются другими руками, его собственные руки тут не при чем.

— Да что же я? — сказал он себе гневной мыслью. — Все сделано, что нужно, все сделано, что можно! И указания мои — дело, хоть и руками не работаю. Нервы распускаешь, Николай!..

И хоть все было правильно — и приказы были делом, важнейшим в эту ночь делом, а распустившиеся нервы следовало приструнить, Березов все не мог с собой совладать: от нестерпимого желания быть вместе с теми, кто волею и мышцами боролся сейчас с ураганом за спасение товарищей, ему становилось больно. Его сжигала жажда немедленного действия, того внешнего действия, которое сейчас противопоказано — каждая новая команда, каждое новое настояние лишь ослабят прежние, уже отданные, уже исполняемые...

— Ждать, ждать! — прошептал Березов и повторил себе: — Все, что можно сделать, делается!

Чтобы заполнить тягостно плетущееся время, он поминутно поворачивался к столику, всматривался в карту, где уже четвертая точка обозначала бег Луконина, снова пропадал в широком кресле, снова закрывал глаза, чтобы лучше видеть, что совершается в море. На всех сторонах бушевал ураган. Полусотня траулеров, танкеров и плавбаз держат носом на волну, пересиливая стихию. Два траулера гибнут, к ним пробиваются товарищи, Карнович уже подоспел, других не пускает буря. А южнее сгущения рыбацкого флота, то наперерез циклону, то ему навстречу, то припадая к воде бортами, то зарываясь в волны, та носом пробивая их, летит на Ян-Майен Луконин, изо всей мочи летит Луконин...

Кратковременную тишину разорвал стрекот морзянки. Березов привскочил в кресле, ему не нужно было перевода радиста, чтобы разобраться в сообщении. Карнович докладывал, что «Ладога» перевернулась вверх килем и пошла на дно. Двадцать один человек команды спасены, боцман и капитан погибли, еще о двух, мотористе и стармехе, пока неизвестно — поиски продолжаются...

И только закончилась передача Карновича, радировал Луконин:

— Осветил прожекторами «Коршуна», организую помощь.

Нервы Березова сдали. Страшное напряжение этой ночи прорвалось молчаливыми слезами. Он скорчился в просторном кресле, вытирал платком лицо. Оба радиста, повернувшись к Березову спиной, делали вид, что, занятые своим делом, не замечают, что происходит с их начальником.

14

В момент штормового предупреждения на полубаке и на палубе «Бирюзы» тоже были понаставлены забондаренные бочки с рыбой, приготовленные к сдаче. Боцманская команда спешно убрала их в трюм. Степан собирался было часть бочек оставить в шкафуте, закрепить там распорками и клиньями, увязать брезентом. Капитан велел и эти бочки перенести в трюм и там укладывать аккуратненько «на стакан» — в стояк, а не в лежку и так, чтобы нигде не оставалось и пальца свободного пространства.

Заметив, что его распоряжения исполняются без энтузиазма, Карнович с мостика рявкнул в мегафон Степану:

— Милорд, просил бы пошевелиться! Два раза не повторяю.

И когда сияющий тихий вечер внезапно превратился в бурную ночь, на палубе «Бирюзы» не осталось ни одного лишнего предмета. Карнович обошел судно и ни к чему не сумел придраться. Он даже сказал, что штормовых лееров натянуто излишне — держась за один, будешь толкаться о другой.

— Больше лееров, легче переходить из носового кубрика на корму, если понадобится, — возразил Степан.

— Обязательно понадобится, — подтвердил Карнович. — И в связи с этим, дорогой граф, я предложил бы вам вообще на одну ночку переселиться из кубрика в кают-компанию, чем шествовать, в смысле шастать, цепляясь за леера. Кто-кто, а вы понадобитесь на корме.

Степан, подумав, прихватил матрац и одеяло с подушкой и водрузил временную постель на скамье в салоне. Его примеру последовали рыбмастер и тралмастер с помощником, у всех были дела на корме. Оставшиеся матросы тоже не захотели сидеть в носовом кубрике — на корме находились и гальюн и камбуз.

Карнович, удовлетворенный, возвратился в рубку. Шарутин, именовавший «восторгом перестраховки» стремление капитана педантично выполнить все мельчайшие требования штормовых инструкций, встретил друга язвительным экспромтом:

— Восторг перестраховки немыслим без сноровки, немыслим без умения трястись при тишине, на холоду потения, озноба на огне.

— Об этом и речь — нужно умение, — важно согласился Карнович. — А при умении ни один шебутяга-циклон не причинит зла. Между прочим, в морских словарях нет злоехидно-сухопутного термина «перестраховка», зато встречаются дружеские термины «страховка», «подстраховка». Можно пользоваться и глаголом «застраховаться», он тоже неплох.

В рубку поболтать со словоохотливым капитаном часто приходили начальники служб. Сейчас они были здесь все — штурманы, стармех, старпом, боцман.

Первый шквалистый удар урагана, сопровождаемый ливнем, никого не испугал. У штурвала стал Шарутин. Вахта была не его, но сумрачный внешне штурман, угрюмо на всех глядящий, с хмурой иронией басящий, любил править судно в волнение, как иные любят помчаться, сидя за рулем, по шоссе «с ветерком». Рулевой стоял рядом, перехватывая штурвал, когда Шарутин оставлял его.

Когда выросшие валы стали перекатываться через палубу, а гребни их разбивались у стекол рубки и видимость пропала, Карнович выскочил на подветренный левый мостик. Ветер ревел так мощно, что не слышно было ни шума машин, ни собственного голоса. Карнович глотнул воздуха и закашлялся. Воздуха больше не было, была воздушно-водяная смесь: ее проще было пить, чем ею дышать.

— Нептун осатанел, — доложил Карнович, возвратившись. — Прет старик на рожон.

Ему не ответили. Буря была слишком серьезной, чтобы подтрунивать. Шарутин быстро вертел штурвал, норовя вырваться на волну боком, как — серпантином — взбирается дорога в гору.

Качка при этом усиливалась, зато траулер не зарывался носом и меньше воды обрушивалось на палубу. Капитан одобрил его маневры. Качка была не страшна, пока крен не становился больше пятидесяти градусов, разрушения на палубе были опасней.

Так шли минуты в молчании и наблюдении за меняющимся обликом океана — дождь промчался, из черной вода стала белой. Изредка Карнович подходил к локатору. На электронном экране вспыхивали пятнышки штормующих судов, на них накладывались отражения от волн. Радист не снимал наушников, не отрывался от «караванника». С «Тунца» запрашивали, как штормуется, суда сообщали, что штормуется крепенько, но бедствий пока нет. Так же ответил и радист «Бирюзы».

В ящичке на правой стене рубки лежал бинокль, Карнович временами хватал его, наводил на океан и каждый раз убеждался, что видимости нет. Когда траулер валился вниз, накатывалась волна такой высоты, что надо было задирать голову, чтобы увидеть ее козырек. А когда траулер трепетал на перевале и все тело сводила противная дрожь от крутящегося в воздухе винта, бинокль тоже дрожал в руках. Даже при блеске молний нельзя было различить, где небо, где море: лишь когда ураган разошелся в полную мощь, море стало отличимо от неба — тучи по-прежнему были черные, океан весь покрылся пузырящейся пеной.

Радист вдруг прокричал, что слышит сигнал бедствия. Через минуту сигнал повторился, отчетливы были слова: «...срочной помощи». Карнович вызвал «Тунца». Эфир заполнился переговорами судов, траулеры запрашивали один другой, не с ним ли беда. Никто, кроме «Бирюзы», сигнала бедствия не принял. Но сколько Карнович и радист не вслушивались в эфир, призыв о помощи не возобновлялся. Шарутин, оставив штурвал рулевому, сказал — и с ним согласился радист:

— Очень далеко тот траулер, раз сигнал слабый. И, наверно, уже погиб, если сигналы не повторяются.

— Нет, тысячу раз нет! — настаивал Карнович. — Если бы он был далеко, другие суда услышали бы лучше нас, а слышали только мы. Он где-то рядом. А сигналы слабы, потому что отказывает радиостанция. Это Доброхотов, он промышлял неподалеку.

Он говорил с таким волнением, что поколебал радиста и штурмана. Шарутин пошел высматривать, нет ли поблизости судна... В локаторе временами, когда «Бирюза» повисала на гребне волны, мелькало пятнышко. Это не могла быть волна, отражения от волн появлялись беспорядочно в разных местах, а пятнышко повторялось в одном и том же месте. Но для траулера оно было слишком слабо, суда на экране локатора сияли массивными точками, это едва проступало на мерцающем поле экрана. Старпом сказал, что изображение — от шлюпки. Карнович не согласился: в такие волны шлюпку не обнаружить ни лучом, ни глазом. Капитан считал, что это изображение траулера, но глубоко осевшего в воду, — того самого, который терпел бедствие.

— Это он, надо идти к нему! — все больше волнуясь, твердил Карнович. — Доброхотов! Не сомневаюсь, что «Ладога». Она еще на плаву, ее можно спасти!

Приказав Потемкину держать максимальные обороты, а боцману готовить команду к выходу на палубу, Карнович повернул траулер на сближение с непонятным пятном на локаторе. Скоро стало ясно, что неизвестное судно еще имеет слабый ход, оно держало против бури, как и другие траулеры, но его относило сильнее, оно смещалось относительно остальных судов. И оно было дальше всех на севере, внизу на развертке локатора, на юге, юго-западе и юго-востоке, компактно сияли многочисленные точки флота, среди них выделялся массивный четырехугольник плавбазы, а это судно у самой границы обзора, милях в двадцати от «Бирюзы», одиноко боролось с бурей — «Бирюза» была к нему ближе всех. Так далеко на север, опережая остальных, выбегал лишь жадный на промысле Доброхотов — первым подбирать напуганные косяки.

Минута бежала за минутой. «Бирюза» шла лагом к буре — качка усилилась так, что не держась за предметы, нельзя было сделать и шагу. Карнович отрывался от локатора, только чтобы отдать новое распоряжение или раздраженно накричать на радиста, ни на минуту не снимавшего наушников: «Ты вроде старого кота, совсем мышей не ловишь!» Радист, молодой, старательный и обидчивый, еще крепче сжимал наушники — аварийные каналы в эфире были пусты.

Вскоре стало ясно, что пройдет не один час, прежде чем «Бирюза» приблизится к терпящему бедствие судну. Расстроенный Карнович посовещался с помощниками. Краснов указал, что трюмы приняли полный груз, траулер сидит тяжело, при таком низком надводном борте и хода большого не дать, и судно дополнительно нахлебывается волн — тоже многотонный груз, периодически осаживающий судно. Потемкин добавил, что танки заполнены пресной водой и горючим — еще, примерно, пятьдесят тонн, а каждая тонна уменьшает ход.

— Правильно, облегчить судно! — с воодушевлением подхватил Карнович. — До трюмов с рыбой нам сейчас и думать добраться нечего, но от жидких грузов мы может избавиться.

Осторожный Краснов считал, что откачать пресную воду из носовых танков надо, а на освобождение от горючего лучше испросить разрешения. Карнович запальчиво приказал опорожнить все танки, оставив лишь аварийные запасы — на спасение людей разрешения не требуется!

— Можете сами информировать флагмана, что понадобилось облегчить судно, — сказал он Краснову и пошел надевать штормовой костюм, спасательный нагрудник и страховой пояс с предохранительным линем, чтобы в полном снаряжении выскочить наружу, когда понадобиться.

Тонна за тонной горючее и пресная вода выбрасывались в море. Вскоре стало видно, что носовая часть траулера приподнимается, за ней стала приподниматься и палуба. Хоть и медленней, чем желалось, надводный борт увеличивался. Шарутин с прежним искусством маневрировал, не давая валам обрушиваться всей массой на палубу, рулевой лишь помогал штурману вращать штурвал.

Карнович с биноклем вышел на правое крыло мостика.

Это была подветренная сторона, нечто вроде мертвого пространства, уголок относительного спокойствия среди всеобщего беснования — ветер, разбиваясь о рубку и надстройки ботдека, в какой-то степени терял Мощь в этом крохотном уголке.

Закрепившись концом за поручни, Карнович пристроил к глазам бинокль. В оглушительно ревущей тьме была только белая вода, ничего, кроме ошалело несущейся, пенящейся, разъяренно белой воды. Волны догоняли и подбрасывали траулер, он взлетал вверх и падал вниз, даже сюда, на мостик, дошвыривались их пенные языки.

Когда траулер катился по склону волны, Карнович опускал бинокль, в яме между двумя валами высматривать было нечего. Чуть новая волна вздымала судно, Карнович хватался за бинокль. И в один из таких моментов — траулер вибрировал корпусом на гребне — Карнович увидел раздуваемый ветром огонь: от пламени отлетали, быстро погасая, красноватые язычки. Огонь пропал, когда «Бирюза» покатилась вниз, и вновь появился, когда траулер вскарабкался наверх. Ближе всего он походил на костер, и Карнович, приотворив дверь в рубку, прокричал:

— Впереди по курсу — сигнал бедствия! — И опять прихлопнул дверь.

А еще через несколько минут Карнович увидел слабенькие вспышки, искорки, прорезающие бурную тьму. Вспышки сливались в буквы, буквы складывались в слова, слова взывали о помощи. «Маш... за... ком... гот... пок... Окаж... пом..», читал Карнович, тут же расшифровывая светограмму: «Машина затоплена. Команда готовится покинуть судно. Окажите, помощь».

— Ракетницу! — завопил Карнович, врываясь в рубку, и увидел, что Краснов уже бежит к нему с ракетницей.

Одна ракета взвилась вверх, за ней другая, третья. Карнович снова вбежал в рубку. И старпом, и Шарутин тоже увидели призыв, переданный световым Морзе. Радист вызвал «Тунца». Карнович прокричал Березову, что видит гибнующее судно и что, похоже, это Доброхотов.

Он подбежал к локатору, всем лицом вдавился в раструб, на несколько минут замер. Пятнышко терпящего бедствие судна было не больше, чем в полумиле, но сближение шло не по обстановке медленно. Карнович оторвался от локатора, его заменил Шарутин — тот только кинул взгляд на развертку.

— Плохо, Леонтий! — пробасил штурман. — Они готовятся покинуть судно, а мы еле ползем. Раньше, чем за полчаса не подгребем.

Карнович опрометью кинулся б машинное отделение. Там были все механики. Потемкин не отрывал взгляда от счетчика оборотов. Стрелка стояла на красной аварийной черте.

— Да вы что, мертвые? Хода же нет! — закричал Карнович. — Очищайте скорее ваши чертовы танки!

— Танки опорожнены, облегчать судно дальше некуда, — сказал второй механик. — Все, что может дать машина, мы даем.

Потемкин, не поворачивая головы к капитану, молча показал на счетчик. Карнович рванул его за плечо.

— Не пробьемся! Буря же, человек ты или нет! Потемкин резким движением сорвал пломбу с ограничителя, таким же резким движением подвернул до конца регулятор числа оборотов. Разговаривая, он слегка заикался, а когда волновался, заикание становилось сильным.

— Ответственность... б-беру... на себя! — говорил он, морщась от того, что слова не даются — А теперь... иди!

Карнович побежал в салон. Там собралась свободная от срочных вахт команда. Все были в предохранительных поясах со страховочными концами, в спасательных нагрудниках. Степан ждал лишь команды выходить.

Капитан бегом возвратился в рубку. Траулер заметно усилил ход. Костер на верхней палубе гибнущего судна был уже хорошо виден. В бинокль можно было различить и Доброхотова с забинтованным лицом. Вокруг него теснился экипаж в спасательных поясах. Шлюпок на ботдеке не было, зато виднелись связки буев — ветер рвал их с креплений, швырял вверх, как воздушные шары на канатах. «Ладога» погрузилась кормой, лишь надстройки ее еще выступали на поверхность.

Карнович опять выбрался на подветренное крыло. Отсюда он прокричал в мегафон на «Ладогу», чтобы травили вожак на буях и сами спускались в воду по вожаку.

— Выберем вожак! Зайдем под ветер и выберем! — кричал он, повторяя крик, пока не убедился, что действуют, как он советует. На «Ладоге» матросы спешно привязывали буи к вожаку. Карнович стрелял ракетами, чтоб увидеть, что они делают — слабые прожекторы «Бирюзы» так далеко не брали.

Теперь осталось самое трудное — зайти на ветер от «Ладоги», выловить брошенный в море вожак на буях и, одного за другим, вытащить уцепившихся за него людей.

Чтобы зайти под ветер к «Ладоге», пришлось отдалиться. Шарутин не отрывался от штурвала. Рядом с Карновичем, перебежавшим на наветренную сторону мостика, встал Краснов. Капитан впился глазами в костер, пылавший на палубе гибнущего траулера, во время маневрирования это был единственный ориентир. Внезапно Карнович увидел, как огонь на «Ладоге» заметался, стал уменьшаться и тускнеть, словно бы закатываясь в темноту.

— Оверкиль! — с ужасом выкрикнул Краснов.

Карнович выстрелил ракету, за ней другую. В сиянии двух опускающихся, сыплющих искры факелов он увидел, как «Ладога» кренится на правый борт, тот самый, с которого Карнович намеревался подойти к ней. И еще он увидел, как с опрокидывающего траулера в бешеное море бросаются люди...

15

Пока работали помпы, вода прибывала сравнительно медленно. Судно жило, пока билось сердце его, главный двигатель. Надо было продлить минуты жизни. Но когда помпы запрессовало густой смесью воды и соли, вода стала быстро подниматься. На траулере прозвучала шлюпочная тревога. Шмыгов отослал всех наверх, а сам остался. Костя тоже убежал, но вскоре вернулся в спасательном нагруднике.

— Вон! Вон! — заорал Шмыгов, подталкивая парня к трапу.

Трясущийся моторист вырвался. Море, увиденное в иллюминаторе, ужаснуло его. Он твердил, громко плача, что уйдет только со стармехом, около него не так страшно. Шмыгов махнул рукой, сейчас было не до растерявшегося моториста. Стармех надеялся, что удастся поддержать ход, пока приблизится «Бирюза».

И Шмыгов работал, пока и главный двигатель не встал. Потерявшее ход судно разворачивало лагом к буре, сразу увеличилась и без того сильная качка. Потом качка стала уменьшаться, зато судно затряслось каждым шпангоутом и переборкой. И оно стало крениться на правый борт. Шмыгов рванул Костю за руку и прокричал:

— За мной! По аварийному трапу!

Он проворно полез по запасному лазу на верхнюю палубу. Крен увеличивался, ботдек стоял откосом, траулер валило, он уже не раскачивался вправо и влево на волне, а всем корпусом трясся, как гибнущее живое существо. Он уже не мог выпрямиться, даже когда волна проносилась. Люди, привязывавшие вожак к буям, бросались в пенную пучину. Доброхотов со сбитой повязкой на лице, с портфелем, висевшим на запястье, показывал, куда прыгать, кричал и подталкивал колеблющихся. Невдалеке то пропадала за спинами валов, то вновь возникала сверкающая палубными люстрами «Бирюза».

Костя высунул из лаза голову и в ужасе пытался скрыться обратно, Шмыгов рванул его наверх: внутри надежды на спасение не было, последний шанс уцелеть оставался только здесь. Костя закрыл лицо руками, безвольно упал у трубы. Если раньше у моториста вызывали содрогание черные гороподобные валы, то бешеное белое море показалось еще страшнее.

К ним подскочил Доброхотов со — связкой буев. В четыре руки они быстро привязали Костю к связке и подтянули к поручням.

— Прыгай! — заревел Шмыгов и толкнул в спину моториста. Костя, даже не крикнув, провалился в белую кипящую воду, его нагнал новый рев стармеха: — Греби, греби!

Ледяная вода обожгла Костю, ноги свела судорога. Спасательный нагрудник и буи вынесли его наверх, но здесь он не смог даже взмахнуть руками. Шмыгов несколько секунд смотрел, как он мотается на волне, затем потянул капитана.

— Теперь мы! Скорей!

Доброхотов оглянулся. На ботдеке никого не оставалось. Ухватившись за последний свободный буй, оба прыгнули в воду. Сильными взмахами свободных рук они старались отплыть подальше от судна, потом Шмыгов подтолкнул капитана от траулера и повернул назад. Доброхотов крикнул, чтоб он не смел возвращаться, тонущее судно затянет в водоворот, но Шмыгов, что-то ответно прокричав, исчез в темноте. До капитана донесся только дважды повторенный вопль стармеха:

— Ко мне, Костя! Ко мне, Костя!

Доброхотов еще раз повернулся назад. И то, что он там увидел, так ужаснуло его, что он в смятении судорожно забил ногами, стремясь догнать уплывавших вперед.

А Шмыгов схватил связку буев, на которой висел потерявший сознание моторист, и вновь повернул от траулера. Отчаянно работая ногами и правой рукой, он пытался вырваться на безопасное отдаление. Вероятно, это удалось бы ему, если бы он плыл один. Шмыгов не выпустил Костю.

Одна волна за другой швыряла их обратно к судну, и после каждой волны Шмыгов вырывался в сторону на десяток метров, пока не налетела новая и не уничтожала его усилий. И последним видением стармеха Шмыгова, продолжавшего безнадежно бороться за свою и Костину жизни, был образ исполинского белого вала впереди, пронзительно засиявшего в свете молнии, и черная тень опрокидывающегося траулера, под который его и Костю несла волна.

16

Миша, еще до бури, вместе со Степаном и Кузьмой переселился на временное житье в салон. К ним присоединились остальные жильцы носовых кубриков. Кузьма потребовал картины повеселей, Колун заворчал, что картины видены и перевидены, надо бы понежить кости перед скорой тряской. Кузьма посмеялся над дрифмастером, но Краснов поддержал его. Колун аккуратно расстелился на скамье и вытянул ноги. Кузьма пригласил Мишу со Степаном забить козла. Не смущаясь недовольными взглядами Колуна, Кузьма с упоением бил домино по столу. Голос приблизившейся бури вскоре заглушил стук костяшек.

Миша, играя, удивлялся и немного завидовал. Кузьму буря не занимала — не тревожила, не пугала, даже особенно не интересовала. Буря была где-то в стороне, это была ее собственная забота, куда мчаться и каким ревом реветь, его поглощала игра. Миша старался играть повнимательней, но не мог сосредоточиться. Он не так урагана самого страшился, как того, что выдаст свой страх. Плохие погоды перештормовывались пока хорошо, но ходить в большие качки было трудно — Кузьма, с кошачьей ловкостью несущийся по качающейся палубе, посмеивался над Мишиным ковыляньем. Степан в один из штормов показал Мише, как справляться с качкой: не пружинить ногу, которую несет вверх, а припадать на нее. Походка сразу стала ровнее. Это было еще нетвердое умение, в крупную болтанку оно могло отказать.

Вскоре качка стала такой, что игру пришлось оставить. Разговоры в салоне прекратились, буря заглушала все голоса. И Мише казалось, что всех его сил отныне хватает лишь на одно то, чтобы удержаться на месте. В иллюминаторе виднелся кипящий океан, вода была словно припорошена снегом, картина была такая, что ноги противно слабели и к горлу подкатывала дурнота. Миша старался вообразить себе, что происходит на открытой нижней палубе, на ботдеке, в океане — и содрогался. И он видел, что всем скверно, даже Кузьма притих — на кого Миша ни взглядывал, на всех лицах лежала зеленоватая бледность.

А затем пришло сообщение о бедствии с каким-то судном, молчание разорвалось спорами. Степан считал, что взывала о помощи «Ладога». Дрифмастер не верил, чтоб у аккуратнейшего Доброхотова произошла авария: «Даже мы скорей, но не Доброхотов», — твердил Колун. Споры оборвало новое распоряжение капитана: готовиться к выходу для спасения терпящих бедствие. В суматохе спешного надевания штормкостюмов, спасательных нагрудников, предохранительных поясов со страховочными линями, Миша вдруг словно исчез для себя: перестал всматриваться в себя, опасаться за себя. Была только буря и гибнущие люди, и он страшился, что они погибнут до того, как подоспеет помощь. Степан стоял у задраенного выхода на правый борт, ожидая сигнала выскакивать. На Степана чуть не наваливался телом Кузьма, за Кузьмой встал Миша.

И когда приказ на выход наконец раздался, Миша так рванулся вперед, что обогнал Кузьму. Ветер валил стеной, а когда добавился завал направо от волны, Мишу понесло на фальшборт, ударило о железо. Мимо, по-змеиному извиваясь, прополз, припадая к палубе, Кузьма, за ним пробирался, клонясь в три погибели, Колун. Миша попытался встать и снова повалился телом на планшир, натянувшийся линь удержал его от падения в воду. Теперь Миша приподнимался медленнее. Степан и Кузьма, оба впереди, высунули над планширом головы и осматривали море, он сделал так же. Обе палубные люстры были повернуты на море. Капитан с мостика стрелял ракетами — сумрачное сияние озаряло белый океан.

В свете люстр и ракет по пенной воде неслись бочки и ящики, связки буев. Миша увидел несколько кочанов капусты, доски, стоймя вылетавшие из подбрасывающей их волны, пустой спасательный круг, за ним другой.

— Люди! Люди! — закричал в мегафон капитан, нагибаясь над поручнями. — Боцман, справа по борту! Плывут на первый трюм двое!

Степан пополз на полубак, Миша за ним. До них донесся слабый крик: «Спасите!», затем показался человек, державшийся за буй. Траулер рванулся вперед. Степан с Кузьмой наклонились над фальшбортом, но тонущего пронесло назад. Мише удалось схватить его за воротник, подоспевший Шарутин сильным рывком взметнул человека наверх. Карнович дал задний ход, чтобы за кормой не пронесло двоих, плывших на связке буев. Степан метнул спасательный круг на лине, за ним другой. Оба круга опустились рядом с буями. Один из тонувших оттолкнулся от связки и ухватился за круг, товарищ его, то ли не умел плавать, то ли ослабел, но буев не отпустил. Первый, работая одними ногами, подтолкнул круг к буям: и второй судорожным рывком перебросил руки с буя на круг. Миша и Шарутин потащили круг с людьми. Кузьма, перегнувшись через фальшборт, ухватил за руку одного и помог ему влезть на палубу, второго двумя рывками втащил Степан.

Теперь уже было видно много плывущих людей. Одни держались на буях, другие ухватились за доски. К плывущим летели спасательные круги, их по-прежнему метал Степан: сзади его подпирал спиной к спине Миша, чтобы ветер не опрокинул. Буря, погубившая «Ладогу», теперь помогала спасать экипаж — «Бирюзу» несло на людей. Кузьма с отчаянной ловкостью и быстротой первый вскакивал и ухватывал подплывающих, ему мощными рывками помогал Шарутин. Они вытащили дрифмастера, у того было рассечено лицо, порезаны шея и рука. Одна волна сама вынесла на палубу старпома, он так бы и перелетел через палубу за борт, если бы Миша не ухватил его за ноги. Старпом плюхнулся на палубу, он был жив, лишь потерял сознание.

Молодой матрос без нагрудника, исступленно работая руками, сам плыл к «Бирюзе» и долго не хватал упавшего рядом круга, а когда заметил, то вцепился так неудачно, что втаскивать его на палубу пришлось не грудью, а спиной.

Он тоже свалился недвижимо, и, прочно заклиненный между трюмом и лебедкой, пронзительно тонким голосом, прорывающимся сквозь рев бури, продолжал кричать: «Спасите! Спасите!» Кузьма встряхнул его и потащил внутрь, только там обеспамятевший матрос пришел в себя.

Когда вытаскивали радиста, тот — уже на палубе — едва вторично не очутился в море. Одурев от радости, он вскочил на трюм и заплясал, надрываясь на всю мочь: «Спасен! Спасен!» Нахлынувшая волна понесла его на другой борт, и, если бы Степан не рванул его за руку, радисту пришел бы конец. Еще одного, механика, спасла шальная случайность. Его швырнуло наверх волной, и тоже, вероятно, перебросило бы через палубу, но сапог налету заклинило между тросом и шкивом. Механик выпал из подвешенного сапога на палубу, но волна уже пронеслась, и он с помощью двух матросов добрался в кубрик.

С подветренного борта больше никого не было видно. Капитан приказал переходить на другой борт, и сам перебрался на наветренное; крыло. Степан половину своих людей увел в шкафут, надстройка хорошо защищала от ветра и волн, а сам с другой группой разместился на полубаке за палубными механизмами.

Карнович снова стрелял из ракетницы, белые, зеленые, оранжевые ракеты все вышли, в ход пошли красные. Сияние озаряло уходящие белые волны. На склоне одной из волн Карнович увидел что-то темное, в бинокль он разглядел, что за доску ухватились трое. Степан и Кузьма метнули круги. Один из кругов оказался рядом с доской, и за него схватились все трое.

Капитан с мостика разглядел еще одного, цепляющего за буй. Он погнал траулер к новому пловцу. Вскоре можно было разобрать, что за буй держится Доброхотов. На лице капитана болтались обрывки повязки, спасательный нагрудник превратился в лохмотья, обеими руками Доброхотов вцепился в оплетку буя — на правом запястье висел портфель, — изредка импульсивно ударял ногами и снова замирал, всех сил, видимо, хватало лишь на то, чтобы не выпускать буя.

— Доброхотов! Доброхотов за бортом! — прокричал Карнович с мостика и подвернул судно ближе.

Степан метнул круг. Круг упал метрах в пяти от Доброхотова. Он повернул голову к кругу, но не решился проплыть разделявшие их несколько метров. Степан снова бросил круг, на этот раз тот упал совсем рядом, и Доброхотов перебросил; руки. Уцепился он одной левой рукой, а правой беспомощно водил по воде, пытаясь нащупать и не нащупывая круга.

— Держи меня! — крикнул Кузьма Мише и перегнулся на фальшборте. — Руку! Руку! — взревел Кузьма, пытаясь поймать беспомощно снующую правую руку капитана. — Руку дай!

Доброхотов протянул руку. Кузьма ухватил висевший на запястье портфель. Швырнув портфель на палубу, он снова стал ловить руку капитана. Степан, тянувший круг, тоже перегнулся через фальшборт, пытаясь ухватить Доброхотова за плечо. Через палубу прокатилась волна и швырнула Мишу за борт. Миша отпустил Кузьму, хотел уцепиться за планшир, но не смог и погрузился в воду рядом с Доброхотовым. Волна сорвала Доброхотова с круга и, крутя словно в смерче, потащила на глубину.

Миша, перебирая руками страховочный трос, ухватился за планшир, но не сумел перебросить тело на палубу. Степан и Кузьма, опрокинутые волной, барахтались на палубе. Новая волна, еще громадней, ударила в судно. Миша судорожно сжал руками планшир. Волна оторвала правую руку, страшная сила давила на плечи. Миша сжал зубы, чтобы не глотнуть воды, темной массой несущейся над ним, всю силу вложил в левую руку, мертво вцепившуюся в планшир. «Не унесешь, врешь!» — кричал он про себя иступленно. Он услышал тревожный вопль Шарутина. К Мише кинулись матросы. И когда легким стало не хватать воздуха, и он уже готов был непроизвольно открыть рот, чтобы хлебнуть воды, волна промчалась, траулер завалило в другую сторону и, схваченного тремя парами рук, Мишу рывком перебросили на палубу.

Доброхотов больше не появлялся на поверхности. Трое на доске были последними, кого удалось отыскать в океане. Карнович не уходил с мостика, не опускал бинокля, «Бирюза» меняла курс, шла то против волны, то по волне, подставляя буре то левый, то правый борт — океан был пуст. Карнович выстрелил последнюю ракету, больше нечем было освещать ночь. Он спустился в носовой кубрик, там спасенных, напоив горячим кофе, укладывали по двое на койки.

Распоряжался спасенными Потемкин, ему помогал Краснов.

Карнович снова вышел на связь с Березовым, доложил, сколько спас и как чувствуют себя спасенные, и ушел вниз.

В каюте у него сидел Шарутин, штурман был так измучен, словно сам побывал в пучине. Капитан опустился на койку, закрыл лицо руками.

— Разденься, — посоветовал штурман. — Натрепался на ветерке порядочно.

Карновича вдруг стала бить дрожь. Сперва затряслись ноги, потом стали трястись руки и плечи. Капитан хотел рассмеяться, хотел пошутить над забавным состоянием, но из груди вырвался стон.

Карнович повалился на койку, все сильнее трясся, зуб не попадал на зуб, он снова хотел заговорить, и снова лишь стоны вылетали из горла.

— Да что ты, возьми себя в руки, чудак же! — бессвязно шептал Шарутин и наваливал на капитана одеяла, пальто и другую одежду, которую увидел в шкафу.

А когда и теплая одежда не помогла, он присел на койку рядом с Карновичем и, обняв за плечи, старался удержать бившую его дрожь и, как ребенка, урезонивал стонущего капитана.

Свистнула переговорная труба, Шарутин приставил ухо. Краснов сообщал, что приближается плавбаза. Карнович встал, надо было возвращаться в рубку. Поднимался он с таким трудом, что Шарутин на трапе поддержал его.

17

Луконин, начиная свой бег на север, твердо знал, что скоро ему не подойти к океанским воротам между Исландией и Ян-Майеном, куда прорывается чудовищный ураган, и что туда необходимо прийти как можно скорее. Это определяло все его дальнейшие действия.

В сравнительно короткой, — но напрессованной событиями морской жизни Луконина и северные ураганы, и тропические тайфуны не были новостью. Но до сих пор он или убегал от них, или боролся с ними, если убежать не удавалось. Сейчас он стремился к урагану, нетерпеливо ждал встречи с бурей.

Он стоял в рубке у иллюминатора, молчаливый, не оборачивался, не глядел на тех, кто проходил мимо. Вахтенный штурман выбегал из штурманской, давал указания рулевому, тот проворно вертел штурвал. На океан опускался вечер — ясное небо, ясное море, штиль, максимальная видимость. Луконин поглядывал на прибор. «Резвый» мчался во всю мощь двух машин — восемнадцать с половиной узлов показывала стрелка.

— Поглядите на барограф, Василий Васильевич, — сказал штурман. — Катастрофически падает давление.

Луконин молча прошел в штурманскую, молча смотрел, как перо самописца тянет линию вниз. Ураган правым крылом мчался навстречу «Резвому», «Резвый» мчался навстречу урагану, вот отчего так круто падало перо вниз. Оно слишком медленно падало, плохо было только одно — оно слишком медленно падало! Луконин, ни слова не сказав, возвратился в рулевую рубку.

Небо на западе и на севере из голубого превращалось в красное, его словно заливала кровь. На севере кровь как бы покрывалась ржавчиной, небо там вскоре стало коричневым. Черное облако вырвалось из-за горизонта и неслось на «Резвого». Луконин смотрел на облако. Здесь это был только лоскут расширяющейся темноты, а там, куда «Резвый» стремился, циклон швырял корабли. Облако слишком медленно приближалось, все шло слишком медленно. Луконин крикнул в машинное отделение, чтобы прибавили оборотов, услышал в ответ, что обе машины работают на максимальных. Он подошел к прибору, стрелка стояла на девятнадцати узлах, рывками приближалась к двадцати.

Он снова смотрел в стекло. Ни одно судно рыбацкого флота не обладало скоростью «Резвого» — он не был похож на другие, тихоходные спасатели. Он оставлял за собой массивные плавбазы и танкеры, бежал в два с лишним раза быстрее любого траулера, только военные корабли и знаменитые лайнеры могли его обогнать — в его невзрачном железном теле билось могучее сердце. Но сейчас ударов этого сердца не хватало, чтобы вовремя поспеть в район катастрофы. Луконин гневно одернул себя. Никакой катастрофы не произошло. Идет ураган, суда штормуют. Все в порядке.

— Просто мы очень далеко! — сказал он вслух.

— Не расслышал, Василий Васильевич, — сказал штурман. — Что надо сделать?

— Ничего не надо делать, — ровно ответил Луконин. — Идти как идем, если нельзя быстрее.

— Быстрее не выйдет, — со вздохом подтвердил штурман. На воде появилась толчея беспорядочных, без направления волн. Черная туча захватила половину неба, быстро ширилась на другую. Сверкнула молния и разом, без подготовки, ударил ветер. Хлынул ливень. Волны росли на глазах. «Резвый», наконец, ворвался в крыло урагана. «Уж близко», — с облегчением подумал Луконин.

Ветер валил навстречу, скорость падала. Луконин прошел в штурманскую, посмотрел курс. Самая короткая дорога в район промысла пролегала противно ветру, она была также и самой медленной дорогой. Буря еще не развернула всей своей мощи, а буксир замедлил ход с двадцати до одиннадцати узлов. Луконин гневно прокричал по переговорной трубе стармеху:

— Тысяча пятьсот лошадей у вас. Ни к черту не годятся ваши лошади!

Он не стал слушать оправданий стармеха. Механики делали все, что могли. Судно рвалось вперед, ветер валил его назад. Луконин со вздохом согласился со штурманом — да, идти дальше прямым курсом невозможно, надо менять галсы. Он приказал взять влево, теперь они шли не на север, к флоту, а на северо-запад. Ветер бил в правую скулу, узла три прибавилось. Еще через некоторое время Луконин сменил правый галс на левый, судно стало прорываться на северо-восток. На новом галсе прибавка была уже пять узлов.

Ливень оборвался так же внезапно, как налетел. Ветер продолжал усиливаться, гороподобные валы закрыли простор. Временами бак скрывался под белопенной массой. Локаторное поле было чисто: на пятидесяти милях впереди ни одного судна. Уже скоро, думал Луконин, уже недалеко! Гигантская волна, вся покрытая пеной, как кружевом, обрушилась на палубу, белый козырек накрыл рубку. Беснующаяся вода билась в стекла, но отхлынула, не прошибив. Рулевой, молодой матрос, что-то потрясенно проговорил. Хорошо, с ожесточением думал Луконин, очень хорошо!

— Вижу суда! — закричал штурман.

Луконин повернулся к штурману, но крен швырнул его мимо локатора. Луконин схватился за штурвал, чтобы удержаться.

Из-за верхнего края локаторного экрана сыпались пятнышки судов, с каждой минутой их становилось больше. Луконина вызвали в радиорубку. Березов сообщил о несчастье с «Ладогой», просил подгребать побыстрее. Луконин бесстрастно сказал, что делает все возможное. Среди зеленоватых точек траулеров засветилось массивное пятно плавбазы. Луконин до боли в глазах всматривался в темную развертку со вспыхивающими на ней яркими точками судов, прикидывал расстояния, стремился уяснить, кто как ведет себя в бурю. «Ладоги» на экране не могло быть, «Ладога» была далеко за кругом электронного обзора. Но южные траулеры уже были милях в тридцати-сорока — часа полтора-два прямого хода спасателя в спокойную погоду. Прямой курс был по-прежнему закрыт, Луконин лишь чаще теперь менял галсы, чтобы не удаляться ни слишком западнее, ни восточнее флота.

— Вас снова «Тунец», Василий Васильевич, — прокричал радист.

На этот раз Березов извещал о несчастье с «Коршуном». Луконин спросил, как с «Ладогой». К «Ладоге» пробивается Карнович, ответил Березов. Руководитель промысла просил заняться спасением «Коршуна», тот где-то на юго-востоке, в районе, куда подходит «Резвый».

— Иду к «Коршуну», — сказал Луконин и возвратился к локатору.

Теперь он со штурманом выискивал на развертке, где может находиться «Коршун». Одна точка выделялась среди других. Расстояние между судами постоянно менялись, но не быстро, все они держали носом на волну. Но эта точка слишком быстро скользила между другими, ход ее шел по буре, а не против бури.

— Потерял управление, — уверенно оценил положение штурман, и Луконин согласился с ним.

Радист «Резвого» непрерывно звал в эфире «Коршуна», но прошло немало времени, пока терпящий бедствие траулер откликнулся: Теперь Луконин знал, куда идти. Он кратко поговорил с Никишиным. Команда, измученная безуспешными попытками откачать воду из трюмов, готовилась покинуть медленно погружавшееся, потерявшее управление судно. Луконин с полминуты молчал, прежде чем послал в эфир просьбу продержаться до его прихода, имея наготове все спасательные средства. Он постарается подойти поскорее, сколько позволит ураган...

Луконин уже не менял галсы, «Резвый» шел лагом к буре. Волны и ветер валили спасатель направо, но скорость снова возросла. Луконин приказал, кроме ходовых огней, засветить все люстры и прожекторы. Сияние брызнуло на беснующийся океан, отразилось от темных, стремительно несущихся туч. Луконин знал, что если волны и поглотят свет палубных люстр, то сияние прожекторов, озарявших мрачное небо, будет видно издалека. И последний десяток миль, отделявшие его от «Коршуна», Луконин так и промчался — клубком сияния в черной ночи циклона. А затем он стал спускать прожекторы, устремленные в тучи. Траулер был где-то рядом, надо не извещать о прибытии, а искать его среди волн.

Вскоре стал виден «Коршун». На ботдеке толпились люди в спасательных поясах и нагрудниках. Среди них выделялся высокий Никишин. Траулер казался неповрежденным, его можно было бы взять на буксир до успокоения океана, а после мощными помпами спасателя откачать воду и, когда он поднимется, освободить винт от намотки. Но через низко осевшую палубу проносились такие волны, судно так немилосердно мотало, что Луконин отказался от этого плана. Линеметом не сложно забросить на «Коршун» буксирный трос, но закреплять его пришлось бы в слишком трудных условиях.

Никишин, держа мегафон, пытался связаться с Лукониным, вышедшим на мостик. Буря гасила крики. Луконин пригласил капитана траулера к «караваннику». Из радиорубок можно было переговариваться сносно. Никишин согласился, что брать на буксир траулер пока невозможно и что с переброской рукавов от помп спасателя тоже лучше погодить. Они еще поборются, вспомогачи работают, собственные помпы траулера воду тянут слабовато, но без перебоев. Зато Никишин просил забрать с траулера, всех, кроме старпома, второго штурмана и работников механослужбы. И хотя переброска людей была сейчас операцией не менее сложной, чем буксировка, в голосе Никишина слышалось такое волнение, он, видимо, так страшился, что Луконин, увидев траулер на плаву, откажется рисковать, что Луконин сказал только:

— Попробуем, товарищ Никишин!

Он снова вышел на мостик, приложил к глазам бинокль. Рассуждая хладнокровно, он мог и погодить, траулер оседал, но немедленная гибель не грозила — потом, на берегу, строгие эксперты, возможно, укажут, что он решился на риск, не оправданный обстоятельствами. Луконин понимал Никишина. На траулере измученные люди несколько часов провели под гнетущим ужасом смерти. Никишин оставался сам, оставлял всех, кто нужен для продолжения борьбы за существование судна, большего не потребовать. Тех, кто не был настоятельно необходим на траулере, надо было принять на спасатель.

И водя биноклем по воде и по траулеру, Луконин мысленно прикидывал, как подойти поближе, как состыкнуться бортами без резких ударов, без несинхронного качания на волне, без того, чтобы траулер периодически бросало вверх, а буксир вниз. И рассматривая, какие накатываются волны, оценивая их высоту, остроту гребня, ширину оснований, снова и снова проверяя, как бросает траулер и как качает спасатель, Луконин постепенно убеждался, что операция, которую от него чуть ли не с мольбой испрашивал Никишин, осуществима. Но она была трудна, дьявольски трудна. Еще ни разу ему не приходилось решать столь хитрой задачи — Луконин опасался, что всего его мастерства может не хватить. Он не торопился, бинокль описывал дуги, все вновь возвращался к уже осмотренным местам. Луконин не колебался, он хотел всё учесть заранее.

А потом он вернулся в рубку и повел свое судно на сближение. Описав вокруг «Коршуна» полуокружность, спасатель зашел к траулеру с подветренного борта. Впиваясь глазами в ярко освещенную прожекторами все сужающуюся полоску белой, то вздымающейся, то опадающей воды, разделяющей оба судна, Луконин руками командовал сближением. И когда глухое содрогание пронизало корпус спасателя, и «Резвый», сомкнувшись бортом с «Коршуном», стал теснить того на ветер, принимая на себя удары волн, Луконин снял фуражку и вытер платком внезапно вспотевшую голову. Он глубоко вздохнул, в эти последние секунды он забывал дышать. С минуту он молча наблюдал, как ведут себя суда на волне. Валы были так широки, что почти одновременно поднимали и бросали вниз оба судна. К тому же, подрабатывая машиной и нажимая бортом на траулер против ветра, «Резвый» частично погашал безвольную качку «Коршуна» своим корпусом.

— Переполовинили качку! — воскликнул вахтенный штурман и облегченно захохотал. — Можно принимать людей, Василий Васильевич!

Луконин медлил с приказом о приемке людей. На ботдек «Коршуна» выбралось человек пятнадцать, они цеплялись за леера, собираясь прыгать отсюда. Луконин вышел на мостик, еще раз убедился, что никто не провалится в щель, внезапно появившуюся между судами, и что никому не грозит опасность искалечить ноги, если траулер бросит вверх, а буксир вниз. Оба судна качало, как непрочное, плохо пригнанное, но все же что-то единое — Луконин крикнул в мегафон своим, чтобы принимали коршуновцев. С «Коршуна» стали переправляться люди. Луконин посмотрел на часы. Подготовка операции заняла больше часа, сама операция две-три минуты.

Луконин заколебался — стыкование бортами прошло удачно, не перебросить ли на «Коршун» буксирный трос, не завести ли на траулер рукава от помп? О том же прокричал и Никишин. Луконин подавил в себе порыв воспользоваться легким решением. Несколько минут простоять борт к борту удалось, но с трудом добытая синхронность могла развалиться в любое мгновение — и буксирный трос разорвет, и рукава раскрошит. Луконин ответил, что надо придерживаться обговоренного плана.

«Резвый» отвалил от траулера. В рубке спасателя собрались штурманы и начальники служб. Луконин попросил старпома вести переговоры по радио с траулером, а сам вышел на мостик. Буря бросала спасатель с борта на борт, ветер хоть и терявший за рубкой часть своей ярости, старался швырнуть Луконина в море. Луконин, вцепившись руками в леера, неподвижно стоял на крыле, хорошо видный с траулера и из своей рубки. Иногда на мостик траулера выскакивал Никишин и кричал в мегафон, что лучше не становится, но не становится и хуже, надо и дальше работать осушительными помпами.

Всего этого можно было и не делать — ни стоять черным силуэтом на мостике, обдираемом, как железной щеткой, жестоким ветром, ни перекрикиваться в мегафон. Луконин никогда не бравировал пренебрежением к морским обычаям и уставу, он был известен безукоризненной служебной дисциплиной.

Но сейчас он безошибочно понимал, что нужно именно такое нарушение правил. Теперь люди, оставшиеся на траулере, работали уверенно. Рядом находился могучий друг, его бросало, как и их траулер, с борта на борт, но его машины надежно противоборствуют буре, на палубах его герметизированные шлюпки, плоты, спасательные круги, крюки для подтягивания плавающих предметов — такой друг быстро вызволит из пучины, гигантские его прожекторы соринку высветят в волнах, не то что человека. А на мостике спасателя стоит его капитан, спокойный, в черном плаще, в форменной фуражке — и чихать ему на бурю!

И Луконин знал, что когда Никишин выскакивает и кричит в мегафон то, что безопаснее передать бы по радио, то он делает это затем, чтоб убедиться: Луконин тут, он не прячется в недрах своего корабля, он не собирается поддаваться урагану — и будет стоять здесь, уверенный и неподвижный, пока они, с новой энергией борющиеся с проникшей в трюмы водой, не выскочат наружу и не прокричат ему, что наша взяла и полузатонувший корабль поднимает над водой, а не опускает свои мачты.

Час шел за часом, а Луконин продолжал стоять на мостике. Бурная ночь перешла в бурный рассвет, бурный рассвет превратился в стихающее утро. Ураган умчался восточнее, на Норвегию и Мурман. Волнение, поднятое в океане, начало смиряться.

И тогда «Резвый», дрейфовавший около траулера, снова приблизился к нему. На палубу «Коршуна» полетела выброска, к ней были привязаны рукава осушительных насосов. На палубе спасателя показался водолаз в снаряжении — спускаться под кормовой подзор к плененному винту. Механики аварийной службы потащили наверх инструменты, аппараты и материалы и выстроились вдоль фальшборта — переходить на «Коршун» и заделывать там пробоины и щели, какие найдут.

18

Запад, север и юг пропадали во тьме, на востоке светлело. В неподвижном воздухе — всего час назад он грохотал — стояла умиротворенная тишина. И море снова стало обычно темным, по нему ходили обычные волны, оно тихо накатывалось на борт, тихо плескалось. С юга, сверкая огнями, приближался «Тунец». Карпович с Шарутиным вышли на мостик, Краснов — шла к концу его вахта — осматривал в бинокль море. На палубе громоздилась горка буев с номером погибшего траулера. «Бирюза» шла не на сближение с плавбазой, а в сторону от нее.

— Новые добавились? — Карнович показал на буи.

— Новые, — Краснов со вздохом опустил бинокль. — Увидим где-нибудь, идем на него. Но все — пустые...

— И сейчас идете на буй, Ильи Матвеевич?

— Связочка из трех штук в полумиле на норде.

Карнович взял у старпома бинокль и долго вглядывался в связку из трех шаров, колышущуюся на воде.

— Пустые, конечно, — сказал он хмуро. — Но все, что осталось от «Ладоги», нужно подобрать и просмотреть. Все море проверить!

«Тунец» был уже совсем близко, а с юга и востока выкатывались дымки приближающихся траулеров, с каждой минутой их становилось больше. Весь рыбацкий флот, как стало возможно, поспешил в район гибели товарища. Краснов подвел «Бирюзу» правым бортом к связке буев. Степан с багром наклонился над фальшбортом, зацепил связку, подтянул ее и, обернувшись к рубке, закричал:

— Человек за бортом! — Он снова наклонился над связкой, Кузьма энергично помогал тянуть буи. — Два человека! — закричал Степан. — Узнаю Шмыгова.

Через минуту связка была извлечена и опущена на палубу. Костя, привязанный к буям сизальским концом, лежал, широко раскинув руки. Шмыгов держался за связку одной левой рукой, но так крепко, что Степан с Колуном еле разогнули его пальцы. Минуты две, сняв шапки, молча стояли рыбаки над телами погибших товарищей.

— Теперь к плавбазе! — сказал побледневший Карнович. Он прошел в радиорубку и сообщил Березову о новой находке.

Миша присел на крышку трюма, не отводя глаз от погибших. Лицо моториста сохранило — уже навек — выражение ужаса и мольбы, он словно и мертвый еще надеялся на спасение, еще взывал к кому-то о помощи. А Шмыгов, нахмуренный, яростный, продолжал бороться с лихой судьбой, когда и борьбы уже не было, он не смирился и в смерти, он оставался таким же неистовым, грозным по внешности, бесконечно добрым душой, каким успел узнать его Миша.

И Миша вспомнил, как он впервые увидел Шмыгова с Шарутиным и Тимофеем на площади перед «Океанрыбой» и как стармех сразу определил в нем моряка и обещал взять к себе в мотористы, — наверно, и этого паренька так же открыл и увлек за собой. И как Шмыгов озорничал на берегу, легко расшвыривая в угощениях с таким трудом заработанные в океане деньги, и щедро одарял друзей тем, что дороже всех денег и угощений — глубокой сердечной привязанностью. И в мозгу Миши зазвучал вдруг растроганный голос Тимофея: «Какой это друг, Миша, ближе брата, вот такой человек! Четыре месяца его не увижу и вроде осиротел! А потом поедем вместе в Архангельск...» Миша до боли закусил губу. Никуда вы не поедете вместе! Четыре месяца на исходе — и впрямь осиротел Тимофей, все мы в мире стали беднее на одного человека, на прекрасного человека Сережку Шмыгова — не так уж велика утрата одного среди трех миллиардов живущих, — огромная невосполнимая потеря, кровоточащая рана в сердце — утрата этого человека...

— Посунься, Миша, — печально сказал подошедший Шарутин.

Он сел рядом, смотрел на мертвых, лицо его жалко кривилось. Миша видел, что Шарутин с трудом сдерживает слезы.

— Больше он не устроит концерта, Миша, — сказал Шарутин, и Миша догадался, что штурман тоже вспомнил тот весенний веселый день у «Океанрыбы».

Еще несколько человек, закончив срочные работы, подошли поближе, негромко переговаривались. Все знали Шмыгова, кто лично, кто по рассказам. А затем стали появляться спасенные с «Ладоги», и Миша отошел от трюма, чтобы не слышать их сетований и объяснений, почему Шмыгову не удалось спастись. Еще недавно, всего день назад, Миша с жадностью бы вслушивался в их грустные беседы, в каждом слове открывая для себя тревожно новое. Сейчас все слова об испытанном были тусклы в сравнении с тем, что довелось испытать.

Он присел на кнехт, продолжал с печалью думать о Шмыгове и встречах с ним в прошлой жизни. Он так и сказал себе — в прошлой жизни, и не удивился: все, что было до бури, казалось безмерно отдалившимся. Буря переменила масштабы, один ее час перешибал месяцы до нее, столько событий и действий вспоминалось в ней. И Миша чувствовал, что это уже навсегда — в душе пролегла полоса шириной с добрую жизнь, он стал взрослей в эту ночь на целую жизнь. Он невесело усмехнулся — Алексей скажет, когда он вернется: «Как ты возмужал, Миша, здорово тебя переменил один рейс!» Брат будет обрадован переменам в нем, отец, наверно, тоже. Миша не радовался, он чувствовал себя усталым: возмужалость объемистой ношей придавливала плечи. Он знал, однако, что усталость пройдет, а возмужалость останется.

«Бирюза» приблизилась к плавбазе, пришвартовалась к носовому трюму. На мостик и на палубы вышла команда «Тунца». На плавбазу стали перебираться спасенные, потом передали тела погибших. Карнович вручил Березову портфель Доброхотова. Молодой капитан, потрясенный, не мог отвести глаз от Березова. Два месяца назад, впервые поднявшись с траулера на базу, он видел немолодого, но моложавого, энергичного, быстрого, громкогласного человека — сейчас на палубе «Тунца» ему пожал руку осунувшийся старик с вялыми движениями, потухшим взглядом, тихим голосом.

— Впервые у тебя ураган, да? — криво усмехнувшись, спросил Березов. — Первый сорт была буря... Строгий учитель... Всех нас экзаменовала без жалости!

— Как поступим с погибшими, Николай Николаевич? — спросил Трофимовский.

— Твое мнение? — помолчав, спросил Березов.

— Лучше бы всего — домой их... Но я база «теплая», Николай Николаевич. Рефрижераторов на подходе нет?

Березов минуту размышлял. Ближайший рефрижератор подойдет в район промысла дней через восемь, «холодная» база недели через две. Оставлять умерших так долго на борту нельзя. Березов сказал:

— Похороним согласно морским обычаям.

Часа через два весь рыбацкий флот, кроме «Коршуна» и «Резвого», сконцентрировался около плавбазы. «Коршун» сообщил, что обрел способность самостоятельного хода и принял обратно команду со спасателя, но оба судна были еще далеко.

На деревянном щите, водруженном на фальшборте «Тунца», лежали два тела, зашитые в брезент. К ногам их привязали стоп-анкеры — два маленьких адмиралтейских якорька. Вся команда с непокрытыми головами стояла на палубе. Трофимовский после короткой речи скомандовал:

— Предать тела морю!

Тела ногами вперед заскользили по приподнятым доскам, с легким плеском ушли в воду. Первой загудела сирена, «Тунца», ее скорбный голос, подхватили траулеры. Трижды замолкая и вновь звуча, почти пятьдесят гудков, басовитых, бархатистых, пронзительно тонких, оплакивали товарищей, навечно уходящих в пучину.

### Часть третья

### БОЛЬШОЙ ВОДЫ МЕЧТАТЕЛИ

1

Телефон, стоявший в большой комнате, зазвонил так настойчиво, что Алексей босиком побежал к нему. Кантеладзе просил немедленно приехать в управление. Алексей посмотрел на часы, шло к пяти утра. Из спальни, разбуженная звонком, Мария вынесла туфли и, еще сонная, спросила, почему ранний вызов. Алексей ответил, что в Северной Атлантике бушует буря, от Березова пришли нехорошие радиограммы, но читать их по телефону управляющий не захотел.

— Я помогу тебе одеться. — Сон сразу слетел с Марии. Она побежала в спальню за рубашкой, брюками и пиджаком. Алексей торопливо одевался. Мария с тревогой сказала: — Неужели несчастье с судами? Иначе, зачем Шалва Георгиевич вызывает тебя?

— Все может быть, — отозвался Алексей.

К дому подъехала машина. Из правой половины дома выскочил Соломатин. Они сели в заднюю кабину, Алексей тихо спросил:

— И тебе позвонил Шалва? В двенадцать часов ночи диспетчер сообщил, что в Атлантике буря, но суда штормуют благополучно. Не случилось ли беды за эти четыре часа?

— Все может быть за четыре часа урагана, — ответил Соломатин почти теми же словами, какие говорил Алексей жене.

В здании «Океанрыбы» было темно и пусто, лишь в коридорах тлели ночные лампочки. Кантеладзе, один в кабинете, шагал по ковровой дорожке. Одного взгляда на лицо управляющего было достаточно, чтобы понять, что стряслась беда. Кантеладзе кивнул на стол, там лежали радиограммы.

— Читайте.

Радиограммы от Березова обычно шли один-два раза в сутки. Эти, сегодняшние, поступали каждый час. Соломатин негромко читал их одну за другой, Алексей, стоя рядом, следил глазами через его плечо. В первой радиограмме, той, которую диспетчер в полночь объявил руководителям треста, флагман информировал берег, что на промысел обрушился ураган небывалой мощи, но суда пока штормуют без аварий. То же повторялось во второй, а третья сообщала, что принят сигнал бедствия от неизвестного судна. Еще две радиограммы уточняли, где ищут призывающего их на помощь товарища, а пятая, последняя, извещала о гибели «Ладоги» и аварии на «Коршуне»: четырех человек с «Ладоги» спасти не удалось, остальные в безопасности, к «Коршуну» спешит «Резвый».

— Доброхотов погиб! — со вздохом сказал управляющий. — Такой капитан погиб! Всех спасли, а его не сумели!

— Еще Шмыгов и моторист с боцманом погибли, — напомнил Алексей.

Кантеладзе все быстрей ходил по ковровой дорожке.

— Такой капитан, такой капитан! — повторял он. — Он же знает море, как никто, он же первый морской волк! И Сергей Севастьяныч! На берегу шебутной, а в море — он же мастер, у него же триста лет морского стажа, считая со всеми предками. И его не спасли! Почему, хочу я знать?

Кантеладзе сел за стол, смотрел на Соломатина, словно от него одного ждал исчерпывающего ответа. Соломатин сдержанно сказал:

— Капитан последним покидает гибнущее судно, стармех тоже. Вероятно, в этом причина, что их не спасли.

— Вероятно, вероятно! — вдруг вспылил управляющий. — А что наверно, дорогой Сергей Нефедович? Наверняка то, что вам очень повезло! Вы на берегу, вместо вас в океан ушел Николай Николаевич, ему сейчас так плохо, что и сказать не могу. И еще одно — и тоже наверняка: скверно мы с вами подготовили промысел, если одно судно погибло, а другое гибнет!

Соломатин, побледнев, опустил голову. Еще никогда Кантеладзе так прямо не упрекал, что он изменил морю. Управляющий, по натуре вспыльчивый, умел держать себя в руках. Упреки, горькие сетования не были ему свойственны — все такие «выплескивания души» мешали, а не помогали руководить. И если сейчас он взорвался, то, очевидно, уже не мог сдержать того, что давно накипело на душе.

Алексей почувствовал, что нужно вмешаться.

— Кто из нас и в чем виноват, будет еще время выяснять. Сейчас единственно важное — что с «Коршуном»? Удастся ли его спасти? Если «Коршун» погибнет, погибнет весь экипаж, а не четыре человека!

Кантеладзе, сорвав трубку с телефона, раздраженно закричал:

— Где очередная радиограмма? Почему не несете радиограммы?

Он услышал, что новой радиограммы не принято, и снова стал ходить по ковровой дорожке. Несколько минут прошли в молчании, потом торопливо вошел диспетчер с лентой в руках. Кантеладзе вслух прочитал:

«Луконин начал спасательные работы. Две трети экипажа „Коршуна“ приняты на борт „Резвого“, Никишин с оставшимися успешно поддерживает траулер на плаву. Ураган ослабел, скорость ветра падает. Луконин скоро приступит к освобождению винта на „Коршуне“ и заделке пробоин. Повреждения на других судах выправляются силами самих команд. Березов».

— Наконец-то! — Кантеладзе передал радиограмму Соломатину.

Диспетчер стоял, словно ожидал, что к нему обратятся с вопросами. Кантеладзе, вдруг снова вскипев, крикнул:

— Что еще случилось?

— Елизавета Ивановна только что звонила, — негромко сказал диспетчер. — Интересовалась, нет ли радиограммы от мужа...

— И ты ей сказал? Ты ей все сказал?..

— Я сказал, что радиограмм пока не поступало. И когда придут, сами ей позвоним.

— Правильно ответил. Теперь иди, дорогой, теперь иди! И если что будет, немедленно сообщай.

Кантеладзе опять возвратился в кресло, устало положил на стол волосатые руки. За окном рассвело, дневной свет смешался с электрическим. Лицо управляющего в смешанном свете казалось бледно-серым.

— Вот так, дорогие мои, — заговорил он. — В океане свои заботы, а у нас свои. Такой капитан, такой рыбак погиб!.. И надо отвечать его жене... А что мы знаем? И когда узнаем, как рассказывать?

— Один из нас должен поехать к ней, — ответил Алексей.

— Я не поеду, — дрогнувшим голосом сказал Соломатин. — Поймите меня, товарищи: я не могу разговаривать с Елизаветой Ивановной.

Кантеладзе опять вскочил и взволнованно заходил по кабинету.

— Понимаю, — сказал он через минуту. — Значит, ты, Алексей Прокофьевич.

— Значит, я, — отозвался Алексей и потянулся к телефонной трубке.

Алексей сообщил жене, что Доброхотов погиб в океане, и попросил возвратиться домой: сегодня Елизавету Ивановну нельзя оставлять одну.

— Пойдешь вместе с Олей, — сказал Соломатин. — Я позвоню, чтобы ждала твоего прихода.

Вошел диспетчер с новой радиограммой. Березов извещал, что спасательные работы на «Коршуне» завершены, что в океане найдены мертвые Шмыгов с мотористом Сидельниковым на связке буев, и описывал, как погибла «Ладога».

— Теперь я иду, — сказал Алексей.

На улице было совсем светло. Алексей остановил машину неподалеку от дома, но не поднялся сразу наверх, а обошел дом садом: Елизавета Ивановна могла увидеть его из окна — пришлось бы объясняться без Ольги Степановны. Стараясь, чтобы шаги по лестнице не донеслись в квартиру Доброхотова, он тихо стукнул в дверь Соломатина. Дверь так же тихо раскрылась. Алексей вполголоса рассказал о несчастье, дал последнюю радиограмму Березова. Ольга Степановна, побледнев, положила руку на грудь. Алексей ожидал, что она станет договариваться, как держаться с Елизаветой Ивановной, сразу ли сообщать о горе или готовить к страшному известию исподволь. Но Ольга Степановна сказала:

— Алексей, пожалуйста... Я знаю, ты не способен что-либо скрыть. Что с Сережей? У него был такой голос...

Алексей помедлил с ответом.

— Он сам тебе скажет о своем состоянии.

— Он не скажет. Он будет щадить меня. Но ты скажи откровенно... Я боюсь одного: он не может не думать о том, что должен бы сегодня быть на месте Николая Николаевича.

Алексей сухо ответил:

— Ты должна радоваться, что Сергей сегодня не в океане. Можешь чувствовать себя счастливой.

Она чуть не крикнула:

— Да, радуюсь! Я женщина, не требуй от меня сверх того, на что я способна. Но могу ли я быть счастливой, если Сережа сейчас грызет себя? Ты подумал об этом?

Она стала вытирать слезы. Алексей печально сказал:

— Как разговаривать с Елизаветой Ивановной? Все спрашиваю себя об этом и все не могу найти ответа.

— Пойдем, Алексей, — Ольга Ивановна порывисто встала. — Не будем ни о чем заранее уславливаться. Одно наше совместное появление скажет Лизе больше, чем все осторожные подходы.

Алексей спускался на первый этаж позади Ольги Степановны. Она постучала в дверь. Елизавета Ивановна, открыв, радостно заулыбалась подруге. Но увидев, что за ней входит Алексей, Елизавета Ивановна вдруг схватилась рукой за стену, потом медленно, словно не держали ослабевшие ноги, отодвинулась в комнату.

— Я знаю — несчастье! — воскликнула она, обретя через несколько секунд голос. — Мне так странно отвечали из диспетчерской!.. Алексей Прокофьевич, ради бога!..

Алексей опустил голову. Ольга Степановна быстро сказала:

— Лизанька, родная моя! Да, несчастье... Помнишь, мы не раз с тобой гадали, как нашим в океане... Лизанька, милая, так все ужасно!

Елизавета Ивановна опустилась в кресло, вся побелев. Алексей подошел к ней.

— Сегодня ночь в Атлантике разразилась буря, Елизавета Ивановна. На «Ладоге» отказал двигатель, судно заливало водой...

Она протянула руку, с усилием прошептала:

— Покажи!..

Он дал ей радиограмму Березова.

Она прочла ее, посмотрела остекленевшими глазами куда-то вдаль, снова перечла радиограмму, рука, не выпускавшая листочка со страшным известием, упала. Елизавета Ивановна закрыла глаза, стала заваливаться набок. Ольга Степановна обняла ее, целовала, что-то шептала и плакала. Алексей стоял перед ними, понимая, что надо сказать что-то утешительное, — и одновременно сознавал, что любые слова будут оскорбительно малы. А Ольга Степановна все плакала, все обнимала Доброхотову, та тесно прижалась головой к ее груди, бессильно молчала...

Ольга Степановна сделала знак Алексею, чтобы он уходил. Он медленно повернулся, медленно пошел к двери, там остановился. Ольга Степановна жестом снова велела уйти. Он тихо удалился, постоял минуту в парадном. Снаружи вбежала Мария. Он показал рукой на дверь.

— Лиза в сознании? Кто с ней? Я взяла чемоданчик с лекарствами.

Он глухо ответил:

— С ней Ольга. Елизавета Ивановна молчит, а Оля плачет около нее. Оля попросила меня уйти.

Тогда и Мария заплакала. Она обняла мужа, опустила голову на его плечо, вся тряслась от рыданий. Алексей, молча сжав губы, подтолкнул жену к незапертой двери. Еще никогда ему не хотелось так самому заплакать. И он всей болью души ощущал, что слезы, какие лились у Марии и Ольги, были сейчас единственным утешением, в каком нуждалась жена Доброхотова.

2

Несколько траулеров, закончив рейсовый срок, возвращались в порт, среди них «Бирюза». Карнович в последний раз сдал на «Тунец» улов, получил от Березова последние наставления, принял радиограмму из «Океанрыбы» с благодарностью за спасенье команды «Ладоги» и налегке «побежал» из Атлантики в Северное море. Экипажу не терпелось поскорее прийти домой. Но беспокойный капитан помнил, как им повезло в Северном море, когда осенью шли на промысел, и все поглядывал на эхолот: неутешительный прогноз промразведки подтверждался, «большая сельдь» в этом году в здешних водах не шла, но ловить удачу можно было и там, где не развертывали регулярного промысла.

И когда в какое-то промозглое утро эхолот показал, что траулер проходит над сельдяной стаей, Карнович заволновался. Экипаж поддержал капитана, ради верной добычи стоит задержаться денек-другой. Чтобы не было придирки, Карнович известил о задержке «Океанрыбу». С берега радировали приказ сдать добычу свежьем на «холодную» базу «Онега», та шла на промысел, встреча с ней могла состояться у выхода из Северного моря в открытый океан.

— Великолепно! — воскликнул обрадованный капитан, когда радист подал радиограмму из «Океанрыбы». — Возьмем подарок Нептуна, тут же сдадим под расписочку и снова побежим налегке.

По прибору, сельдяной косяк был размеров внушительных, Карнович выметал столь же внушительный порядок — почти полторы сотни сетей. Но то ли в последний час рыба ушла на глубину, то ли стая рассредоточилась, но улов получили много меньше первого.

— Пятнадцать тонн! Не фарт, конечно, но и не рядовая пахота в море! — утешал капитана Шарутин, а Краснов высказался, что на перевыполнение рейсового задания и эта добавка скажется.

Встреча с «Онегой» состоялась в указанном месте и в указанное время. «Бирюза» пришла раньше обусловленного срока и легла в дрейф, поджидая приближающуюся базу: Карнович не простил бы себе и малого опоздания и надолго поссорился бы с Шарутиным, если бы тот хоть немного ошибся при расчете курса.

Перегрузка улова на базу должна была занять несколько часов. Она уже подходила к концу, когда произошло несчастье. Кузьма поскользнулся на палубе, траулер в этот миг качнуло — Кузьма ударился головой о планшир и не сумел сам подняться. Краснов распорядился немедленно доставить пострадавшего в медпункт базы. Степан и Миша помогли Кузьме подняться на базу, провели в медпункт, уложили на койку. Два врача склонились над Кузьмой.

В приемную вбежал Карнович. К нему подошел один из врачей.

— Серьезной опасности нет, капитан. Но удар сильный. Лучшее средство — дня три-четыре спокойно вылежать в постели. Большая тряска и толчки могут ухудшить состояние раненого.

Карнович чуть не в отчаянии развел руками.

— Вы знаете прогноз синоптиков? Ожидается ветер баллов на восемь, а нам до Светломорска дня четыре пути. Такая будет тряска!

Из операционной вышел второй врач.

— Больного надо оставить на базе. У нас качка слабей, и при нужде всегда окажем срочную помощь. Он пойдет с нами на промысел, по дороге полностью поправится и там пересядет на любой траулер, возвращающийся в порт. Задержка выйдет против вашей на неделю, не больше.

— Надо еще, чтобы Куржак согласился на такую задержку.

— Он сам предложил это.

Карнович со Степаном и Мишей вошли в палату. Кузьма лежал с перевязанной головой. Он подтвердил, что согласился остаться на базе на время поправки. Карнович пожелал матросу счастливого выздоровления и сказал Степану:

— Боцман, даю вам минуту на прощание. Ваше место сейчас на палубе «Бирюзы».

Карнович ушел, Степан торопливо попрощался с другом и удалился за капитаном. Кузьма сделал Мише знак, чтобы тот задержался.

— Мои, конечно, прибегут к тебе узнать, что да как со мной...

— Я сам пойду к ним, — поспешно сказал Миша.

— Это все равно — они ли к тебе, ты ли к ним. Главное — не расписывай происшествия. Через неделю буду здоров. Не хочу нагнетать беспокойства.

— Неделю, пока ты не вернешься, они побеспокоятся, как бы я ни уверял, что все в порядке.

Кузьма, лежа на спине, сосредоточенно смотрел куда-то вверх.

— Ну, неделю или другое время... Какое это имеет значение?

— Не понимаю тебя. — Миша с удивлением смотрел на товарища. — Говоришь так, словно самому безразлично, когда возвратишься домой.

Кузьма хмуро сказал:

— Не знаю... Может, и так. Чего радостного на берегу?

— Ты всегда признавался, что об одном думаешь в рейсе — скорей бы домой.

Кузьма ответил не сразу.

— Море надоедает, точно. А берег огорчает. Что сильней? Когда одно сильней, а когда — другое.

— У тебя сейчас упадок сил, Кузя. Выздоравливай скорей! Кузьма протянул руку.

— Топай, Миша. До встречи.

«Бирюза», закончив сдачу улова, отвалила от борта «Онеги». Предсказанный штормовой ветер еще не приблизился, но густо повалил снег.

Море катилось вслед траулеру черными валами, вырывавшимися из снегового тумана. «Бирюза» на максимальной скорости уходила от ветра, но к вечеру он ее нагнал. В эту ночь Мише казалось, что чья-то недобрая рука непрерывно его будит — то толкнет в плечо, то потащит за ноги, то рывком перевернет с одного бока на другой. Колун, третий сосед по кубрику, часто приподнимался и охал.

— Погода — самая неприятная, — пожаловался он, когда прозвучал сигнал выходить наверх. — Не буря, но и отдохнуть не думай в такую болтанку.

Плохая погода не мешала Колуну в дневные часы сидеть на своем обычном месте на горке дели, под рубкой, и чинить прохудившиеся сети. Миша помогал ему, но вяло: пропало прежнее старание. Мишу волновала мысль о встрече с теми, кто остался на приближавшемся берегу. Все, о чем он старался забыть в течение стодневного рейса в океане, все, о чем просто не было времени размышлять во время авралов, вахт и подвахт, все это, полузабытое, отстраненное от насущных дел и дум, — вдруг ожило, возобновилось, овладело мыслями. И прошлое виделось сейчас иным, чем оно в свой час переживалось. Три с лишним месяца труда в океане, великая буря, гибель Шмыгова и Доброхотова, спасение гибнущих товарищей — каждое событие оставило след в душе, душа не могла сохраниться прежней. И Миша радовался, что новыми глазами взглянет на знакомые лица. Он мысленно разговаривал с Анной Игнатьевной. Она увидела в нем шалопая, развязного покорителя сердец, он не мог показаться ей иным. Разве брат не этими суровыми словами заклеймил его поведение? Алексей прав и неправ — прав, что увидел тогда Мишу таким, неправ, что не понял — это только внешнее, на деле все гораздо серьезней. «Я люблю Анну, я женюсь на ней, еще никто не был мне так дорог», — скажет он Алексею. И никогда теперь брат не бросит ему этого страшного слова — пошляк.

3

«Бирюза» пришла в Светломорск в середине дня. Мишу встретили отец и Юра, отпросившийся из школы для встречи дяди. За четыре месяца Юра основательно вытянулся, он был в том возрасте, когда мальчики быстро растут. А Прокофий Семенович с восторгом повторял, что Миша обветрился, поздоровел, выглядит могучим мужчиной, а не юнцом. Миша спросил, знают ли на берегу о событиях в океане. Прокофий Семенович знал обо всем.

— Елизавета Ивановна плоха! — сказал отец. — К ней прилетел из Севастополя сын Павел, хочет взять к себе. Алексей передавал, что ты да Кузьма пытались вытащить Бориса Андреевича из пучины, но не смогли. Верно?

— Еще Степан помогал. Но обрушилась волна, меня смыло за борт, а Бориса Андреевича потянуло на глубину. Я видел его лицом к лицу, отец!

— Ты будешь это все рассказывать Елизавете Ивановне?

— Не знаю... Может быть, раньше поговорить с сыном?

— Он сегодня придет к нам. Еще хочу предупредить: Алевтина в панике, она вообразила о Кузьме бог знает что.

— Ничего с Кузьмой чрезвычайного. Небольшая травма. Через недельку вернется с другим пароходом.

Прокофий Семенович недоверчиво покачал головой.

— Алексей запрашивал «Онегу», ответили, как и ты: травма не опасная, выздоровление идет быстро. А от Кузьмы пришла странная радиограмма, просит поменьше расспрашивать о болезни. В общем, Лина тревожится.

— Больше, чем знаю сам, рассказать не могу.

Они ехали в такси. Юра попросил рассказать о буре. В газете писали, что такого свирепого урагана еще не знали светломорцы. Это верно? Как может человек устоять на ногах, когда ветер так страшно бросает судно? Миша обнял Юру. О буре еще поговорим не раз! Буря в океане — тема неисчерпаемая.

Дома сидел гость — Павел Доброхотов. Миша еще никогда не видал такого фамильного сходства. Правда, сын был выше приземистого отца, был строен, подтянут, тонкое молодое лицо еще не приобрело отцовской широты и скуластости. А Мише показалось, что он видит самого Бориса Андреевича, но только помоложе, покрасивей, поэлегантней: Павел говорил тем же голосом, что Борис Андреевич, он так же подчеркивал жестом слова, у него были такие же глаза, губы, брови, он так же хмурил эти отцовские брови, как сам отец, даже с тем же отцовским нетерпением и резкостью возражал, если что не нравилось — вероятно, у себя на военном корабле был таким же властным, быстро соображающим, категорическим командиром, каким отец был многие годы капитаном на своей всегда удачливой, лишь однажды попавшей в беду «Ладоге».

— Вам надо отдохнуть сегодня, — сказал Павел после короткого разговора. — Завтра я прошу вас к нам.

— Вы хотите, чтобы я рассказывал Елизавете Ивановне все подробности? — осторожно спросил Миша.

— Да. Мама почувствует, если вы что скроете. И потеряет доверие к вашему рассказу. Она непрерывно думает об отце.

— И вы не боитесь?

— Нет! — резко прервал Павел. — Я боюсь лишь того, что она вообразит, будто отца не спасли по небрежности, по недостаточному старанию... Но я моряк сам и знаю, как любой моряк помогает в беде товарищу. Ваш рассказ укрепит ее веру, что в несчастье люди не виноваты...

После обеда Миша прилег соснуть. Его разбудил Степан. Он пришел к Куржакам, Петр Кузьмич еще в заливе. Только что вернулась Алевтина, она просит Мишу спуститься к ним.

Алевтина по-рыбацкому обычаю прежде всего сердечно поздравила Мишу с благополучным возвращением, крепко пожала руку и тут же стала засыпать вопросами о Кузьме. Степан уверяет, что ранение у Кузи не опасное, она не верит Степану. Она должна знать правду. Миша последним видел Кузьму, последним с ним разговаривал. О чем шел разговор? Какое настроение у Кузи?

Она так впивалась в Мишу темными горячими глазами, в голосе ее звучало такое волнение, что Миша, если бы и захотел соврать, не сумел бы. Нет, беспокоиться не надо, травма не опасна. А настроение, конечно, неважное, ведь возвращение на неделю-полторы откладывается. Говорил, что по выздоровлении пересядет с базы на первый же траулер, возвращающийся в порт.

— Все, как я сказал, Лина! — воскликнул Степан. Она смотрела только на Мишу.

— Тогда почему он радировал, чтобы поменьше интересовались его здоровьем? Радиограмма отправлена на третий день после разговора с тобой. Что могло случиться за два дня?

— Этого не знаю, — чистосердечно ответил Миша. — Думаю, ничего не случилось. Наверно, неудачно составил радиограмму.

— Вот это и хочу узнать — неудачно или преднамеренно? Алевтина схватила клочок бумаги, быстро что-то написала.

— Мама, — сказала она Гавриловне. — Я запрашиваю от вашего имени, чтобы Кузя подробно ответил, когда его ждать. Подпишите.

Гавриловна отмахнулась от листка.

— Что ты, Лина! Ты жена, ты сочиняй писульки мужу.

— А вы мать! И вам он ответит по-иному, чем мне. Ему почему-то хочется мучить меня! Подписывайте.

Гавриловна нехотя взяла карандаш.

— Задаст мне старик, что от себя посылаю радиограммы.

— Отцу я все объясню. А сейчас пойду к Сергею Нефедычу, попрошу, чтобы сам отправил. Кузя его матрос, он всегда к нам хорошо относился.

Вечером к Алексею пришли Соломатины. Миша рассказывал брату и Сергею Нефедовичу, как они шли на спасение «Ладоги», почему не удалось спасти всех. Ольга Степановна молчаливо плакала, Мария Михайловна, обняв ее, прижалась к подруге. Алексей сказал:

— Страшное несчастье! Твой рассказ запишут, Миша. Назначена комиссия по расследованию обстоятельств гибели «Ладоги», мы с Сергеем Нефедовичем входим в нее. Будем вызывать всех, кого спасли на «Ладоге», и всю команду «Бирюзы». Тебя попрошу припомнить все подробности, все мельчайшие факты, для нас все важно: на море больше не должны повторяться такие беды!

Перед тем как идти спать, Миша попросил брата задержаться в гостиной.

— Хочу посоветоваться наедине, Алеша. Задумал одно важное дело. Для начала скажи, кто-нибудь мной интересовался?

— Многие интересовались. Тимофей Прохоров спрашивал о твоем здоровье. Мне он не показался таким бродягой, каким ты его описывал. Человек приличный, вежливый.

— Анна Игнатьевна не звонила?

— У нее забот хватает без тебя.

— Что такое?

— Здание, в котором она живет, поставлено под восстановление, завод выделил ей квартиру в новом доме. На днях переедет.

— Откуда ты знаешь?

— Я тебе уже говорил, что Юра и Варя, ее дочь, одноклассники и большие друзья. Варя поделилась с Юрой своей радостью.

— Отлично. Можно сказать — двойная удача! Алексей с удивлением глядел на брата.

— В чем ты видишь удачу, Миша?

— Не удачу, а двойную удачу, Алеша! В рейсе я много думал об Анне Игнатьевне... В общем, хочу на ней жениться! Ордер на отдельную квартиру — лучшее приданое.

— Это то важное дело, о котором тебе надо узнать мое мнение?

— Неужели ты против?

— А ты надеялся, что я назову твое намерение великолепным?

— Назови просто хорошим. С меня хватит и этого. Надеюсь, теперь не видишь во мне пошляка?

Алексей с улыбкой покачал головой.

— Возможно, я ошибся, и твое чувство глубже, чем мне показалось. Это не меняет положения. Я раньше обвинил тебя в легкомыслии, сейчас обвиню в неблагоразумии.

Миша с огорчением воскликнул:

— Алешка, нельзя же так! Что ты имеешь против нас?

— Против тебя — ничего. Тем более — против нее. А против вашего соединения имею многое. Счастья не получишь, а ее сделаешь несчастной.

— Много ты понимаешь в счастье! — вспылил Миша.

— Достаточно, чтобы сообразить, что Анна Игнатьевна выставит тебя за дверь, когда явишься с предложением.

Миша сердито вскочил.

— Завтра явлюсь к Анне, сделаю предложение, получу согласие и приведу в гости. Надеюсь, ты примешь мою будущую жену с уважением?

Алексей ласково обнял брата за плечи.

— Миша, дорогой, Анна Игнатьевна всегда, может рассчитывать на доброе к себе отношение. Но завтра к ней не ходи. Ты четыре месяца был в море один, одиночество порождает особые чувства и особые мысли. Дай себе остыть. Неделю пошагай по твердой земле, может, станешь глядеть на вещи немного иначе.

— Ты считаешь, что твердые мои решения возникли на зыбкой почве моря, а на твердой земле решения станут зыбкими? — пошутил Миша.

Алексей легонько подтолкнул брата к комнате, где спали отец и Юра.

— Я считаю, что надо спать и что утро вечера мудренее.

Миша, уставясь глазами в темноту, возобновлял в уме спор с братом. На душе было смутно. Миша удивлялся брату, удивлялся себе. Алексей не захотел его понять. А он не сумел убедить Алексея и растерялся. Да и чем бы он смог переубедить брата? Словами против слов? Брата убедит только дело, слова не нужны. Ты еще увидишь, Алеша, молчаливо разговаривал с братом Миша, ты увидишь, как сильно во мне ошибался.

Уже засыпая, он сказал себе, что завтра к Анне можно и не ходить, ничего не изменится, если он и не поспешит с объяснением. Суть не в том, вода ли под ним или суша, мечты в одиночестве о встрече или реальная встреча. Он решил — и точка! Днем позже, днем раньше — какое это имеет значение?

4

Утро прошло на «Бирюзе», Миша домой вернулся к обеду. Павел увидел в окно Мишу, когда тот проходил мимо их квартиры, махнул рукой — скоро приду! Он выждал ровно столько времени, сколько Мише понадобилось, чтобы умыться и переодеться. Юра, готовивший уроки, оторвался от стола и попросил разрешения еще раз послушать рассказ о буре в океане. Миша хотел было отказать, но Павел согласился взять Юру.

— Ваш племянник был любимцем моего отца, частым слушателем его рассказов. Мама всегда радуется, когда он приходит.

Павел вошел первый, громко крикнул в комнату: — Мама, это мы с Михаилом и Юрой.

Юра быстро скинул пальто, Миша не торопился раздеваться, его страшила встреча с Елизаветой Ивановной. Она сама вышла в прихожую. Миша слышал от отца, что жена Доброхотова очень переменилась — опасаются за ее здоровье. Внешне ничего в ней не показывало перемены. Такая же рыхлая и замедленная, она пропустила гостей вперед, предложила им сесть на диван, сама уселась в кресло — Павел придвинул его к дивану.

— Вы, наверно, голодны, хотите, покормлю вас? — спросила она.

Миша отказался, он недавно поел на «Бирюзе». Павел набросил на плечи матери пуховый платок. Елизавета Ивановна сказала:

— Рассказывайте, Миша, ничего не скрывайте и не приукрашивайте.

И хотя Павел предупредил Мишу, что рассказ должен быть откровенным, и сама Елизавета Ивановна просила именно такой откровенности, Миша решил про себя, что говорить обо всем нельзя, надо излагать только то, что невозможно скрыть или прикрасить. Едва начав рассказ, он понял, что не имеет права что-либо скрывать или освещать иначе, чем оно было. Елизавета Ивановна смотрела, прямо в глаза, любая неискренность становилась невозможной. И хотя она слушала, молчаливая, неподвижная, зябко кутаясь в платок — а в комнате было жарко натоплено — но порой вдруг делала движение плечами, поворачивалась в кресле — и это было как раз, когда Миша пытался что-то недоговорить, что-то, показавшееся несущественным, опустить. И Миша рассказывал обо всем, что помнил, перед ним снова была картина разбушевавшегося океана, он говорил о буре, о себе, о товарищах....

И он описывал, как, получив штормовое предупреждение с «Тунца», они кинулись убирать палубу; и как капитан торопил их с мостика, властно покрикивая в мегафон, если медлили или работали неаккуратно; и как Миша волновался, это был первый ураган в его жизни, он боялся, что покажет другим свою трусость; и как дико налетела буря и стала швырять траулер, и было до того плохо, что казалось легче умереть, чем выносить такую болтанку; и как кто-то вдруг вбежал в салон и закричал, что принят сигнал бедствия; и как боцман поспешил в рубку узнать, с кем бедствие, а они в салоне спорили, с каким судном беда, и по всему выходило, что это «Ладога», но никто не мог поверить, что «Ладога» терпит бедствие, с любым траулером могла произойти авария, только не с тем, каким командовал Борис Андреевич; и как боцман ворвался в салон с приказом одеваться по-штормовому, чтобы идти на спасение товарищей; и как мучительно долго тянулись минуты, когда они толпились у входа на палубу, пока «Бирюза» пробивалась на сближение с тонущей «Ладогой»; и как новый приказ капитана заставил их выскочить наружу, и они увидели в клочке кипящего моря, освещенного люстрами и ракетами, бьющихся в волнах людей; и как одного за другим вытаскивали на палубу, а последним увидели Бориса Андреевича со сбитой повязкой на лице, с портфелем, висящем на руке; и как «Бирюза» надвинулась бортом на Доброхотова, а Кузьма ухватил капитана «Ладоги» за портфель, но только сорвал портфель с руки; и как снова Кузьма и Степан, перегибаясь через фальшборт, пытались ухватить капитана, а Миша, страхуя, держал сзади Кузьму; и как прокатившийся через палубу вал швырнул Мишу за борт, и он погрузился рядом с Борисом Андреевичем; и как какую-то бесконечно длинную секунду Миша видел Бориса Андреевича, а потом Мишу отшвырнуло в сторону, а Бориса Андреевича вдруг завертело и унесло....

Уже в середине рассказа Миши Елизавета Ивановна стала плакать. Она плакала беззвучно, не вытирая слез, они лились по щекам, падали с подбородка на грудь. И она не сводила с Миши глаз, и от того, что она, не утирая щек, все смотрела и смотрела, как будто взглядом, а не слухом воспринимала слова, Миша не мог остановиться, чтобы дать ей успокоиться, не мог упустить никакой подробности гибели Доброхотова. И лишь — уже скороговоркой — сказав, что когда вал пронесен, и Кузьма со Степаном помогли Мише взобраться на палубу, и все они еще долго всматривались, не всплывет ли Борис Андреевич, но он уже не всплыл, — Миша закончил:

— Больше я ничего не знаю, Елизавета Ивановна.

Она долго вытирала платком глаза и щеки. Павел, молчаливый, побледневший, положил ей руку на плечо и тихо погладил. Елизавета Ивановна сказала:

— Миша, вы говорили со спасенными с «Ладоги», прежде чем они перешли на «Тунец». Что они рассказывали?

Миша, колеблясь, ответил:

— Елизавета Ивановна, вам лучше бы поговорить с ними самими. Некоторые уже вернулись на берег, их можно вызвать.

— Я приглашала тех, кто вернулся. И попрошу потом прийти всех, кто пока в океане. Я знаю, что они сейчас говорят о гибели «Ладоги». Но я хочу знать, что они говорили в ночь, когда вы их спасли.

Миша посмотрел на Павла, тот утвердительно кивнул. Миша снова рассказывал, как они расспрашивали в кубрике и салоне спасенных, и что те отвечали, потом добавил, как утром, в уже успокоившемся океане обнаружили Шмыгова и Костю. На этот раз Елизавета Ивановна, прикрыв глаза, порой наклоняла голову, как бы подтверждая, что Миша передавал. Было видно, она ищет в его рассказе не новых фактов, а уверенности, что все, ей раньше рассказанное спасенными, правда.

Она с трудом поднялась с кресла.

— Миша, я попрошу вас задержаться. У меня испечен торт, хочу угостить вас.

— Я приготовлю чай, — сказал Павел и ушел на кухню. Юра подошел к шкафам, протянувшимся вдоль двух стен: в первом были разные книги на морские темы, все остальные хранили морские диковинки. Елизавета Ивановна обняла мальчика.

— Помнишь, Юрочка, как Борис Андреевич описывал свои путешествия? Ты приходил к нам то один, то с товарищами. Борис Андреевич так любил твои посещения!

— Больше никто нам не расскажет, из каких морей привезены эти сокровища! — печально сказал Юра.

Она помолчала с полминуты.

— А что тебя интересует, Юрочка?

— Вот это и вот это. — Юра показывал на разные экспонаты.

— Они из Австралии, Юрочка. Все в этом шкафу — оттуда. Борис Андреевич ходил туда на торговом судне вторым штурманом, они грузили там австралийскую шерсть. Правда, красивые кораллы, вот эти красные? А это настоящий бумеранг, Борис Андреевич его выменял на комплект матрешек. А набор этих деревянных уродцев куплен в Гонконге. Это был очень интересный рейс, приключения начались сразу, как вышли из Владивостока.

Миша, стоя позади, рассматривал то, о чем она рассказывала. А через несколько минут ему вдруг показалось, что рассказывает не она, а сам Доброхотов. Ее голос изменился, в нем сперва зазвучали интонации мужа, потом и речь стала другой, теперь она говорила будто его словами, это был как бы его собственный рассказ. И если бы она, оговорясь, произнесла: «И в тот день, Юра, нас долго мотал тайфун в Желтом море, и мы два дня отсиживались в Циндау, починяясь и отдыхая» — Миша бы не удивился, фраза, естественно вплетясь в повествование, не показалась бы оговоркой.

Павел принес торт, расставил стаканы. Елизавета Ивановна пригласила к столу. Юра сказал:

— Вы так интересно рассказываете, тетя Лиза! Можно, я еще приду к вам? Мы часто говорим в классе о коллекции Бориса Андреевича.

Она положила Юре на блюдце большой кусок торта.

— Приходи, Юрочка. И товарищей приводи. Борис Андреевич собирал коллекции, чтобы их все видели.

После чая Павел проводил Мишу и Юру до их квартиры. Миша спросил, не расстроил ли он Елизавету Ивановну слишком подробным описанием бури. Павел ответил:

— Для мамы нет ничего слишком подробного, когда говорят об отце. — Он помолчал. Юра поднялся наверх. Молодой Доброхотов, как-то вынужденно улыбнувшись, снова заговорил: — Знаете, я в нерешительности... Мне пора уезжать. Нужно упаковывать коллекции отца, продать часть мебели, в Севастополе у нас своя. А мама отказывается уезжать, пока не вернутся все, кто плавал на «Ладоге».

— Разве вы не можете потребовать, чтобы она ехала с вами?

— Нет, не могу, — печально сказал Павел. — То есть могу... Но не должен, что ли. Я думаю о том, что она в Севастополе будет часто сидеть одна, у нас пока нет детей, я — в походах, жена работает в театре, поздно возвращается... И будет думать о том, что кто-то еще есть, кто видел отца в последние часы жизни, слышал его последние слова, а она не дождалась этого человека... Я не в силах так жестоко поступить с ней! Но как ее оставить в Светломорске?

Миша ответил, что здесь к Елизавете Ивановне каждый день ходит Мария Михайловна, рядом живут Соломатины, он, Миша, тоже в свободные часы будет заходить. Сегодня Елизавета Ивановна так интересно рассказывала о коллекциях мужа, ему показалось, что он слушает самого Доброхотова, даже голос стал похожим.

— Она повторяла рассказы отца. Буквально повторяла! Она так часто слушали их, что запомнила наизусть. Скажите, Миша, вам понравился ее торт?

— Очень понравился, — ответил Миша, удивленный неожиданным вопросом. — Елизавета Ивановна мастерица печь торты?

— А вы не заметили, как она сама ела торт?

— Она съела весь кусок, который положила себе. А почему вы спрашиваете об этом?

Павел сумрачно усмехнулся.

— «Наполеон» был любимым тортом отца, а мама не терпела слоеного теста. Она раньше давала попробовать такие торты мне и с тревогой спрашивала, удались ли, потом несла отцу. А сейчас она ест только любимые блюда отца...

5

Соломатин обычно возвращался домой поздно. В этот зимний вечер он вернулся рано. Жена ушла в детсад за детьми. Он подошел к окну, смотрел на улицу. На землю валил густой снег, деревья стали пушистыми и белыми. И против светломорского обыкновения снег не таял, чуть касался не знающей морозов земли. Синоптики третий день обещали неделю устойчивых холодов, — прогноз, хоть и с запозданием, выполнялся. Соломатин зевнул, лег на диван, раскрыл газету. Через минуту газета вывалилась из рук на пол.

Он не услышал, как в прихожей зазвучали радостные голоса детей. Потом голоса унеслись в сад, а Ольга Степановна вошла в комнату. Она окликнула мужа, он и ее не услышал. Он тихо похрапывал, приоткрыв рот. Ольга Степановна засмеялась, дернула мужа за плечо. Он вскочил, как если бы его ударили.

— Фу, черт, это ты! — сказал он. — Такой кошмар приснился! Вдруг налетела волна и снесла с мостика.

— Тебе только страшные сны снятся, Сережа.

— Страшные хорошо запоминаются. Остальные выпадают из памяти, чуть проснусь.

— Почему ты сегодня так рано?

— Сам удивляюсь. Вечер — без заседаний, без совещаний... Решил почитать газету на диване дома.

— С небольшим храпом? Он засмеялся.

— Небольшой — не в счет. Она села рядом.

— Ты видел, какая погода?

— Отличная. Снег, холодок. Давно мечтал о такой погоде.

— Тогда одевайся и пойдем в сад. Дети катаются на санках, мы поиграем с ними в снежки. Ты всегда любил бросать в меня снегом. Или слепим у яблони снежную бабу.

Он поморщился.

— Оленька, не хочется. И надо дочитать газету. Она сказала с упреком:

— Сережа, ты совсем перестал заниматься детьми. Раньше они тебя не видели, потому что ты был в море, а теперь из-за твоих вечных заседаний и совещаний. Ты уходишь, когда они еще в постели, а когда возвращаешься, они уже спят. Он развел руками.

— Оленька! Работа есть работа.

Она хотела что-то возразить, но воздержалась. Он опять лег на диван и взял газету. Она сказала:

— Я принесла платье, заказанное к Новому году. Сейчас покажу.

Она ушла в спальню и вернулась в светло-сиреневом платье.

— Тебе нравится, Сережа?

Он бросил на нее рассеянный взгляд.

— Неплохое.

— Ты погляди лучше.

— Если поглядеть лучше — хорошее.

Она критически осматривала себя в зеркале.

— В ателье сказали, что самая модная модель, а мне кажется, мода не из удачных. Может быть, надеть на праздник старое темное?

— А какая разница — светлое или темное?

— Светлое — полнит, а от темного становишься худощавой.

— Надевай то, в котором ты остаешься сама собой. Она засмеялась.

— Глупый! Нарядно одеваться, значит, выглядеть не такой, какая ты от природы.

— В таком случае тебе лучше одеваться не нарядно. — Он посмотрел на часы и вскочил. — Пора собираться.

— Ты же сказал, что сегодня ни заседаний, ни совещаний. Неужели и одного вечера мы не можем провести вместе?

— От Кузьмы Куржака пришла радиограмма. — Он достал из бумажника сложенный вдвое листок. — Прочти, что он вытворяет.

Кузьма сообщал, что останется в океане до конца зимнего промысла. Он перешел с плавбазы на траулер «Хариус». Там один матрос заболел и возвращается на берег, Кузьма его заменит. Пусть о его здоровье больше не запрашивают, он знает, что оно никого не интересует. А потерянные деньги он заработает сполна и возвратит до копейки, так что могут не беспокоиться.

— Возмутительная радиограмма! — сказала Ольга Степановна. — Твой любимец Куржак провоцирует ссору с женой. За что ты его так превозносишь?

— Работник он отличный. Не отмечать его я не мог.

— Хочешь отнести радиограмму сам? Может, я пойду с тобой?

— Буду рад. Разговор предстоит не из легких.

Она набросила пальто, Соломатин надел фуражку. Дети, игравшие в саду, кинулись к отцу и потребовали, чтобы он покатал их в санках по улице, им одним выходить на улицу запрещалось. Соломатин обещал покатать в другой раз, сегодня он занят.

В большой комнате у Куржаков был Степан, на коленях у него сидела четырехлетняя Таня, он ей рассказывал что-то такое, от чего она хохотала. Гавриловна у стола чинила Танино платьице. Из соседней комнаты вышел Куржак, из другой выбежала Алевтина. Она так побледнела, увидев Соломатина, что он поспешно сказал:

— С Кузьмой все в порядке. Он выздоровел.

— Наконец-то! — с облегчением воскликнула Гавриловна. — Целую неделю лежал, уже не знали, что думать!

— Выздоровел? — с недоверием переспросил Куржак. — А почему молчит? Лина две радиограммы отбила — не отвечал. Мать от себя недавно послала — опять ни слова.

Алевтина все больше бледнела. Она медленно проговорила:

— Что-то от нас скрывают! Сергей Нефедович, вы пришли не случайно!

— Наша радиостанция приняла радиограмму от Кузьмы. Я принес ее.

Он протянул радиограмму Куржаку. Алевтина выхватила листок, громко прочла вслух, еще раз в молчании перечла про себя, потом отдала листок отцу. Куржак, качая головой, сказал:

— Негодник, ну и негодник! Высечь бы ремнем такого! Что придумал — никто им не интересуется!

Алевтина, задыхаясь, сказала Гавриловне:

— Вы слышали, мама? Деньгами вашего сына интересуемся! Только это от него нужно — деньги!

Гавриловна в страхе глядела на невестку и ничего не ответила. Куржак сурово сказал:

— Ох, и потолкую я с ним! Пусть только сойдет на берег. Алевтина порывисто повернулась к нему.

— Потолкуете? А о чем, хочу я знать? Уговаривать, что не только деньги его нужны? Расписывать, как мы его любим, как уважаем, да? И когда поведете этот разговор? Через месяц, через два? А мне пока терпеть? Такое оскорбление два месяца терпеть?

Куржак обратился к Соломатину:

— Сергей Нефедыч, прикажите Кузьме возвратиться с промысла.

Соломатин ответил после короткого молчания:

— Невозможно, Петр Кузьмич. Я запросил капитана «Хариуса», как работает его новый матрос. — Он вынул из кармана второй листок. — Ответ — работает замечательно, всем пример подает. Служба на промысловых судах — дело добровольное. Нет повода отказывать. К тому же в семье у вас все нормально, никто не болеет.

Куржак показал на диван.

— Что же мы все стоим, как столбы на дороге? Сядем, поговорим.

Никто не отозвался на приглашение. Степан осторожно спустил с колен девочку и тоже встал. Таня подбежала к бабушке, та прижала ее к себе. Алевтина с горечью заговорила:

— Нормально в семье, вполне нормально. Все здоровы, девочка ходит в детский сад, взрослые исправно работают. Муж мой может быть спокоен — нет причины ему возвращаться. Или, может, создать какую-нибудь ненормальность? Мне кажется, он только ее и желает!

Гавриловна отстранила девочку, схватила Алевтину за руку.

— Лина, не смей! И слушать не хочу!

— А вы еще ничего не услышали от меня, мама, зачем волнуетесь заранее? — холодно ответила Алевтина.

Девочка громко заплакала. Алевтина обратилась к Соломатиной:

— Ольга Степановна, уведите Татьяну в спальню.

Ольга Степановна взяла девочку за руку и ушла с ней в другую комнату. Алевтина решительно сказала:

— Завтра вы, мама, и вы, папа, отправите Кузьме радиограмму и подпишете оба, а в той радиограмме объясните, что будете терпеливо ждать сына и его денег, а жена его не хочет их ждать и сегодня ушла из дому. Именно так и отбейте, ни слова не меняйте. Алевтина, мол, сразу как получила последнюю твою радиограмму, ушла с Татьянкой. И вскоре подаст на развод.

Гавриловна, охнув, схватилась за грудь. Куржак с укором сказал:

— Думай, что говоришь! Такое ляпнуть! Взгреть его, поучить по-серьезному, понимаю. Но не уходить же из дому! Сообрази — Татьянку без отца оставляешь!

Она воскликнула с гневом:

— Отца найду! Другого найду, еще лучше! Я не старуха, и с ребенком меня возьмут. Вон за Степана замуж пойду, неужто он нам с Татьянкой хуже Кузьмы будет?

— Алевтина! — с ужасом выкрикнула Гавриловна.

— Алевтина! — в смятении воскликнул Степан.

— Что — Алевтина! — резко сказала она обоим. — Чего перепугался? — спросила она побагровевшего Степана. — Затрясся весь, такой страх! Ты, выходит, из робких?

Гавриловна заплакала. Куржак молчал. Соломатин мягко проговорил:

— Вам нужно взять себя в руки, Алевтина.

— Да, тебе нужно... успокоиться! — с трудом произнес Степан.

— Ты не отвечаешь на мой вопрос! — с ожесточением настаивала она. — Объяснись — почему отшатываешься? Как понимать тебя? Дня нет, когда на берегу, чтобы не шел сюда — за какой надобностью? Татьянке игрушек и сластей таскаешь больше отца с матерью — к чему? И смотришь украдкой!.. Думаешь, не вижу? Почему так смотришь, спрашиваю?

— Трудно с тобой, Лина, — выговорил растерявшийся Степан. Она с усилием сдержала слезы.

— С вашим братом легко! Порой ненавижу вас всех! Гавриловна умоляюще схватила ее за руку.

— Линочка, останься! Все сделаем, что прикажешь! Такого пошлем нагоняя Кузьме! Это же родные тебе стены, что мы будем здесь делать без тебя?

— Родные стены, мама! — Она теперь говорила сквозь слезы — Да, родные, родные! Здесь мы с Кузей... Можете вы меня понять — здесь же всюду он! Всюду он!

Куржак тихо сказал:

— Доченька, удержись! Себя с матерью не пожалеем, повернем Кузьму на хорошее.

Она вытерла слезы, заговорила спокойней:

— А возвратите ли вы его любовь, Петр Кузьмич? Смотрите, я успокоилась. И не вздумайте меня переубеждать. Вы меня знаете, что решила — то сделаю. Сейчас буду одевать Татьянку, вместе уйдем.

— Куда уходите? — хмуро спросил Куржак.

— К Полине Андреевне, подруге, тоже больничной сестре. Она нам полкомнаты выделит, нам хватит с Татьянкой. Что понадобится, передам через Марию Михайловну, она каждый день видит меня в больнице. А сами не приходите, пока не получите от Кузи ответа.

— Хоть до утра погоди, — молила Гавриловна. — Куда же на ночь глядя?

— Чтобы вы всю ночь уговаривали меня остаться? Нет уж, хватит с меня уговоров! Мама, помогите мне собрать Татьянку. И помните — при дочке ни слезинки, ни словечка!.. Я с вами не ссорюсь. А станете дочку расстраивать, поссорюсь и с вами.

— Степа, тебе лучше уйти! — хмуро сказал Куржак, когда мужчины остались одни. — Я сам провожу Лину с внучкой! Не обижайся, доверие к тебе есть. Но понимаешь, какое дело... Не в себе Лина.

— Я понимаю, Петр Кузьмич. — Степан торопливо пошел в прихожую и, одеваясь, сказал: — Можно, я завтра приду к вам?

— Завтра приходи, можно.

Из спальни вышла Ольга Степановна. Соломатин вопросительно посмотрел на жену. Она сокрушенно покачала головой. Соломатин протянул руку старому рыбаку.

— Не сердитесь, Петр Кузьмич, что принес плохое известие. Если бы знал, что Алевтина так все воспримет, я бы раньше вызвал вас к себе. Подготовил бы вас.

— Где уж сердиться? — сказал Куржак. — Не виню никого. Дом разваливается, кого теперь винить?

Соломатин и Ольга Степановна, выйдя от Куржаков, заглянули в сад. Детей там уже не было. Санки, залепленные снегом, стояли на площадке. Соломатин задержал жену перед дверью.

— Оленька, как по-твоему, Алевтина серьезно решила подать на развод или думаете только попугать Кузьму?

Она ответила с упреком:

— Удивляюсь порой мужской логике. Мужчины еще могут грозить уходом из семьи, но женщина никогда не заговорит о разводе, если раньше тысячу раз не утвердится в мысли, что без развода не обойтись. А Степан не упустит случая выставить себя в самом лучшем свете.

— Ты слышала их разговор?

— И на улице было, наверно, слышно. Но я без объяснения Алевтины знаю, что Степан давно в нее влюблен. А если сегодня сдержался с прямым признанием, так лишь потому, что от неожиданности растерялся. Завтра от его растерянности не останется и следа. Ты не согласен?

— Не знаю, — задумчиво сказал Соломатин. — Возможно, ты и права.

6

В местной рыбацкой газете «Маяк» всю третью полосу отвели стихам Шарутина. «„Большой воды мечтатели“ — новая книга поэта-моряка» — возвещал заголовок. А в левом углу полосы красовался и сам Шарутин — нахмуренное лицо, фуражка с «крабом», трубка в зубах. Карнович насмешливо заметил своему штурману, когда тот явился на вахту:

— Вы же не курите, милорд. Откуда достал эту деревянную рухлядь? Трубочка эпохи корсаров Дрейка.

Штурман ответил, что без трубки нельзя, у читателей не будет веры в морскую профессию автора. Он с ликованием показал на туго набитый портфель — туда были впихнуты пятьдесят экземпляров газеты.

— Семь газетных киосков опустошил! Одна сиделица пожаловалась, что постоянных читателей граблю. Теперь буду наклеивать каждое стихотворение на отдельный лист.

Для расклейки стихов понадобилось пачка бумаги в пятьсот листов. Салон траулера на день превратился в подобие переплетной мастерской. Мишу, заглянувшего после вахты в салон, Шарутин немедленно завербовал в помощники. Стармех Потемкин, мирно обедавший на уголке стола после обследования забарахлившего «вспомогача», тоже увлекся наклейкой газетных вырезок на бумажные листы. Шарутин пообещал помощникам по стихотворению с таким автографом, что тот один удвоит ценность стиха. «Другу-соратнику, славному любимцу Нептуна» — вот так он распишется на листке.

— Тебе — описание наших трудов в океане, Миша! Будешь помнить, как рвали рекорды в Северном море и у Ян-Майена. И будь покоен, даже древний Гесиод так не расписывал труды и дни! Шедевр, не меньше!

И швырнув на стол пачку газет, Шарутин мощно продекламировал:

Звездное утро полночи пуще,

Вал надвигается — гора...

Затемно трал в пучину пущен,

Затемно отданы ваера.

Солнце выглядывает на планшире.

Тралом недолго песок скрести.

Море рычит. От зеленый шири

Взгляда — и хочешь — не отвести.

Волны и волны — вечным эскортом.

Штурман вызванивает аврал.

Кто не на вахте — цепью у борта.

Все по местам — выбираем трал!

Тянем-потянем — и вот оно, вот оно

Льется чешуйчатое серебро!

Бочки наполнены, сети смотаны.

В трюмы майнаем морское добро.

Синею солью вздубела рубаха,

Даль неоглядная все пуста....

Море, озлобленная собака,

Воет, бросается на борта.

Стармех не был уверен, имеется ли здесь поэзия, но признал, что производственная картина точна. Шарутин заверил Потемкина, что с поэзией тоже все в порядке, пусть сомнения на этот счет не тревожат механослужбу. Миша попросил, чтобы штурман подарил ему и то стихотворение, какое читал, когда они шли на воскресник. Шарутин помнил и воскресник, и женщин, с которыми тогда трудились!

— Как же, Катенька и та, постарше, имя забыл, но женщина красивая! — воскликнул он с воодушевлением. — Хочешь поднести мой стих? И, конечно, старшей, я ведь видел, что ты на вечере в клубе, чуть увидел ее, вмиг изменил Кате. А как ее зовут?

— Анна Игнатьевна Анпилогова.

— Анна Игнатьевна? Тю, да это не соседка ли Тимофея? Помнишь, у кого жил Сережа Шмыгов?

— Она самая, — ответил Миша, краснея.

На листке, где было наклеено стихотворение «Меридианы по курсу множатся», Шарутин размашисто начертал: «Анне Игнатьевне, соседке безвременно погибшего стармеха Сергея Шмыгова от горестно его оплакивающего друга и автора стиха. Павел Шарутин».

— Бери! — Он отдал Мише листки с обоими стихотворениями. — И сразу неси по адресу!

Чтобы не давать повод к насмешкам, Миша еще повозился с клеем и бумагой, а когда Шарутин предложил отдохнуть и подкрепиться, убежал с судна.

Время шло к вечеру, морозная погода, державшаяся три дня, сменилась оттепелью, снег чавкал под ногами, по мостовым струились ручьи. С неба сыпалась смесь дождя и града — что-то мокрое и колючее. У огромной руины на Кировской Миша остановился. В окне Тимофея было темно. Окна, выходившие на балкон, где росла березка, светились. Миша поднялся наверх, постучал. Дверь отперла сама Анна Игнатьевна. Она в испуге отступила, увидев Мишу. Он вошел в комнату, протянул руку. Анна Игнатьевна еле пожала ее.

— Даже сесть не приглашаете, — упрекнул он. — И смотрите, как на мертвеца. Между прочим, я был за бортом, но выкарабкался.

Она пододвинула стул. Он сел.

— Что вы живы, я знала от Тимофея. Я рада, что вы вернулись здоровым.

В комнате был беспорядок переезда — увязанные тюки, выставленные наружу чемоданы.

— Где ваша дочь? Что-то ни разу ее не видел.

— Она ночует у подруги, пока я управляюсь с переездом.

— Могу помочь.

— Спасибо. Я заказала грузовое такси.

Он помолчал. Она ждала объяснений, он заговорил:

— Две есть причины, почему пришел. Первая небольшая. Наш штурман Шарутин стихи пишет. Настоящий поэт.

— Я читала подборку в «Маяке» из его нового сборника. Мне очень понравилось.

— Один стих Павел просил передать вам.

Она взяла листок, прочла надпись, с грустью сказала:

— Так жаль Сергея Севастьяновича! Такой удивительный был человек. Поблагодарите от меня Шарутина за стихи.

Они помолчали. У Миши стеснилось дыхание. Его тревога передалась ей. Она заметно побледнела. Он сказал вдруг охрипшим голосом:

— Теперь вторая причина. Большая! Сказать, что ли?

— Скажите, конечно.

— Хочу жениться на вас! — выпалил он. Она покраснела, потом опять побледнела.

— Давно надумали?

— В океане. Думал о вас каждый день. И понял, что выхода нет — надо жениться.

Она нехорошо улыбнулась — надменной, злой улыбкой.

— Хотите покрыть грех загсовским благословением? Напрасная затея. Не было греха! Ничего не было! — Она подошла к нему, ожесточенно прокричала: — Ничего не было! Уходите!

Он поднялся, недоумевающий. Она отошла и села, отвернув лицо.

— Анна Игнатьевна, давайте же поговорим, — попросил он. — Надо же выяснить отношения...

Она положила локти на стол, обхватила лицо ладонями.

— Что еще выяснять?

Он опять заговорил о встрече у памятника. Любовь его началась с той минуты. Он помнит ее грустное лицо, там, вероятно, похоронен близкий человек, наверно, муж. Она прервала его:

— Не было у меня мужа, я одинокая женщина. А похоронен там мой друг. Я ни разу при жизни не поцеловала его, а после смерти поняла, что одного его любила. Вот такая скучная история. Что вас интересует еще?

Он сказал с обидой:

— Одно интересует — почему вы меня ненавидите? Она покачала головой. В глазах у нее стояли слезы.

— Нет, Миша, ненависти! Все гораздо, гораздо сложнее!

— Расскажите, что за сложности.

— Хорошо, расскажу, хотя не уверена, что станет просто. Вот вы тогда обиделись, что я вас прогнала, думали даже, что чем-то не угодили. А я любовалась вами, когда вы заснули, такой вы были красивый и такой непозволительно для меня молодой. И думала, что совсем вы не мой, украла я вас из какого-то чужого счастья в свое маленькое счастьице. Это трудно объяснить! Есть свое счастье, хоть его и не всегда достигаешь, а есть не твое, и его нужно урвать, трястись над ним, ибо оно краденое, его могут отобрать.

— Десять лет разницы — вот что вас останавливает!

— Да, и это, но не это главное. Будь вы на тридцать лет старше или больной, никому не нужный... Нет, вы поймите, Миша! Дело не в замужестве. Своего счастья нет, а ворованного не надо. Сестрой, другом могла бы вам быть, но не женой и не любовницей. Вы меня облагодетельствовать собираетесь, а я благодетелей не терплю.

Все, что она говорила, чудовищно противоречило тому, что он думал в море о ней и о себе. Разговор у обоих шел об одном и том же, но как бы на разных языках. Она не понимала, с чем он пришел, он не мог понять, чего ей надо от него. И хоть не произошло того, чего он больше всего страшился — она не считала его распутником, добившимся легкой связи, обманщиком, задурившем голову льстивыми словечками, легче ему от того не стало. Наоборот, стало тяжелее, ибо стало темней. Он с отчаянием чувствовал, что не сумел объясниться, что надо было найти какие-то другие слова, не обычные, не повседневные, но таких необыкновенных слов, единственно верных и убеждающих, он не имел, а все остальные, что он мог сказать, уже не годились. Она таким, у всех людей одинаковым словам все равно не поверила бы.

Он встал. Она, замолчав, тоже поднялась. Она вдруг сильно побледнела. И по тому, как изменилось ее лицо, он какой-то как бы посторонней и смутной, пришедшей как бы издалека мыслью, понял, что ее что-то испугало в нем самом. Думать о том, что это такое, он не мог. Ничто не имело значения в сравнении с тем, что чистосердечное его признание не нашло отклика, какого он ожидал. Он молча повернулся и пошел к двери. Она схватила его за руку.

— Постой! Что с тобой? Что ты надумал?

Он вырвал руку и, ничего не ответив, вышел из комнаты.

7

На улице моросило, дуло с моря. Нежданно нагрянувшая оттепель все усиливалась. Миша вышел к реке. Земляную набережную недавно начали одевать в бетон, на берег навезли блоков. Миша привалился спиной к груде цементных плит. Он все возвращался мыслью к разговору с Анной Игнатьевной. Его все сильней одолевали недоумение и печаль. Как получилось, что она не разобралась, с какой чистой душой он пришел? Почему она не поверила ему?

По темной набережной нетвердо двигался человек. Миша издали узнал Тимофея. Меньше всего сейчас надо было встречать Тимофея! Мише захотелось сделать что-нибудь такое, чтобы Тимофею стало больно: все странности Анны Игнатьевны находили объяснение в этом человеке, что бы он сам не твердил о себе и о ней. Миша неприязненно следил за медленно приближающимся Тимофеем. Тимофей остановился.

— Миша, ты? И один? Или ждешь кого?

— Жду, пока ты уйдешь. Набрался, так вались спать.

— Точно, выпил, — виновато сказал Тимофей. — Сорок дней сегодня, как погиб Сережка... Такой же человек был, такой человек! А ты.... Миша!.. Я же для тебя — все, жизни не пожалею, прикажи! Все знают, как их спасали, себя не щадили, спасали, а Сережку — судьба не вышла, не сумели... Самый ты мне теперь дорогой, Миша! Это я тебе — как на духу!

Он присел рядом с Мишей. В голосе Тимофея прорывались слезы, он всхлипнул. Миша сказал, силясь сохранить неприязнь, которая стала таять от слов Тимофея:

— Не на духу, а на дождю! Погодка не для признаний. И не для прогулок. Снова повторяю — иди-ка спать!

Тимофей махнул рукой.

— Какая разница, Миша, дождь или солнце? Последние дни хожу на земле, всякая погода приятна.

Миша, повернувшись, с удивлением посмотрел на Тимофея. Тот вытирал ладонью слезы.

— Как тебя понимать?

— Сережкино завещание выполняю. Век себе не простил бы, если бы пренебрег... Последние его слова: «Готовься, Тимоха, вернусь, возьму в море». Сегодня отнес документы в отдел кадров. Там набирают команду на китобойный промысел. Сказали — подхожу...

Миша воскликнул, пораженный:

— Да ты же смерть боишься воды!

— Боюсь, — скорбно подтвердил Тимофей. — А что делать? Нет мне больше жизни на берегу!

Миша с минуту колебался, прежде чем задал новый вопрос:

— И все из-за того, что Сергей Севастьянович велел тебе стать рыбаком? Это ли вся причина?

— Ты же знаешь, Миша, — грустно сказал Тимофей. — Что говорить? Не вышла моя задумка насчет Анны Игнатьевны!

— Хотел мужем ей стать?

— Хотел, хотел... Мало ли что хотелось! Ты не подумай, Миша, я не упрекаю! И мысли такой нет — тебя винить! Сам понимаю — недостойный я этой женщины. Ну, а все же... Могло и по-другому стать, кабы она в тебя не влюбилась.

— Влюбилась! — горько сказал Миша. — Откуда ты вбил себе в башку, что влюбилась? Навоображал себе невесть чего! Придумываешь все!

Тимофей покачал головой.

— Нет, Миша, не придумываю. Другая она стала, как познакомилась с тобой. И раньше у меня надежды — не очень чтобы... А нынче — никаких! Да и не стараюсь... Она переезжает, больше соседями не будем. В хорошем доме станет жить, не в развалке, охранять ее с Варькой от всякого происшествия не нужно. А ты... если понимаешь, какой она человек... В общем, надо уходить подальше.

Он снова провел рукой по лицу — стирал то ли капли дождя, то ли слезы.

Миша молча смотрел на него и колебался, говорить ли о том, что он был недавно у Анны Игнатьевны и какой произошел разговор. Тимофей был соперник, Миша долго приучал себя к этой мысли. Соперников ненавидят, им грозят, чтобы заставить их убираться подобру-поздорову, так повелось издавна, Миша всегда думал о себе, что только так и обойдется с соперником, если тот у него появится. А сейчас, выслушивая признания Тимофея, он не чувствовал ни гнева, что они влюбились в одну женщину, ни желания причинить Тимофею зло. Такое чувство налетело кратковременно, когда Миша увидел, как Тимофей приближается, теперь от него не осталось и следа. Зато была жалость к нему, печаль, что так все неудачно складывается у обоих, и еще одно чувство, до того неожиданное, что еще минуту назад Миша не поверил бы, что оно возможно: желание признаться в своей неудаче с такой же искренностью, с какой признавался в своих горестях сам Тимофей.

И Миша сказал, стараясь говорить спокойно:

— Не теряй надежды. Не все для тебя потеряно. Сейчас я был у Анны... Разрыв окончательный.

Мише казалось, что Тимофей обрадуется такой вести. Но Тимофей испугался.

— Миша, побойся бога! Какой может быть у вас разрыв? Или сказал ей что нехорошее?

— Не знаю уж, хорошее или плохое, — угрюмо ответил Миша. — Просил стать моей женой. А она отказала наотрез.

— Рассердилась, что ли? Может, ты как-нибудь не так?.. Миша нетерпеливо возразил:

— Все было как надо, не придумывай себе опять всякого!.. Чин-чином, — люблю, всю жизнь буду любить, одна ты у меня на душе... Разве на такие слова можно сердиться?

— И она отказалась?

— Один был ответ: нет и нет! Что было делать? Я ушел. Вот под дождиком прохлаждаюсь.

Тимофей старался в темноте разглядеть лицо Миши.

— И чем объясняешь ее отказ? Миша ответил не сразу:

— Думаю... Разница лет — одно объяснение. В общем, не пара, так она считает. А отсюда вывод — ты ей в пару подходишь. Не стар и не молод. Ее годков или постарше?

— На четыре года старше, — ответил Тимофей.

— Нормально, значит. Так что можешь забирать документы из отдела кадров. Нет тебе нужды идти в море. И на берегу устроишь себе счастливую жизнь.

Некоторое время оба молчали. Дождь с легким шумом обрушивался на реку. На дне, посередине реки, проступало что-то темное, камень или плита. На противоположном берегу смутно высилась руина разрушенного в войну древнего собора. Тимофей заговорил первый. Теперь его голос был трезв и ясен. Хмель слетел с Тимофея, словно и не пил он сегодня ничего.

— Нет, Миша, нет! Не устроить мне счастливой жизни с Анной Игнатьевной. Тут ты ошибаешься, Миша. А почему она тебе отказала — разница лет или еще что — не знаю. Другое знаю, голову дам на отсечение — любит она тебя! Одного тебя любит, ни о ком не думает и не хочет думать. Вот такая правда.

— Правда, правда! — раздраженно передразнил Миша. — Она, что ли, тебе об этой правде говорила? Сам ее открыл? Мне что-то в любви она не признавалась.

— И мне ничего прямо не говорила, врать не буду. Чувствую! Знаю я ее, Миша, так знаю, как и она себя не понимает. Восемь годков рядом с ней живу, все разбираю — как дышит, как ходит, как глядит, когда сердится, когда довольная... А с того вечера, помнишь, я Сережку на судно провожал, ты ее домой привел... Другим человеком стала! Ты не думай, я без попреков. И мысли такой нет, чтобы тебя винить. А все же, Миша... Скрывать не буду, приучилась она ко мне, друга видела, ну хорошего соседа, так скажу. А Варенька, дочка, та просто ко мне тянулась. В общем, мечты у меня были, я тебе уже говорил... И все теперь! Нет меня для нее больше. Пока сосед, а завтра самое большее — вспомнит без удовольствия, что был такой Тимофей, который все для нее — на пол бы бросила, ковром бы для нее стал. Пока сердце у ней было пусто, ну, какая-то надежда, сам понимаешь... А сейчас в ее сердце — ты. А что отказала она тебе или сразу согласилась — несущественно...

— Для меня очень существенно, — хмуро сказал Миша и встал. — Давай-ка по домам, Тимофей. Поговорили по душам, выяснили, что все темно. Тебе отсюда направо, мне прямо. Будь здоров!

Он ушел, не оглядываясь. Вначале быстро, чтобы Тимофей не остановил его, потом, убедившись, что тот пропал позади во тьме, замедлил шаг.

Черная река тихо плескалась в берега. Нудный зимний дождь стал нуднее. Миша поднял воротник, уныло побрел к руинам замка. На повороте в порт у фонаря на мосту он чуть не столкнулся со Степаном. Боцман радостно закричал:

— Мишка, ты? Вот уж кого мне надо! Чего такой расстроенный?

— Чего, чего! — передразнил Миша. — Значит, есть причина расстраиваться. Душа летнего тепла требует, в крайности, хоть настоящего декабрьского снега. А на дворе что? Дождь! За воротник льет.

Степан посмотрел на темное небо.

— Погодка — хуже немыслимо. Едем в «Балтику», там потолкуем.

Миша поплелся за Степаном. По улице ехало свободное такси, Степан остановил его. Был еще тот час, когда в ресторан входили свободно. Степан выбрал самый дальний столик, заказал ужин, пиво, графинчик водки.

— Ох, и расскажу я тебе кое-что, Миша! — объявил он восторженно. — Но раньше примем по сто грамм, без этого язык на всю откровенность не повернется. Ну, давай, на первое наш морской тост — за благополучное возвращение!

— Сколько раз пили за благополучное возвращение, — мрачно заметил Миша, принимая рюмку. — Возвращение есть, а где благополучие?

Степан радостно подмигнул. Он явно еще не пил сегодня, но держался, словно был основательно нахмеле.

— Само возвращение и есть благополучие. Подлинное рыбацкое счастье — ходим по твердой земле. Кузьма говорит, от этого одного каждый будний день — праздник. Согласен безоговорочно.

— Ты хотел мне что-то важное рассказать? Степан налил по второй рюмке.

— Не важное, а важнейшее. Алевтина и Кузьма разводятся. Миша отодвинул рюмку.

— За горе товарища не пью. И тебе не советую.

— Горе? — насмешливо переспросил Степан. — Раньше условимся, что за штука горе, а что будет счастьем. Горе — то, от чего бегут, верно? А счастья добиваются. Возражений нет? Так вот, Кузьма бежит от Алевтины! Все делает, чтобы она ушла. Значит, нет ему горя от ее ухода! Значит, увидел в ссоре с ней счастье, если подбивает на ссору. Сообщаю — вчера Алевтина ушла из дому и объявила, что подает на развод. Теперь выпьешь?

— И теперь не выпью. Повод не тот, чтобы радоваться. Степан залпом опорожнил свою рюмку.

— Для тебя — не повод. Для меня — причина. Алевтина при Куржаках и Сергее Нефедыче сказала, что пойдет замуж за меня. После развода с Кузей, само собой.

— Ничего, не понимаю. Объясни толком!

Степан рассказал, как сидел у Куржаков, когда пришли Соломатины с грубой радиограммой от Кузьмы, тот остался на промысле на второй срок и потребовал, чтобы в семье им поменьше интересовались. И как Алевтина объявила, что уходит из дому к подруге, какой-то Полине Андреевне. И как старый Куржак укорил ее, что на одиночество идет, а она закричала, что выйдет за него, за Степана, он Тане будет лучше родного отца.

— И можешь не сомневаться — буду! — с ликованием закончил Степан. — Танечка это же чудная девчонка! На руках обеих стану носить! Через годик Таня и не вспомнит, что кто-то другой ей отец, а не я. Даже алименты не разрешу брать, чтобы никаких прав Кузе не осталось.

Миша недоверчиво сказал:

— Ну, допускаю, Алевтина вышла из себя, разводом пригрозила, на тебя указала, что станешь мужем. А ты? Так прямо и бухнул, что отбираешь ее от Кузьмы?

— Не осмелился. Гавриловна, знаешь, как смотрела, Петр Кузьмич тоже... Страх напал. Не помню, что и выговорил... Лина трусом назвала, что сразу не отозвался. Только это значения не имеет.

— Объяснялся с ней когда?

— Объяснений не было. Только это, говорю тебе, без значения. Она меня понимает!

Миша мрачно глядел на стол.

— А ты уверен, что она ушла из дому? Что Куржаки не уговорили ее остаться?

— Ушла и Танечку увела. Днем был у них. Гавриловна плачет. Просила завтра пойти с ней к Алевтине, вместе уговаривать ее вернуться, одна она боится.

— И ты пойдешь?

— Пойду, конечно.

— И будешь уговаривать Лину вернуться?

— Для чего же Гавриловна просит меня с собой?

— Я спрашиваю — будешь уговаривать Лину вернуться? Искренне? От души?

— Искренне, от души! Буду уговаривать Лину вернуться! Никогда бы себе не простил, если бы стариков обманывал. Что другое, а это не по мне.

— Не понимаю тебя, Степа. Странный ты человек.

— Нормальный. Сколько бы ни уговаривал вернуться, вот голову даю на отсечение, режь ее тут же — не поддастся! Я Лину на три метра в глубину вижу, она человек удивительный, другой такой женщины на свете нет и не будет, доподлинно говорю. Одно дело, сам Кузьма пришел бы упрашивать, хоть бы радиограмму прислал...

— Кузьма простые нежные слова перед радистом постесняется написать, не то, чтобы о прощении просить.

— Об этом и речь. И как бы я Кузю ни хвалил...

— А ты будешь Кузю хвалить?

— Да, Миша, буду хвалить Кузю. Все хорошее о нем вспомню — как работает, как дружит с товарищами, как себя не пожалеет, чтобы кому помочь... Ни одного слова не совру.

— И не боишься, что Лина прислушается к твоим уговорам?

— Прислушается, значит, не судьба мне... Обманом завоевывать ее — нет, Миша! И раньше бы мог таким способом, только зачем? Говорю тебе — это не по мне! Честно возьму ее. Уверен — что бы ни говорил о Кузе, она еще крепче ожесточится! И снова откажет вернуться. И тогда придет мне доля сказать — вот он, я, Лина, — весь твой!

Миша смотрел на Степана, словно впервые видел его.

— А ведь, сказать по-честному, ты все-таки подло поступаешь с товарищем.

Степан покачал головой.

— Не те слова, Миша! Вескости нет, скользят, а не придавливают. Опять вопрос, как понимать — подло, благородно? Такая же темь, как с горем и счастьем. Еще и темней! Не могилу рою Кузе, а освобождаю от жизни, что ему горше петли. Было бы иначе, разве он вел себя так с Линой? Теперь на нее взгляни. Что женщине нужно? Любовь да уважение — все остальное мура. Вот благородство к женщине — любить и уважать ее! Найдет это она у Кузи? А у меня — да! Ты настоящей любви не знаешь, Мишка, ты чудной, вроде монаха. А я со столькими женщинами путался! Никого не обижал, но и никого не любил, а люблю одну. И такое счастье ей обеспечу, что если хоть когда-нибудь выскажет недовольство, казню себя! Думал, порадуешься со мной, а ты...

Они снова выпили. Степан, до того не закусывавший, с жадностью накинулся на еду. Миша не жаждал охмеления, оно пришло само и пришло внезапно — вещи потеряли резкие очертания, голоса стали глуше, мир как бы отдалялся и терял яркость. А то, что оставалось, было пропитано горечью. Миша думал уже не о Степане и Кузьме, а о себе. Откровенность Степана подобно яркому лучу осветила собственные Мишины горести. Откровенность эта была тем дополнением к разговору с Тимофеем на набережной, без которой разговор оставался неубедительным. В любви Тимофея и Степана было что-то общее, что-то, быть может, самое важное — и об этом самом важном он, Миша, и не думал до сих пор. Все загадочное стало ясным. И если Тимофею не повезет, потому что Анна Игнатьевна и вправду не любит его, а любит Мишу, которому сегодня отказала, то Степан будет счастливей, он выбрал единственный правильный путь к сердцу Алевтины. Степан завоюет Алевтину, она не устоит перед его преданной любовью, она ведь бросила гневно родителям Кузьмы: «Знаю, каков Степа ко мне!» А что знает о Мише Анна Игнатьевна? Два раза встречались, на третий воспользовался ее слабостью. Вот он, Степан, счастливчик, наступает, наконец, его радостный час, а ведь столько лет он шел к этому часу! Обхаживал, ухаживал, обвораживал, ни словом, ни движением не рвал в свою сторону, на легкую победу не надеялся, не выкрадывал скорой любви, знал: скорая любовь — слепая, такое от внезапности натворишь, что за голову потом хвататься!

И Миша понял, что ему снова надо увидеть Анну Игнатьевну. Не сегодня, не завтра, через неделю, через две недели, не спешить, главное — ни в чем не спешить — ни в словах, ни в поступках.

И раскрыть ей душу, по-настоящему раскрыть. Объясниться, не добиваться. Даже замуж больше не просить. Извиниться, если ненароком обидел. Сказать, что и сам не торопиться и ее не торопит. Пусть узнает поближе, пусть приучится к нему. Не хочешь в мужья? Подожду! Сколько пожелаешь, столько и буду. И что Степан Алевтине скажет, то и я скажу. И что он для нее сделает, то и я сделаю для тебя, Аночка. Чего потребуешь — пожелай только!

Миша встал и пошатнулся. Степан с удивлением посмотрел на него.

— Да ты охмелел, что ли? Вот уж не знал, что такой слабак!

— Надо идти! — с трудом выговорил Миша. — До свидания, Степа. Удачи не желаю, между тобой и Кузей встревать не хочу. Ваше дело, как ты там устроишься с Линой.

Миша нетвердыми шагами пошел к выходу.

8

Алексей размышлял над очень непростой бумагой, и чем глубже вчитывался в нее, тем ясней видел, что свалилась ноша не по плечу.

Из министерства пришли предварительные данные о ходе выполнения рыболовных планов по всем промысловым бассейнам страны. Сжатые в краткие цифры результаты годовой работы выводили на первое место в стране светломорский трест «Океанрыбу». Давно задуманная, с таким старанием и энергией выполненная перестройка океанского промысла дала именно те результаты, на какие надеялись: светломорцы обогнали рыбаков тихоокеанского бассейна, мурманчан, черноморцев. Несколько миллионов центнеров сельди, трески, пикши, морского окуня, салаки; каждый день уходящие из порта в разные районы страны железнодорожные рефрижераторные составы — это был настоящий успех! Людей, добившихся такой удачи, надо было представить к наградам и премиям.

Перед Алексеем лежал список наиболее отличившихся рыбаков, представляемых к наградам и премиям. Он должен был согласиться, что кандидаты достойны наград, поставить свою визу и передать проект дальше — начальникам более высокого ранга, в инстанции более высокие.

У Алексея не поднималась рука начертать свою фамилию.

Он снова и снова перечитывал список людей, опись удач и свершений, вникал в цифры вылова, экономию горючего и материалов, сокращение сроков ремонта. Все описания были безошибочны, все цифры верны. И люди, которых представляли к наградам, вполне их заслуживали, ни одного не вписывали без основания. Это была точная оценка сделанных работ, уважительное признание заслуг. На проекте надо было расписываться, это была даже не обязанность — радость за каждого из тех, длинный перечень которых занимал две страницы.

Но чем дольше Алексей вчитывался в список, тем меньше оставалось решимости подписать его.

Он взял карандаш, жирно отчеркнул четыре фамилии — Березова, свою, Кантеладзе и Соломатина, откинулся на спинку стула. Он вспомнил о буре в Атлантике, о жене и детях Шмыгова, о Елизавете Ивановне и Павле Доброхотовых, о матери и отце моториста Кости Сидельникова, о родных погибшего боцмана, обо всех друзьях, всех знакомых, тех, кто не вернулся с промысла. Как эти люди примут награждение Березова, Кантеладзе, Соломатина, его, Алексея Муханова? Они организовывали промысел, они отвечали за него. Не увидят ли в их наградах неуважения к памяти погибших?

Нет, думал Алексей, Березов не виновен, это горе его, а не вина. Была создана следственная комиссия, приехали эксперты из Москвы, из других рыбодобывающих центров страны, Следствие велось строго, детально, нелицеприятно. И оно доказало: не было ни одного неправильного распоряжения Березова. Выискивали административные промахи — и их не открыли. Стали искать житейские недостатки: леность, равнодушие, излишнее спокойствие, чрезмерное беспокойство — и этого не нашли! Совесть Березова чиста. Каждая фраза в характеристике Березова оставалась правдой. Справедливость требовала, чтобы его оставили в списке кандидатов на высокую награду.

А если совесть Березова чиста, то в чем упрекнуть Шалву Кантеладзе? Разве не у него первого родилась идея о новой организации промысла, разве не он со свойственной только ему широтой, с глубокой убежденностью переламывая сопротивляющихся, переубеждая колеблющихся, сделал идею живой практикой? За что же его лишать награды? Не будет ли такой поступок вопиющей несправедливостью?

Тем более нельзя обижать Соломатина! Сергей бросил море. Но здесь, на берегу, он все свои знания, все силы отдал техническому обеспечению промысла. И без него совершилась бы перестройка. Но ее делал он — и делал лучше любого другого. Это бесспорный факт. Не признавать бесспорных фактов — такая же вопиющая несправедливость!

И он, Алексей Муханов? Посмеет ли кто-нибудь упрекнуть его в беде, разразившейся в океане? Он невиновен, как Березов, как Кантеладзе, как Соломатин — нет, еще больше их невиновен! Где основания отказывать ему в заслуженной награде? И если и раздался об этом голос, то это его собственный голос. Никто к его самоупрекам не прислушается!

Таковы факты. Строгая логика утверждает, что все в представленном списке справедливо. На списке нужно поставить подпись.

Но едва Алексей силой логики добирался до такого вывода, он вспоминал осиротевшие семьи, и убежденность рассеивалась. Было словно две справедливости — Березова и других руководителей, их больших и многочисленных заслуг — объективная, точная справедливость. И другая была справедливость — субъективная, туманная, недоказательная, но страстная и глубокая: справедливость боли души. Ни один из них, руководителей промысла, ни по какому закону не мог нести ответственности за несчастье в океане. И все-таки они несли на своих плечах эту ответственность!

Через такой психологический барьер Алексей перескочить не мог.

Он позвонил Кантеладзе:

— Шалва Георгиевич, нужно посоветоваться.

В трубке раздался радушный голос управляющего:

— Заходи, дорогой, заходи. Мы как раз с Сергеем Нефедычем смотрели график перемещения промысла из Северной в Северо-Западную Атлантику, ты нам поможешь.

Кантеладзе и Соломатин стояли перед большой, на добрую половину стены, картой Атлантического океана. Соломатин указкой отчеркивал меридианы и параллели. Сельдяные стаи на севере рассеиваются, промысел там становится все менее эффективным. Большой рыболовной флотилии там вскоре, до будущей осени, будет нечего делать. Зато на западе отмечено появление больших масс морского окуня. С десяток траулеров задерживается на севере подбирать еще не рассыпавшиеся сельдяные косяки, часть флота Соломатин предлагал переключить на окуня.

А основная масса судов, с Березовым, возвращается в порт, ремонтируется и оснащается новым промвооружением — весенний промысел не за горами.

— Твое мнение, Алексей Прокофьевич? — спросил Кантеладзе.

Алексей пожал плечами. Он присоединяется к мнению специалистов. Он уверен, что все нужные расчеты сделаны.

— Сделаны, сделаны! Ни разу не ошиблись в расчетах, и сейчас не ошибаемся. Так я слушаю, дорогой, что у тебя?

Алексей молча положил на стол список намеченных к наградам и премиям. Кантеладзе, не найдя визы Алексея, с недоумением посмотрел на него. Алексей негромко сказал:

— У меня есть сомнения, хочу их высказать.

Он говорил, не глядя на Кантеладзе. Управляющий взволнованно заходил по кабинету, потом остановился перед Алексеем и крикнул:

— Не понимаю тебя! Такое старание, столько умения, настоящий подвиг совершили — а ты отказываешься признавать!

— Я высказал свои сомнения, — повторил Алексей. — Решаю не я, даже не ты, Шалва Георгиевич.

Управляющий все сильней возбуждался.

— Одну сторону увидел — несчастье, да, никто не спорит... А другая сторона? Первое место по стране! — Он показал на молчаливого Соломатина. — На нею погляди! Внимательно погляди! Этот же капитан три года брал всесоюзные рекорды! «Кунгур» — это же передовое судно океана, столько хвалили, столько о нем писали!..

— Я уже не капитан «Кунгура», — возразил Соломатин.

— Ушел с моря, правильно. А твои морские рекорды? Они тоже ушли? Или потонули во время какой-нибудь бури? Или мы их забыли? Пока никто тебя не превзошел, это ценить надо. А секретарь нашего парткома не хочет ценить, вот как он поступает!

— Не понимаете вы меня, — устало сказал Алексей. — Ладно, я выражусь по-иному. В списке стоит моя фамилия и фамилия Березова. Я возражаю против обоих. Думаю, Николай Николаевич согласиться со мной.

— Нет! — отрезал управляющий. — Пусть он с тобой соглашается, пусть. И знаю, хоть не согласен с ними, многие сочтут правильным, что нет Березова в списке: он командовал флотом во время бури, одно его судно погибло. Говорю не согласен, но понимаю. А тебя выбросить — и не согласен и понять не могу? Почему? Зачем?

— Я уже высказал свои соображения.

— Не было соображений, были одни эмоции. Слушай теперь настоящие соображения! Кого же, как не тебя, отмечать? Где еще такие, как ты? Ты здесь с войны, ты организовывал первый промысел, собирал первых рыбаков. Или не так, скажешь? Была ли экспедиция в Балтику, в Северное море, в океан, чтобы шла без твоей помощи, чтобы ты не подбирал для нее кадры? Восемь коммунистов было, когда ты организовывал первую рыболовную артель, восемь, а сегодня три с лишним тысячи! Это что — без тебя шло, ты не имеешь отношения, да? Я к вам приехал, кто меня вводил в курс работ, кто рисовал перспективы развития, кто помогал, кто ругал, если по запарке ошибался? Кто, я спрашиваю? Отвечай!

— Мне нечего больше сказать, кроме того, что я сказал... Кантеладзе схватил список и спрятал его в портфель.

— Ты правильно сказал, дорогой, не ты решаешь. И на парткоме поспорим, и в горкоме посоветуемся... Теперь слушай новость, я уже Сергею Нефедовичу сказал. — Голос управляющего стал торжественным. — Завтра вылетаю в министерство. Проект Луконина помнишь? Он ходил с ним к тебе. Так вот — полностью принят! В Москве сказали — вполне назрело, сами об этом думали. Надо готовиться к освоению всего мирового океана, всех глубин, не только отмелей. Наше светломорское задание — вся Атлантика, от северных льдов до льдов южных. Большая вода, такая большая — голова кружится! — Кантеладзе резко обвел рукой вокруг головы и повернулся к Соломатину. — Значит, как условились. Пусть Луконин сдает судно старпому — и немедленно сюда.

— Сегодня же отправлю радиограмму, — сказал Соломатин.

9

Степан и Гавриловна спросили у швейцара областной больницы, как повидать Алевтину Куржак. Проходившая мимо медицинская сестра сказала, что передаст Алевтине их просьбу. Минут через десять эта же сестра вновь появилась в вестибюле.

— Лина с полчаса будет занята. Она дала ключ от своей комнаты. Пойдемте, я провожу вас.

Она вела гостей по длинному коридору, потом они пересекли двор подошли к двухэтажному домику, поднялись на второй этаж. Сестра отперла одну из комнат.

— Подождите здесь Алевтину.

Сестра ушла. Гавриловна, не садясь, осматривалась. Комната была разделена ширмой на две половины, с обеих сторон к ширме примыкали кровати. На одной половине стоял стол с двумя стульями, на другой — шкаф и стул у кровати. И оттого, что мебели больше не было, две коморки, выкроенные ширмой из одной комнаты, казались довольно просторными. Степан предложил:

— Разденемся, Гавриловна, и сядем. Неудобно в пальто. Она замахала на него рукой.

— Сесть можно, а раздеваться не будем. Лина рассердится, что командуем у нее.

— Где же командуем? Смирненько посидим.

— Не надо, не надо! Ты не знаешь Лину. — Она, не раздеваясь, присела. Степан, пожав плечами, сел на второй стул. Гавриловна вздохнула. — Ужасно боюсь!

Он засмеялся.

— Чего бояться? Не выгонит же. Вы же ни в чем не виноваты.

— Не виновата, а боюсь. Как мы со стариком упрашивали ее остаться! Шли вместе сюда и просили, просили. На все один ответ — не хочу, не просите. И не выслушав, может прогнать. Ты ее не серди.

— Чем же я могу ее рассердить?

— Настырных она не любит. Чуть не по ней, вспыхнет, как порох.

— Вы начинайте, я поддержу.

— Нет, ты, ты! Я потом добавлю.

В комнату быстро вошла Алевтина в пальто, накинутом поверх халата. Гавриловна и Степан встали.

— Я так и думала, что вы. Сестра сказала — пожилая женщина и молодой мужчина. Что же вы сидите одетые? Раздевайтесь, не на улице. — Она принесла из второй половины стул и уселась первая.

— Да мы ненадолго, — сказала Гавриловна и повернулась к Степану. — Степа, говори.

— Пришли узнать, как твое здоровье, Лина, — кашлянув, начал Степан. — И вообще... как устроилась?

— Здоровье отличное. Устроилась неплохо. Спим с Татьянкой в одной кровати, но ей это даже нравится. Что еще вас интересует?

Гавриловна сразу забыла уговор, что разговор ведет Степан.

— Вернись домой, Лина! Поскандалила, свое доказала — хватит.

— Мой дом теперь здесь.

— Отец две ночи ни минуты не спит. Сердце у тебя есть?

— Я тоже ночи не спала. Говорить об этом не будем. Гавриловна, сдерживая слезы, обратилась к Степану:

— Поговори с ней, Степа.

Степан осторожно сказал, осматриваясь:

— Комната вроде маленькая.

— Нас всего трое. И с Полиной мы — сменщицы. Друг другу не мешаем. Оформим с Кузьмой развод, подам заявление на жилплощадь. Часть нового дома отдают больнице.

Гавриловна горестно воскликнула:

— Оформим развод! Как у тебя язык поворачивается!

— Не получается у нас жизнь с Кузей...

— А мы с отцом? О нас подумала? Ближе дочери была! И Татьянка... Как нам быть без Татьянки, подумай!

Алевтина сказала после короткого молчания:

— Мама, не надо, мне тоже нелегко!

— Поговори с ней, Степа! — сказала Гавриловна. — Скажи ей...

Алевтина раздраженно прервала ее:

— Лучше я поговорю с вами! Послали Кузе радиограмму, что я ушла? Получили ответ?

Гавриловна вытерла слезы.

— Не посылали...

— Так зачем пришли? Чего хотите? Я же поставила условие — немедленно радируйте о моем уходе!

Гавриловна молчала. В разговор снова вступил Степан:

— Лина, рассуди, как радировать? Кузе в рейсе не легко, сама понимаешь. Один срок отплавал, сразу другой начал. На берегу ни одного часа не побыл. А тут на голову такое несчастье.

Алевтина резко повернулась к нему.

— Откуда знаешь, что несчастье? Может, радость? Может, только этого и добивается, чтобы я ушла? Не даю по ресторанам шляться. Или ждать, пока открыто не выгонит меня из своего дома?

Гавриловна бурно запротестовала:

—, Лина, не смей! А мы со стариком на что? Да заикнись Кузя, чтобы тебе уйти, сами его выгоним! Навек от него тогда отречемся! Отец сказал: в обиду дочку не дадим!

Алевтина не успокоилась, а рассердилась:

— Значит, допускаете, что он может заикнуться о том, чтобы мне уйти? Значит, и вправду, беспутная свобода ему дороже? Мама, вы меня знаете, от уговоров, только хуже будет!

Гавриловна тихо плакала, Степан молчал. Алевтина гневно отвернулась от обоих. Гавриловна вытерла платком лицо, заговорила снова:

— Татьянка-то как?

— Веселая, здоровая.

— Отец сказал — без внучки и не смей домой... Так соскучился! Линочка, я возьму ее из садика сегодня? Пусть у нас переночует.

Гавриловна встала. Степан вскочил. Гавриловна поспешно сказала:

— Ты оставайся. Поговоришь еще с Линой. Алевтина холодно сказала:

— Вижу, сговорились — кто какое давление на меня окажет. Оставайся, Степан. Будем разговаривать, раз так у вас запланировано.

Гавриловна, снова заплакав, поцеловала невестку.

— Начинай, я слушаю, — спокойно сказала Алевтина, когда Гавриловна ушла. — Уверена, тебя просили уломать меня, и сам ты хочешь от себя что-то сказать. Говори теперь.

Смущенный, он не мог сразу заговорить, как задумывал.

— Ты такая резкая, Лина... Не знаю, с чего и начать.

— Хорошо, я помогу тебе. О чем тебя старики просили — забудь. Разговор бесполезный да и не верю, чтобы тебе было приятно вести его. Но, наверно, хочется знать, окончателен ли разрыв с Кузьмой?

— Всем хочется знать!

— А тебе — особенно. Не так?

— Мое отношение ты знаешь...

— Знаю, да. Хоть ничего ты прямо не говорил, все равно — знаю. И вот что хочу тебе объяснить. Не изменится Кузя, прежним вернется на берег — навсегда разойдутся наши дороги. Что тогда станешь делать?

Степан разволновался так, что у него стал дрожать голос:

— Лина, ты недавно при всех... За Степана, мол, замуж пойду, он Танечке будет лучше родного отца... Лина! Можешь не сомневаться!

Алевтина не сводила взгляда с его раскрасневшегося лица.

— Знала, что именно так и ответишь. Просьба к тебе. Обещай заранее, что исполнишь.

Степан все сильней волновался.

— Все, что потребуешь — за счастье сочту!

— Просьба такая: не приходи ко мне больше. А повстречаемся на улице, обойди стороной.

Потрясенный, он воскликнул только:

— Лина!..

Она поспешно заговорила, предваряя неизбежные вопросы:

— Не думай, что я по настроению. Рассердилась вдруг или каприз... Нет, говорю, что давно задумывала сказать.

Он с трудом выговорил:

— Виноват я в чем перед тобой?

— Не знаю, кто виноват, кто прав... Сама я немало виновата.

— Ты виновата? Перед кем?

— Не знаю, не знаю! — сказала она нетерпеливо. — Не спрашивай о том, на что себе самой не могу ответить.

Он помолчал.

— Все-таки дай понять, чем я тебя обидел? Она ответила почти ласково:

— Не обидел, нет. И человек ты хороший, и ко мне относился всегда лучше, чем я заслуживала. — Теперь и она несколько секунд молчала. Он с тревогой и надеждой смотрел на нее. — Как бы это объяснить, чтобы без обиды... Скверная я становлюсь, когда ты рядом.

Он сказал с недоумением:

— Разве я на что скверное подбивал тебя когда?

— Нет же, нет, — ответила она с досадой. — Не понимаешь ты! Говорю от души: ничего кроме добра от тебя не знала. Вижу, что обещал Гавриловне за Кузю просить. И верю — слова бы плохого о нем не сказал. Но вот, когда смотрю на тебя... Очень уж ты отличный!

Степан проговорил с грустной усмешкой:

— Плохой, оттого что хороший. Вроде бы так получается.

— Может и так. Поставить тебя с Кузей рядом — ты всем берешь. Внимательный, добрый, всегда услужливый.

— И это — плохое?

— Обожди! Я столько в эти дни передумала, так много по-новому вижу. Я ведь на Кузю почему сердилась? Что он на тебя непохожий. Мне хотелось, чтобы он ко мне был, как ты... И во всем наперекор шла, а он горячий, сразу на дыбы. Лежала здесь ночью без сна и думала: что бы стоило лаской его усмирить, подойти, обнять: «Перестань, дурачок!» На ласку он беззащитный... Нет, силой поворачивала к себе!

— Ты и лаской с ним пробовала. Столько радиограмм посылала на судно! И чем он ответил?

— В том-то и дело, что ласки не было. Раздражение, упреки... Еще пуще вздыбливала его.

— Значит, все это шуточки были, что давеча говорила у Куржаков? А для чего шутила?

— Не шуточки, Степа... Протянул бы мне в ту минуту руки, может, и кинулась бы тебе на шею. Я не в себе была...

— Сейчас, стало быть, пришла в себя?

— Опомнилась. И вижу: не может быть у нас с тобой любви, не сумела бы я... Несчастье я была бы твое, а не радость. Замучила бы тебя... И сам ты... не нужен ты мне! Так, вроде интересного товара на витрине: полюбоваться можно, а покупать — без надобности. Не сердись.

— Кузю любишь?

— Люблю...

Степан усмехнулся.

— Давно сказано: любовь — зла... Но тогда ответь — как же так? Любишь Кузю и собираешься разводиться?

Она, судя по всему, ждала такого вопроса и ответила сразу:

— Нет тут ничего непонятного. Люблю — и, возможно, разойдусь... Все правильно! Но ты — уходи! Останемся мы с Кузей или разойдемся, ты — уходи!

Они опять помолчали.

— Это твое последнее слово, Лина?

— Да.

— Насильно мил не будешь. Ладно, уйду, раз не нужен. Но ответь еще на один вопрос. Так получается, что вроде бы выгоняешь меня. За что? Почему?

Она нетерпеливо передернула плечами.

— А что объяснять, если вины за тобой нет? Не дорога у меня к тебе — больше сказать нечего. Спокойно на тебя смотрю, спокойно о тебе думаю, придешь или уйдешь — никакого волнения. Это ли тебе нужно?

— С Кузей не так?

— С Кузей не так... Каждое его слово, как он повернется, как поглядит, подойдет ли, отойдет, здесь он рядом или далеко... ото всего волнуюсь. Говорю тебе, столько думала эти дни, столько вспоминалось!.. А раньше? Ночью, бывало, Татьянка спит, и мама с Петром Кузьмичем заснули, а меня сон не берет. За окном ветер, а у меня страх — в Атлантике ураган! Вот скажи, не поверят, вижу, вижу, как судно швыряет буря, волны через палубу, мокрый снег, мачты обледенели, под ногами лед, а вы что-то убираете, что-то закрепляете, и вдруг неосторожный шаг — лети головой в пучину! Ох, даже сердце схватывало! Уткнусь в подушку и плачу, так страшно!

Степан хмуро возразил:

— Нормально! Как по-другому держаться жене рыбака?

— Не знаю, не знаю... За всех рыбацких жен не отвечу. А когда Петр Кузьмич принесет из управления весточку, что, точно, был ураган и проштормовали благополучно и что в трудные минуты, и на работе Кузя всегда из первых, такая радость, такая за него гордость!

Степан холодно сказал:

— Кузя на судне не один. И я, между прочим, с ним работаю и штормую. Двадцать пять человек в команде.

Она вспыхнула.

— Двадцать четыре из них меня не интересуют, пусть за них болеют другие женщины! Я радуюсь только за одного! И все бы сделала, на все пошла для него! Тебе смешно? Я все равно скажу: я благодарна ему, что он среди вас такой, что так трудно в море, а он все выносит! И от этого сама не своя. Не могу, не могу вести себя по-нормальному. Даже Гавриловна удивляется, даже Петр Кузьмич... Ты подумай, Степан, столько кругам соблазнов, таких развлечений — то на семейную вечеринку позовут, то в кино или театр пойти, просто в хорошую погоду по улице погулять, к подругам пойти нарядами покрасоваться... Я ведь не старуха, мне многого хочется.

— Нормальное дело.

— Не могу! Знаю, что нормально — не могу! Вспомню, что Кузя всего этого лишен — вмиг расхочется. И не оттого, что боюсь — он узнает. Нет, самой не надо того, что ему сейчас недоступно. И все думаю, все думаю, вот он вернется, от души развлечений нахватаем, за неделю наберу, от чего четыре месяца отказывалась. И будем всюду вместе, каждый час вместе! А он и не знает, как я жила без него, а расскажи — наверно, и не поверит. И такая тогда обида, так себя жалко... И так сержусь на него! Ты чему усмехаешься?

Степан теперь говорил ровно, даже с улыбкой:

— Вспомнил забавный обычай в Гане. Мы там промышляли, сходили на берег. Там местные жители вырезывают из черного дерева божков и молятся на них, руки-ноги целуют. Короче, выпрашивают всякие блага. А если не получат, чего хотелось, то бьют божков, чтобы были на высоте. И ты, Лина... Сотворила себе божка из Кузьмы и бьешь его, что ведет себя не по-божественному. Даже ненавидишь, оттого что любишь.

Она долго смотрела на Степана.

— Возможно, ты и прав. Но тебя это уже не касается. Тебе я все сказала. Ты — уходи.

Он встал, надел пальто, сказал очень вежливо:

— Ухожу. Прощай, Алевтина! Она ответила равнодушно:

— Прощай, Степа.

10

Радиограмма, посланная Соломатиным на промысел в Северную Атлантику, содержала в себе такие радостные для Луконина новости, что он, не медля и часа, сдал судно старпому и пересел на рефрижератор, возвращающийся в Светломорск. И прямо с судна он поехал не в межрейсовую гостиницу, где ему приготовили номер, а в «Океанрыбу». Вызывал Луконина Соломатин, заменявший Кантеладзе, уехавшего в Москву. Соломатин был мало знаком Луконину, они лишь встречались раза два-три на заседаниях. Вместо того, чтобы идти к новому заместителю управляющего, Луконин пошел в партком. Алексей радостно пожал руку капитана.

— Поздравляю! Сегодня утром Шалва Георгиевич звонил из Москвы. Разворот — огромнейший! Даже больше, чем вы предлагали. Управляющий с нетерпением ждет вас в министерстве. Вы уже были у Соломатина?

— Нет.

— Пойдемте вместе.

У Соломатина шло обычное утреннее совещание, он прервал его, когда появился Луконин.

— Извините, надо рассмотреть вопрос, не терпящий отлагательства, — сказал он, и собравшиеся стали расходиться.

На стене, позади стола Соломатина, висели две огромные — от потолка до пола — карты; справа, крупномасштабная, карта Северной Атлантики, слева, ближе к окну, масштабом помельче, карта всего Атлантического океана. Соломатин взял лежавшую на столе указку и подошел к этой карте, Луконин сел у стола и раскрыл большой, как тетрадь, блокнот. Алексей в сторонке опустился в кресло.

Соломатин, водя указкой по карте, рассказывал, как планируется расширить рыбодобывающий промысел. О том, что докладная записка Луконина встретила сочувственное отношение в министерстве, тот знал из радиограммы Соломатина. Но для него было новостью, что в самом министерстве давно подготавливался проект коренной реконструкции океанского промысла и что правительством этот план, рассчитанный на несколько пятилеток, полностью утвержден; и что для реализации этого плана выделены миллиардные ассигнования уже в этой пятилетке, а в следующих они ещё увеличатся: расширится сеть учебных заведений, подготавливающих квалифицированных рыбаков-океаноходов, создаются конструкторские бюро орудий лова, проектируются новые высокопроизводительные суда, заказы на постройку этих новых, технически совершенных судов, размещены на верфях нашей страны и за рубежом — в Польше, ГДР, Швеции, ФРГ, Японии. Некоторые из них уже скоро начнут прибывать. Весь океан станет объектом промысла — все его районы, все его глубины. Научные экспедиции разведали новые породы рыб, многие и вкусней и питательней уже известных, традиционных — селедки, трески, окуня... Прежний промысел, жмущийся к отмелям у прибрежья материков, становится недостаточным, тем более, что и рыбные запасы на отмелях, вследствие интенсивного вылова, стали оскудевать.

В этом месте Алексей вмешался в объяснения Соломатина:

— Надо учитывать и то, что прибрежные страны расширяют свои охранные зоны, чтобы не давать другим странам эксплуатировать рыбные богатства отмелей.

Соломатин продолжал. Правильно, и это надо учитывать. Подготавливаются международные соглашения об открытых для всех в океане районах промысла, о квотах вылова, но что некоторые отмели вскоре станут недоступны или маловыгодны, сомнений нет. И к такому повороту дел надо заблаговременно готовиться, осваивая всю ширь океана, и поверхностные его воды, и пока еще неведомые глубины. Промысел в целом остается круглогодичным, это нами твердо завоевано, но перестает быть привязанным всего лишь к нескольким районам. Промысел становится гибким, он будет перемещаться по всей акватории мирового океана. В рамках круглогодичной рыбодобычи новое значение приобретает и экспедиционный лов: суда посылаются флотилиями в разные места, где обнаружены скопления какой-либо ценной рыбы. И, естественно, в этих новых условиях первостепеннейшее значение приобретает промысловая разведка. Луконин предлагал создать специальный флот разведки, устанавливающий районы перспективного рыболовства, но работающий независимо от промысловых судов. Предложение это принято. В Светломорск скоро придет новый рыболовный траулер «Чехов», он станет флагманом флотилии, ведущей промысловую разведку по всему Атлантическому океану.

— У «Чехова» большие морозильные трюмы, первоклассное навигационное и промысловое оборудование, — закончил Соломатин. — Мы просим вас принять командование нашей первой большой промысловой экспедицией. Подбор кадров, направление рейсов и все остальное будем решать совместно.

— Согласен! — Луконин захлопнул блокнот. — Что мне делать сейчас?

— Вас ждут в Москве. Когда вы сможете отправиться?

— Ближайшим же самолетом.

— Ближайший самолет уходит через два часа. У нас забронировано одно место. Сможете вы собраться так скоро?

— Могу. — Луконин посмотрел на часы. — Даже пообедать успею.

Он попрощался и вышел. Алексей предложил Соломатину идти в столовую.

— Я ведь обедаю дома, — сказал Соломатин. — Но что-то и есть не хочется. Позвоню Оле, что на обед не приеду.

— Ты чем-то взволнован?

— Как бы тебе сказать?.. Луконин этот.... Удивительный он человек! Моряк — первоклассный, это неоспоримо. Но ты не присматривался к нему во время нашего разговора? Тебя ничего не удивило в нем?

— Ничего. Он был, как всегда. — точен, сдержан. Военная косточка. Всю войну от первого до последнего, дня провел на корабле.

— Ты тоже всю войну провоевал. А Николай Николаевич просто подвиги совершал на море. Но держитесь вы по-другому, Алексей. Нет, это натура, а не выучка. Я про себя поражался, глядя на него. Ведь я ему докладывал, что сокровенная его мечта осуществляется, он ведь цель всей своей жизни видит в освоении океана, разве не так? А сегодня таким дальним ветром ему повеяло в лицо, такой простор на все стороны раскрылся!.. И хоть бы радостная улыбка, хоть восклицание какое-нибудь. «Согласен. Могу. Вылечу через два часа» — и все от него!

— Тебя раздражает его спокойствие?

— Не знаю. Может, и раздражает. — Соломатин рассеянно глядел на карту Атлантического океана. — Вероятно, я просто завидую ему немного. На его рейсовой карте — весь океан! Весь океан — это же понимать надо!

Алексей задумчиво сказал:

— Зависть, ты говоришь! Я думал, ты привыкаешь к своей береговой работе. Значение ее, во всяком случае, несравнимо с твоей прежней.

— Несравнимо, — согласился Соломатин. — Целыми флотами командую — с берега... Размах грандиозный, это впечатляет. Оля иногда допытывается, как чувствую себя. Отвечаю всегда одно: и не мечтал никогда о таком масштабе... Увлечен, покорен, восхищен!

— Именно этими словами успокаиваешь ее?

— Может быть, немного иными. Во всяком случае, такими, чтобы она не огорчалась. Что сделано — то сделано. Портить ей настроение; укорять — зачем? Мне радостно, когда она радуется. Вот и хочу поддерживать в ней радость... Сколько могу сам...

Алексей покачал головой.

— Посильна ли такая задача? Непрерывная радость — у меня что-то не выходило. И у тебя не получится.

— Временами не получается, — хмуро подтвердил Соломатин. — Но, во всяком случае, стараюсь. Чего еще от меня требовать?

Зазвонил телефон. Соломатин подошел к аппарату.

— Соломатин слушает. Алексей Прокофьевич у меня. Сейчас позову.

Алексей взял трубку. Лицо его стало напряженным, глаза, страшно округлились.

— Около школы? — спросил он сразу переменившимся голосом. — Разрушенный дом на Западной? Знаю, там два невосстановленных дома... Готовят к операции? Девочка? Варя Анпилогова? Сделали перевязку? Да, немедленно выезжаю!

— Что случилось? — тревожно спросил Соломатин.

— Старый снаряд взорвался на Западной, ранило моего Юрку. Звонил главврач областной больницы. Юрку привезли туда.

— Я поеду с тобой, — быстро сказал Соломатин, вызывая гараж.

11

Машина затормозила у подъезда областной больницы. Алексей выскочил еще до того, как она полностью остановилась. За ним спешил Соломатин.

Алексей часто проезжал мимо здания областной больницы с тягостным чувством. Сейчас это ощущение превратилось почти в душевную боль. Дело было не только в том, что больница — место, где страдают люди, и что сейчас там лежал его сын, и еще было неизвестно, как тяжело он ранен. Само старое здание угнетало: огромное, уродливой архитектуры, мрачного цвета... От этого здания, даже не зная, что в нем, хотелось поскорей отвести взгляд: Алексею всегда казалось, что только не любя людей, можно создавать такие обиталища. Больницу устроили в районе, лишенном зелени и воздуха, летом стены дышали жаром раскалившегося камня, зимой низко стлались дымы печей. Здесь даже легкому больному все напоминало, что любая болезнь — тяжелая.

Около операционной Алексей и Соломатин увидели Марию Михайловну. Мария нашла в себе силы улыбнуться. Она всегда в трудные минуты сохраняла спокойствие.

— Юру готовят к операции. На развалке мальчишки нашли снаряд. Юра отогнал их, но кто-то издали кинул в снаряд камень. Юра ранен в ногу, живот и грудь. Я надеюсь, что операция пройдет благополучно.

— Оперировать будешь ты?

— Я хочу ассистировать. Оперировать будет Лев Захарович.

— Могу я посмотреть на Юру?

— Сейчас не нужно. После операции тебя пустят в палату. Поговори с Варей. Просто чудо, что ни ее, ни других не убило. У нее ранка на щеке, двое мальчиков отделались царапинами, их перевязали и отпустили. Варя в кабинете Льва Захаровича.

Алексей пошел к главному хирургу. В его кабинете сидела заплаканная девочка с перевязанной щекой. Алексей сел рядом и молча погладил ее по голове.

— Как это случилось, Варенька?

— Я пошва домой — Варя опять заплакала, еле выговорила сквозь слезы: — Юра провожав меня, а на Западной мавчишки нашви снаряд. — Варя не выговаривала буквы «л». Она совсем захлебнулась слезами. — Юра... Юра...

В кабинет вошел главный хирург Лев Захарович Тышковский. С Тышковским Алексей дружил с войны. Молодой врач, недавно со студенческой скамьи, он появился в их дивизии с орденом Красной Звезды на груди. Днем он делал операции в полевом госпитале, а ночью с автоматом и врачебным чемоданчиком участвовал в вылазках на другой берег залива, где шли тяжелые бои — производил при свете фонаря неотложные операции и переправлял раненых. Не одному человеку спасла жизнь его храбрость и врачебное искусство — второй орден Тышковского отметил те трудные дни боев у залива. Лев Захарович улыбался, показывая добродушным лицом, что операция легкая и закончится благополучно, но у Алексея перехватило дыхание.

Тышковский понял, что улыбка не успокоила Алексея и что Алексея успокаивать не надо, а нужно говорить правду, какой бы она тяжелой ни была.

И он сказал с такой искренностью, что Алексей поверил:

— Вам не нужно объяснять, что может произойти, когда разрывается снаряд. Одно скажу: могло кончиться хуже! Юра будет жить, это мы обещаем.

Он посоветовал Алексею набраться терпения. Много мелких осколков, каждый нужно отыскать и вынуть. И они не собираются спешить. Алексей вспомнил, что еще в войну Тышковский говорил на операциях ассистентам: «Спешить не будем — выйдет быстрее».

Врач ушел. Алексей тоже вышел. По коридору прохаживался Соломатин, он сказал:

— Лев Захарович в операции уверен. Я только что с ним разговаривал. От меня он ничего скрывать не будет.

— Я и не сомневаюсь, что он уверен, — бесстрастно сказал Алексей и, помолчав, добавил: — Плохо, что он проводит операцию сам, не доверяя другим.

Они молча шагали по коридору.

— Тебе нравится это здание? — вдруг спросил Алексей. Соломатин пожал плечами. Как может нравиться больница?

Само название происходит от слова «боль». Алексей возразил, что больница может нести в себе не память о боли, а идею выздоровления. Недавно в горкоме рассматривали проект больницы железнодорожников — светлое здание, скорее дом отдыха, чем больница. И окружат ее не мрачные, плотно сомкнувшиеся строения, сузившие улицы до щелей, а просторный парк с кленами и каштанами, с сиреневыми и черемуховыми аллеями, с клумбами цветов, ярких с весны до поздней осени. В такой больнице и тяжелобольному кажется, что скоро восстановятся силы, раз все кругом так приятно глазу, а парк, шумящий ветвями и источающий аромат, зовет в свои тихие аллеи. Им надо построить свою больницу, для рыбаков. И она должна быть тоже светлой и приветливой, а не угнетающей.

Соломатин понимал, что Алексей завел разговор, чтобы отвлечь свои мысли от предстоящей операции. Он поспешно сказал, что со своей стороны всемерно поддержит идею больницы для работников «Океанрыбы».

Они проходили мимо палаты, где шла операция. Соломатин сказал:

— Я звонил в милицию. Тот дом оцеплен, прибыли саперы. Возможно, еще найдут снаряды под развалинами. — Он хмуро добавил: — Не могу отделаться от чувства вины. Давно, давно нам пора было покончить с руинами! И могли бы, если приложили больше старания...

Из операционной вышел Тышковский и бодро сказал:

— Все хорошо! Подробней расскажет Мария Михайловна. Он явно не хотел вдаваться в детали. Сестра выкатила стол на колесиках.

Юра был весь укутан, виднелось только лицо — осунувшееся, с закрытыми глазами.

— Благополучно? — спросил Алексей у Марии, и сам не узнал своего спокойно-бесстрастного голоса.

Она ответила тоже спокойно:

— Лев Захарович сделал мастерскую операцию, даже не одну, а несколько в разных местах. Пойдем ко мне..

— Я поеду, — сказал Соломатин и поспешил за главным хирургом.

В комнате дежурного врача Мария остановилась у окна. В окно был виден тесный дворик — каменная площадка в колодце каменных стен.

Алексей, помолчав, сказал тем же чужим голосом:

— Лев Захарович мне не хотел рассказывать...

Мария повернулась, спрятала лицо на его груди, вся тряслась. Прошла долгая минута, прежде чем он заговорил вновь:

— Значит, Юра умрет?

— Будет жить, будет! — простонала она. — Но не знаем, не останется ли он калекой!

Он молча гладил ее волосы.

12

Кантеладзе вернулся из Москвы один. Луконин остался в министерстве утверждать план промыслового поиска на всей акватории Атлантического океана. В управлении «Океанрыбы» всегда хватало работы, сейчас ее было так много, что управляющий распорядился срочно отозвать с промысла и Березова.

— Один ум хорошо, два лучше, — сказал Кантеладзе Соломатину. — Не обижайся, дорогой, но без Николая Николаевича трудно. Ты хороший рыбак, хороший, а морского опыта у Березова побольше. Весь океан охватываем — какой проницательный взгляд нужен!

Соломатин и сам понимал, что — ученик Березова — он много знаний и умений получил от своего наставника, но отнюдь не стал ему равен. Без Березова, и вправду, было трудно. Промысел в Северной Атлантике надо было временно прекратить, там к лету перестала идти стабильная сельдь. Зато, по прогнозу промразведки, на отмелях Северо-Западной Атлантики ожидалось появление весной и летом крупных масс сельди. Надо было переводить промысел сюда. От капитанов, начавших здесь добычу, пришли первые радиограммы — уловы шли неплохие, недели через две-три они должны были стать обильными.

Березов вышел с промысла в порт на плавбазе «Тунец», заполнившей все свои трюмы добычей. С плавбазой шел отряд траулеров, закончивших рейсовый срок, — «Ока», «Анадырь», «Волхов», в их числе и «Кунгур», на котором Соломатин проплавал несколько лет. Еще недавно это судно считалось первым в тресте, одним из лучших в стране, сейчас ни в чем не опережало другие суда — типичный промысловый середнячок, без удачи и без провалов.

Уже с полгода в порту не появлялось сразу столько судов, они теперь приходили чуть ли не каждый день, чуть ли не каждый день уходили. Управляющему хотелось устроить промысловому отряду торжественную встречу, он поручил организовать ее Соломатину.

База и траулеры, по расписанию должны были показаться в канале около четырех часов дня. В этот день Соломатин поехал на обед в машине Алексея. Алексей хотел навестить сына, он всегда посещал больницу в свой обеденный перерыв. Соломатин был так хмур и неразговорчив, что Алексей с удивлением спросил, не случилось ли чего?

— Ничего не случилось, — недовольно сказал Соломатин. — Не умею я парады организовывать, вот и вся причина.

Алексей догадывался; что дело не в одном неумении организовывать празднество. Он сказал:

— А что организовывать? Народ придет на встречу сам, оркестр ты заказал, а говорить будем мы с Шалвой Георгиевичем, еще один капитан и один матрос — вот и вся торжественная встреча.

У дома Соломатин вышел, Алексеи поехал дальше. Соломатин снял пальто, скинул ботинки, надел комнатные туфли — и делал все это не торопясь. Нужно было совладать со скверным настроением. Он уже не раз поступал вот так же — задерживался в прихожей, придавал лицу веселый вид, чтобы войти в комнату с улыбкой. Ольга Степановна в последнее время легко огорчалась, он остерегался расстраивать ее хмурым выражением лица.

— Давай есть, Оля, я проголодался, — сказал он весело. Ольга Степановна быстро накрыла на стол и села обедать с мужем, потом понесла на кухню посуду, он прилег. Вернувшись, она присела рядом с ним.

— Поспишь, Сережа, или поболтаем?

Он сокрушенно поглядел на стенные часы.

— Отличное бы дело — поспать, да не выйдет. Скоро собираться на пристань. Ты сегодня была у Юрочки. Как он?

— Все так же. Состояние пока неопределенное. Слушай, ты читал стихи Шарутина в «Маяке»?

— Конечно. А почему ты о них спрашиваешь?

Она взяла со стола газету и развернула на третьей полосе.

— Они попались мне на глаза, я снова перечла их. Многое мне кажется странным. Например, заглавие: «Большой воды мечтатели». Какой смысл вкладывается в эту фразу? Имеет ли она вообще смысл?

Он пожал плечами.

— Поэты любят говорить по-своему, пооригинальней. Я так толкую название его новой книги: стихи о тех, кто любит океан, кто мечтает об океане, кому тесно в море.

— Тесно в море? — переспросила она с изумлением. — А какая разница — океан или море? Вода везде одинаковая. В океане, в море ли — на всех сторонах вода сливается с небом, горизонт везде один и тот же.

Он засмеялся, обнял жену, ласково привлек ее к себе. Она никогда не ходила ни в море, ни в океан, она не может понять, что испытывает моряк, когда выходит на открытый простор из сдавленного берегами бассейна. Все меняется! Да, разумеется, поверхностному восприятию картина кажется неизменной — вода до горизонта и все тут! А куда она простирается за горизонт? Как далеко отодвинулись берега? Что у тебя под килем — десяток метров или километры? Какая волна качает тебя — мелкая, короткая, или водяной вал на сто метров? И даже если картина физически и одинакова, психологически она воспринимается по-иному. В море знаешь — день хорошего хода, где бы ни находился, обязательно достигнешь берега. А в океане — недели мчись великой водной пустыней, великолепной пустыней зелено-синей воды — нет берегов, один ты на этих гигантских просторах! Ощущаешь величие мира, сам становишься сопричастен величию того удивительного явления, которое называется «планета Земля, а пять четвертых ее — океан».

— Ты тоже заговорил поэтическим языком, Сережа!

— Вероятно, поэтический язык — самый точный для выражения того, что чувствует в океане человек.

Она сказала задумчиво:

— Видимая глазу картина — одна, а чувствами воспринимаешь ее по-разному. Можно доказать, что так бывает?

— Вероятно, можно, но я не берусь. Просто устанавливаю факт. Могу привести лишь пример. Корова и человек видят один и тот же пейзаж, но воспринимают его по-разному. Корова ест траву, и если она в разных местах одинаковая, пейзаж для нее — один. А человек пейзажем любуется, он в каждом новом месте видит иные картины.

Ольга Степановна посмотрела в окно.

— Пора одеваться, Сережа, Твоя машина пришла.

Он зевнул, без охоты надел пиджак. Она вынесла из спальни букет цветов. Пораженный, он уставился на них. Она со смехом сказала:

— Ты, кажется, удивлен. Приходят твои товарищи, Твой друг и учитель Березов. Как же их встречать без цветов?

Он вышел первый, сел в машину впереди. По мере приближения к порту, на улице становилось больше прохожих. На площади перед «Океанрыбой» машина остановилась, дальше надо было идти пешком. Толпа валом валила на пристань. У первого причала Соломатин вдруг остановился. Она потянула его за руку, он не шевельнулся.

— Что с тобой? — спросила она встревоженно.

Он показал на холм, возвышавшийся над мостовой.

— Узнаешь место, Оля? Она сказала, растроганная:

— Да, конечно. На этом холме я всегда поджидала тебя. Сколько раз ты приходил с океана, сколько раз я взбиралась на вершину холмика, чтобы увидеть твое судно издалека... Пойдем, Сережа, проехала машина Кантеладзе, он будет ждать тебя.

Он не тронулся с места.

— Да, много раз! — сказал он. — И каждый раз ты встречала меня с цветами. Я смотрел с мостика в бинокль, искал прежде всего тебя и когда находил, старался разглядеть, какой у тебя букет. Я так удивлялся, так радовался... Зимой прихожу, кругом снег и лед, у тебя в руках цветы. И я всегда расспрашивал, где ты их достаешь, а ты смеялась, или отмалчивалась, или говорила: «Их достает моя любовь к тебе, больше ни о чем не допытывайся!» И сейчас зима, а у тебя в руках цветы. Может, хоть теперь скажешь, откуда они?

Она сказала:

— Сережа, мы опоздаем. А цветы заказываю заранее в Ботаническом саду, там привыкли к моим просьбам. Прошу тебя, пойдем.

Он и на этот раз не двинулся.

— Привыкли к твоим просьбам, — сказал он задумчиво. — Да, почему не привыкнуть? Так и я привыкал к тому, что меня окружает многие месяцы один и тот же горизонт — вода, переходящая в небо, небо, становящееся водой... На тысячи миль — однообразный морской простор. Пустота! То бурная, то ясная, одна пустота, ничего кроме пустоты. И всегда качает койку, а иной раз швырнет с койки на пол. И день изо дня повторяется одно и тоже. Думаешь о береге, гадаешь, как с тобой, как с детьми? А когда подходишь к берегу, так волнуешься, так ждешь встречи...

Она сказала нетерпеливо:

— Теперь тебе не надо волноваться, я всегда рядом. Поговорим об этом в другой раз. Времени на любые разговоры у нас хватит.

— Да, хватит, ты права. На любые разговоры, даже самые длинные. А о чем нам разговаривать, Оля? Ночью ты спишь, так спокойно, так красиво спишь. А я каждую ночь просыпаюсь: кровать ходит, как койка, чудится, что в шторм попали, надо скорей на мостик... Разбудить тебя, рассказать, какие одолевают кошмары? Этого ты хочешь?

— Вижу, ты хочешь опоздать на встречу! Он чуть не крикнул:

— А ты боишься пропустить спектакль? Вот оно, твое отношение, твои привычки: театр устраиваете на причале! Цветы, торжественные речи, рукоплескания... А я со вторым своим домом встречаюсь, с родным своим домом, из которого ушел! Да что говорить!

Он повернулся, быстро пошел к выходу.

Окаменев, она только смотрела, как он проталкивается сквозь толпу. Громкоговоритель объявил, что суда уже прошли поворот канала, через десять минут первые начнут швартоваться.

Проходившая мимо девушка с тощим букетиком в руках восхищенно посмотрела на букет Ольги Степановны и сказала:

— Какие цветы!

Ольга Степановна устало посмотрела на нее. Девушка была рослая, румяная, в модной шубке.

— А вы кого встречаете — мужа или жениха?

— Жениха. — Девушка густо покраснела. — То есть, еще не жениха... Просто друга. Он, правда, написал в последнем письме, что хочет...

Ольга Степановна, не дав ей договорить, протянула букет.

— Возьмите.

Девушка робко взяла букет, стала горячо благодарить. Ольга Степановна через силу улыбнулась ей и пошла назад — к выходу.

Толпа валила на пристань, Ольга Степановна одна шла против течения — медленно, устало. В толпе встретилось несколько знакомых, они здоровались, спрашивали, почему она идет из гавани, а не в гавань, и где Сергей Нефедович. Она отвечала, что муж в управлении, а ей нездоровится, думала побыть на встрече, но не сумеет.

Дома она села на диван, молча смотрела в темнеющее, окно, вспоминала прошлую жизнь, думала о жизни сегодняшней, о так неожиданно разразившейся ссоре с Сергеем — и все отчетливей и больней чувствовала, что неожиданность только кажущаяся, ссора, немного позже или раньше, должна была произойти, она стала неизбежной.

Часы прозвонили семь, Ольга Степановна пошла в детский садик.

После ужина она прочитала детям сказку, уложила их в постельки, велела спать — и снова села на диван в темной комнате, и снова размышляла о себе, о Сергее, о прошлой их жизни, о жизни будущей.

Соломатин вернулся домой в двенадцатом часу и сам зажег свет.

— Будешь ужинать, Сережа? — спокойно спросила она, поднимаясь с дивана.

— Немного бы перекусил, — ответил он.

Она поставила еду на стол, села против мужа.

— А ты, Оля, почему не ешь? — спросил он, Они обычно ужинали вместе, как бы поздно он ни приходил.

— Я уже поужинала, — ответила она и, помолчав, спросила: Видел Николая Николаевича?

— Они из гавани приехали втроем — он, Шалва Георгиевич и Алексей. Вкратце мы ввели его в курс перемен.

— Как он к ним отнесся?

— Хорошо, конечно. Но заявил, что основную работу по расширению промысла на все районы океана оставит на моих плечах. Мне это не очень понравилось. А по-твоему?

— По-моему, правильно, — сказала она безучастно. — Ты ведь уже начал эту работу.

Соломатин бросил на жену быстрый взгляд. Она казалась больной, у нее были воспалены глаза. Ему захотелось обнять ее, извиниться за вспышку в гавани. Он сдержался. За извинением последует длинный, на всю ночь, разговор. Он не был готов к такому разговору. Пришлось бы не только извиняться, но и много горького сказать жене. Он не хотел ее мучить. Поев, он стал зевать, притворяясь, что одолевает сон, и пошел в спальню. Она убрала со стола и легла на свою кровать. Он вскоре и впрямь уснул. Она долго не спала, долго смотрела в темные окна, молчаливо спорила с собой и с мужем. Все было неустойчиво в мыслях, она ни на одной не могла твердо остановиться. Лишь одно она все отчетливей понимала — прежний, устоявшийся уклад жизни становился невозможным, его надо было менять. И ее охватывал страх перед будущим, она еще неясно представляла себе, удачно ли оно сложится, это будущее.

13

Юра лежал забинтованный, осунувшийся. Состояние мальчика то улучшалось, то ухудшалось. Главного хирурга тревожило, что на ноге рана плохо заживала. Тышковский был из «активных хирургов» — он умело использовал медикаменты, но охотней прибегал к скальпелю. Он уговорил Марию Михайловну дать согласие на повторную операцию. Она опять ассистировала Тышковскому. После новой операции наступило улучшение. В палате постоянно кто-то находился. Больничных сестер не хватало, но главный хирург разрешил превратить посещения больного в правильно распределенные дежурства: Елизавета Ивановна и слушать не хотела о том, чтобы уйти, лишь полчаса посидев у постели мальчика. Выговорили себе часы для дежурства и Прокофий Семенович, и Ольга Степановна. Гавриловна, приводя на ночь внучку к Алевтине, тоже охотно шла в палату — помочь Юре, и его соседям, и тем, кто лежал в ближних палатах, и кому, подсобляя дежурным сестрам, нужно было оказать услугу. А Мария Михайловна, отработав свои часы, шла к сыну и разговаривала с ним или молча глядела на него, когда он засыпал.

Павел Доброхотов перед тем, как случилось несчастье с Юрой, уговорил мать ехать в Севастополь сразу же по приходе тех бывших членов экипажа «Ладоги», которые должны вернуться с промысла. Он понемногу распродал лишнюю мебель, оформил заказ на контейнер для коллекций. Взрыв проржавевшего снаряда на Западной разнес вдребезги его план. Елизавета Ивановна наотрез отказалась уезжать, шока Юра не встанет на ноги.

Павел оставил мать одну в старой квартире — на три четверти лишенная мебели и от того, что сама по себе просторная, теперь она казалась пустынной и огромной, в ней и шаги звучали не пожилому гулко. А сама Елизавета Ивановна, сшив собственный белый халат, по два раза в сутки являлась в больницу и каждый приход проводила в палате по четыре часа, ревниво следя, чтобы никто ее не пересиживал — ни мать мальчика, ни дед: И, вероятно, ее Юра ожидал всех нетерпеливей: у матери, как она ни крепилась, в глазах бывало и страдание, и испуг, она не могла скрыть озабоченности, если ему становилось хуже; Прокофий же Семенович расстраивался, когда при нем делали перевязки.

Елизавета Ивановна садилась около постели, говорила неизменно одно: «Сегодня у тебя неплохой вид, Юрочка, скоро пойдешь на поправку», и так, ловко возилась с ним, так умело поправляла постель и подушку, так мягко переворачивала, что он почти не испытывал боли от прикосновения ее больших, очень полных рук. И сама она, массивная, грузная, так неслышно ходила по палате, так внешне неторопливо, но всегда вовремя поспевала к соседям, если те нуждались в помощи, что опытные больничные сестры говорили: «Вам бы нашему ремеслу обучиться, вот бы больные не нарадовались, Елизавета Ивановна».

А когда наступало время свободное от перевязок, глотания лекарств и уколов, можно было начать единственное больничное развлечение — добрую беседу. Юра спрашивал, она отвечала. Он задавал короткие вопросы, она отвечала длинными рассказами. И говорила всегда об одном — о былых путешествиях мужа по разным океанам земли. И так как Доброхотов за долгую свою морскую жизнь посетил много стран и городов, бороздил разные воды, проводил месяцы в непохожих климатических районах, то и рассказы ее были не похожи один, на другой.

— Борис Андреевич пересек все триста шестьдесят меридианов земного шара, Юрочка, — говорила Елизавета Ивановна, — и пересек каждый неоднократно, ибо мировой океан нигде наглухо не закрыт берегами, это площадь, которую досками не заколотить. И он выходил из Атлантического в Тихий через Панамский канал, по Магелланову проливу мимо Огненной Земли, а бывало шел и южнее мыса Горна, грозным проливом Дрейка. И из ста восьмидесяти параллелей, он разрезал килем своих судов сто пятьдесят четыре — далеко поднимался на север, глубоко уходил на юг. Одиннадцать раз пересекал он тропик Рака, восемь раз спускался за тропик Козерога, а сколько сминал Северный полярный круг, он и счет потерял, я одна знала, что это было двадцать четыре раза. И только два раза он забирался выше Южного полярного круга, но какие это были два удивительных путешествия, какие незабываемые впечатления, Юрочка!

Ночью сверкали созвездия, какие обычному человеку вовеки не увидеть. Полярная звезда в одном рейсе вздымалась в зенит, в другом рушилась за горизонт, в одну неделю штурман правил курс по Сириусу, по Веге, по Кастору и Поллуксу, по величественным светилам Ориона, по всегда милым огням Большой Медведицы и Кассиопеи, а в другую неделю не было ни Полярной, ни Веги, ни Арктура, ни Кастора, а над головой пылал гигантский Южный Крест, сверкал красноватый Канопус. Ах, Юрочка, это было так красиво, что дух захватывало!

Как и прежде, она говорила о впечатлениях мужа, как о собственных, события, пережитые им, становились фактами ее собственной жизни — и от этого неторопливые, подробные повествования захватывали особенно сильно.

А когда рассказываемые изо дня в день истории морских путешествий Доброхотова стали исчерпываться и описания стран, народов, обычаев и морей, могучих ураганов и великих штилей, начали терять яркость первооткрытий, она заговорила о мореплавателях прошлого, о тех, кто не просто плавал по давно нанесенным на карту морям и швартовался в хорошо оборудованных гаванях, как ее муж, а с каждым движением своих кораблей, с каждым порывом ветра, надувавшим паруса, вторгался в неизведанные моря, приближался к незнакомым землям, знакомился с еще невиданными народами.

Имен было много, не все запоминались, но каждое было вехой в познании океана, в каждом было сконцентрировано множество приключений, успехов, неудач, каждое говорило о несгибаемом мужестве, о неисчерпаемом терпении, о поразительном упорстве... И Юра слушал, щеки его пылали, глаза горели — до боли хотелось стать таким же...

А Ольга Степановна, пришедшая как-то раньше обусловленного времени, тоже слушала очередной длинный рассказ Елизаветы Ивановны, и недоумевала и досадовала, до чего же они плохо знали эту женщину, их многолетнюю соседку. Грузная, замедленная, казавшаяся болезненно рыхлой, она виделась им вечно сидящей в кресле, они считали ее ленивой, только мастерство в изготовлении вкусных тортов еще признавалось за ней. А она была не только превосходным слушателем историй, рассказываемых мужем, но и усердным читателем собранной им морской библиотеки, которой сам он редко пользовался, — и памяти ее можно было только позавидовать.

Как-то ночью Мария Михайловна дежурила в хирургическом отделении. Ольга Степановна, оставшись на ночь, выждала, пока Юра заснет, зашла в дежурную комнату поделиться с подругой впечатлениями о жене Доброхотова. Мария Михайловна возразила:

— Что до меня, то я давно догадывалась, что она не такая, какой кажется. Знаешь, это, может быть, парадоксально, но она, оставаясь дома, когда Борис Андреевич уходил в рейс, мысленно двигалась вместе с ним. Изо дня в день следовала душою по его курсу. Отсюда ее настойчивые требования у диспетчера каждый день сообщать, где сегодня находится муж. И она одновременно изучала моря, по которым он ходил, порты, где швартовались его суда. Они находились на разных краях земли, но одновременно совершали одно путешествие — он в океанах реально, она на берегу — мысленно.

Ольга Степановна сказала задумчиво:

— Ты разъясняешь одно мое заблуждение. Лиза всегда казалась мне туповатой. Я порой возмущалась, что долгое отсутствие Бориса Андреевича не вызывает в ней тоски. Я так остро чувствовала разлуку с Сережей! А Лиза просто не разлучалась со своим Борисом. Знаешь, я все время повторяю одно стихотворение Шарутина, две строчки, не знаю, хороши они или плохи, но они не выходят из памяти.

— Я читала подборку его стихов. О каких строчках ты говоришь?

— Ты, океан, великий разлучник, соединил нас, разъединив.

— К Доброхотовым эти строчки вполне подходят.

— Не только к Доброхотовым, — сказала Ольга Степановна. В дежурную вошла сестра. Один из недавно оперированных пытается сорвать с себя повязку. Мария Михайловна поспешила в палату. Ольга Степановна ушла к Юре. Мария Михайловна, справившись с беспокойным больным, заглянула к сыну, пощупала его пульс, осторожно провела рукой по раскрасневшемуся от сна лицу. Она знаком показала Ольге Степановне, что здесь все хорошо, та может снова идти к ней. В дежурной Мария Михайловна сказала:

— С тобой что-то странное, Оля. Ты очень переменилась. Ольга Степановна помолчала, перед тем как ответить:

— Ты угадала, Мария. Не знаю только — как? Я стараюсь никому не показывать своего состояния.

Мария Михайловна с улыбкой смотрела на подругу.

— Раньше ты для дежурства у Юры выбирала дневные часы, когда Сергей Нефедыч на работе, а сейчас стараешься дежурить ночью, а ведь он в это время дома. И когда у тебя нет неотложного дела, ты всегда думаешь о чем-то — и так странно задумываешься!

— Мне кажется, у нас с Сережей надломилась жизнь...

— У вас? — воскликнула Мария Михайловна. — Не выдумывай! Такая идеальная семья! Мы с Алексеем всегда считали — нет более влюбленной пары! И не мы одни.

Ольга Степановна покачала головой. Многое переменилось в их жизни. И прежде всего переменился Сергей. Разве этот располневший медлительный человек похож на прежнего стройного, быстрого, нетерпеливого? Приходя с работы, он сразу валится на диван. Он отказывается играть с детьми, его не увлекают их заботы и забавы, он перестал бегать с ними наперегонки, залезать с ними под стол, а ведь раньше это была их любимая забава — забраться туда, накрыться скатертью — ищи нас мама! Он прежде приходил на берег на три недели, на месяц. За это короткое время они три-четыре раза бывали в театре, по десяти раз в кино. За девять месяцев, что он на берегу, они только раз посетили театр, только раз! Он стал солиден, скоро станет важным. Где его всегдашнее беспокойство, от которого им так доставалось? Он же был сумасброд, проказник, молодой не по годам. Сейчас он не по годам — старик!

— Раньше Сергей работал в море, отдыхал на берегу, сейчас он работает на берегу. Разница огромная.

— Ты права, есть разница. И она вполне достаточна, чтобы перестать быть счастливой.

— Летом вы поедете в отпуск. Ты увидишь на отдыхе прежнего своего Сергея — веселого, доброго, проказника.

— Нет, Мария, все не так. Две вещи недавно потрясли меня — два неожиданных разговора.

— Что за неожиданные разговоры?

Ольга Степановна подошла к окну, всматривалась в ночную темь. На улице перестали ходить трамваи, не ездили автомашины, не было видно прохожих. И в больнице стало тихо — был тот час, когда почти все больные погружаются в сон. В коридоре не слышалось торопливых шагов сестер, спешащих на помощь, никто не вызывал дежурного врача. Ольга Степановна отошла от окна, села на стул. Первый неожиданный разговор состоялся неделю назад. Куржаки умоляли уговорить Алевтину вернуться домой. Она зашла к Лине, когда возвращалась с дежурства у Юры. Лина не хочет вернуться. Она описывала свои обиды, она жаловалась, что Кузьма не понимает, как ей тяжко без него, как ей страшно за него. И она говорила точно такими словами, какими Ольга Степановна рассказывала о себе Сергею. Те же фразы, даже голоса их, такие разные, вдруг стали похожи: «Страх, вечный страх! У вас ураган, вас несет на скалы, разбивает, вы обледеневаете. Уткнусь в подушки и молча плачу, такой охватывает ужас».

Мария Михайловна с удивлением проговорила:

— Не понимаю, что могло потрясти тебя? Положение одинаковое, — жены рыбаков. Похожие чувства отливаются в одинаковые слова.

— Не это меня потрясло, что говорим одинаковыми словами, — задумчиво сказала Ольга Степановна. — Я не дура, понимаю, что такое быть женой рыбака. Я спросила Лину, что ей нужно для счастья, чего она добивается от Кузьмы? Она стала описывать, чего хочет, а я слушала и холодела. Алевтина называла, что я имела, именно это! И если бы она попросила рассказать, как я жила с Сергеем, она услышала бы то, о чем мечтает. Она желает одного — устроить жизнь с Кузьмой так, как была устроена моя жизнь с Сергеем. И она ничего другого не ищет для счастья, а я все это имела — и была несчастлива. Можешь ты это понять?

— Могу! Ты совершила одну ошибку. Сергей работал в море, там проходили его будни. На берегу он праздновал. Ты захотела превратить всю свою жизнь в непрерывно длящийся праздник. Ты задумала отменить будни, и это не удалось. Календарь не пишут одними красными цифрами, красные дни увенчивают обыденные, но не могут исключить их. Ты не согласна?

Ольга Степановна рассеянно глядела в окно, в непроницаемую предрассветную тьму. И ответила не сразу.

— Знаешь, Мария, я скажу кое-что, что тебя удивит. Не такая уж я бестолковая, чтобы не понимать: одно дело — отдыхать на суше, другое — трудиться на ней. И что праздники перестанут быть столь праздничными, а будни затопят существование... Что ж, и это я понимала. И готова была с этим примириться. Почти все люди с возрастом толстеют, становятся медлительными, в них остывает прежний жар. Молодость проходит, вот и все! И я уверяла себя, что все совершается по законам жизни, ничего не поделаешь, раз уж жизнь такая. Зато Сережа всегда, со мной, нет больше разлук, остальное несущественно! Говорю тебе, я готова была принять такую жизнь.

Она замолчала. Мария Михайловна испытующе глядела на нее.

— А теперь ты не хочешь принять такую жизнь?

— Да, Мария, больше не могу ее выносить!

— Что же случилось нового?

— Я уже сказала — произошел второй разговор, который потряс меня. Может быть, надо сказать поскромней, попроще, но не могу, это единственное слово — потрясена! Я все вдруг увидела по-иному, чем воображалось. Знаешь, идешь в предгрозовые сумерки, ничто не кажется незнакомым, и вдруг молния пронзительно все озарит и неожиданно поймешь, что мир вокруг тебя иной, ты еще не видела его по-настоящему.

— Ты говоришь, а я тебя не понимаю.

Ольга Степановна рассказала, как они с мужем пошли встречать возвращающиеся суда; и как на пристани Сергей бросил ей упрек, что она превращает встречу моряков в спектакль и радуется речам и музыке, а он впадает в отчаяние от того, что сейчас увидит родной свой дом, который она заставила его покинуть; и как он бежал из гавани; и как уже почти неделю они не разговаривают, лишь обмениваются несколькими словами; и что поэтому она выходит к Юрочке ночью, ей тяжко сейчас оставаться с Сергеем, она, покормив и уложив детей, уже одетая, чуть он входит, покидает дом; и как она все допрашивает себя, что ей теперь делать?

— Сергея можно понять, — сказала Мария Михайловна. — Он разволновался, понемногу успокоится. Все войдет в прежнюю норму.

— Не хочу жить по-прежнему! Меня ужасает норма, о которой ты говоришь! Одни будни, морские, сменялись другими буднями, сухопутными, так как утверждаешь. Все по-другому! Катастрофа, вот что произошло! Я сделала Сергея несчастным.

Мария Михайловна пробовала спорить, Ольга Степановна не дала. Совершилось несчастье — и она одна виновата!.. Море было не просто рабочей площадкой для Сергея. Как часто он со смехом говорил: «Поле нашей деятельности — океан», это так по-деловому звучало. Как радостно он твердил: «Так соскучился в море по берегу, так неможется без вас!» — и ее обманывали такие признания. Нет, она не обвиняет Сергея во лжи, все было правдой — в море работали, а не веселились, в море тосковали о береге. Но это не вся правда, только половина. Океан и рабочая площадка и призвание, в нем Сергей тосковал по берегу, на берегу тоскует по океану — вот это и будет всей правдой. Он стремится в океан, он радуется берегу — и это одно единое! А она разорвала эту связь. И что получилось? Нет, Сергей не разлюбил ее, он просто стал спокойным, почти равнодушным. Его не зажигает то, от чего он прежде вспыхивал, он теперь не нуждается в огне. Он хорошо работает, он слишком самолюбив, чтобы плохо работать. Исчезло только одно — увлечение. Нет увлечения дома, нет на работе, нет и в душе. И это начало взаимного охлаждения! Дальше так жить она не может.

Мария Михайловна спросила, после некоторого молчания:

— Тебе нужно мое мнение?

Ольга Степановна устало передернула плечами.

— Хотела высказаться. Излила душу — вот и все.

— И ограничишься тем, что излила душу? Ольга Степановна грустно улыбнулась.

— Поговорю с Сережей. Признаюсь, в чем призналась тебе. По-другому, конечно, но суть — та же. А дальше — как он сам решит...

В дежурную вбежала встревоженная сестра. Одному из больных стало плохо. Мария Михайловна поспешила к нему. Ольга Степановна вернулась в палату, где спал Юра. У его постели сидела Елизавета Ивановна.

14

— Иди, Олечка, — сказала она. — Трамваи уже ходят.

После возвращения из океана Березов должен был Приступить к оперативному руководству всеми районами промысла в Атлантике, приняв это дело от Соломатина. Но он попросил не отвлекать его от того, что лишь одно по-настоящему захватывало его сейчас. Березов углубился в разработку дополнительных мер, предотвращающих несчастья в бурю. Это был его долг перед собой и людьми — сделать все, что позволяла новая техника, чтобы катастрофа в океане не повторилась.

И чем больше размышлял Березов, как бороться с ураганами, тем тверже убеждался, что повторением уже существующих строгих инструкций не обойтись. Следственная комиссия установила, что к авариям на «Коршуне» и на «Ладоге» привела нераспорядительность их капитанов. Бесспорность этого вывода никто бы не смог опровергнуть. А отсюда шло другое — и тоже неоспоримое: от капитанов, даже опытных, нужно требовать большей тщательности, того самого, что называется чувством ответственности.

Таков был окончательный вывод из анализа катастрофы. Но его было недостаточно. Березов подписал заключение комиссии — и больше о нем не думал. Трагедию нужно изучать глубже. Причины ее были сложней.

Да, размышлял Березов, и Доброхотов, и Никишин поступили легкомысленно, оставив на палубе плохо занайтовленные бочки. Но если бы крепление лючин было лучше, бочки перекатились бы через фальшборт, не принеся повреждения. И если бы на «Бирюзе» двигатель был не в триста сил, а больше, Карнович скорей подоспел бы в район катастрофы и спас весь экипаж «Ладоги». И будь у Карновича прожектора, вместо люстр, бросающих свет на 20—30 метров, он высветил бы море и ярче, и дальше. И уж, конечно, будь вместо одного спасателя два или три, крейсирующих в сгущении рыбацкого флота, вся картина событий стала бы иной. Тяжелая борьба со стихией осталась бы, трагедии не произошло. Мало требовать большей тщательности при штормовых предупреждениях, нужно усовершенствовать конструкции судов, усложнить организацию промысла — такой вывод сделал Березов.

Он понимал, что улучшить задрайку трюмов, смонтировать прожектора — сравнительно просто. Но поставить двигатели мощней, ввести в состав флота новые непромысловые суда — накладные расходы, скажут о них экономисты — нельзя без миллионных вложений. И «Океанрыба», и местные партийные органы его поддержат, но кто-то, возможно, и возмутится: обеспечиваете, мол, спокойную жизнь нерадивым капитанам!

Он познакомил со своим планом Соломатина, тот опасался также, поддержат ли их в министерстве: ведь речь пойдет об изменениях в конструкции судов, о новом усложнении промысла.

— Сначала уговорим Шалву Георгиевича, — предложил Березов. — Крепко надеюсь на твою поддержку, Сергей Нефедыч.

Березов попросил Кантеладзе обсудить его проект.

У стола сели Соломатин и Алексей, Березов докладывал стоя, Кантеладзе, по обыкновению, расхаживал по ковровой дорожке. И Алексей, и Соломатин знали содержание проекта. Для управляющего предложения были новы, он слушал сперва спокойно, потом лицо покраснело, глаза заблестели. Соломатин встревоженно посмотрел на Алексея. Алексей оставался спокойным, он лучше знал руководителя «Океанрыбы».

Когда Березов закончил, Кантеладзе обратился к Соломатину и Алексею:

— Слушайте, дорогие, вы этот проект читали, знаю. Теперь скажите — со всем согласны? Возражения имеете?

— Согласен со всем, — поспешно объявил Соломатин.

— Возражений у меня нет, — отозвался Алексей.

— Тогда слушайте мое мнение. Отличный план! То самое, что нужно. Пора, пора покончить с бессилием перед стихией. Такая техника, такие возможности, радио, локаторы, могучие машины... А задует ветерок, и человек — игрушка в бесновании бури. Чего все мы с вами стоим, если не способны обеспечить безопасность наших людей в океане? Не полную, нет, природа пока мощнее нас, но все, что сегодня можем, вот так!

Соломатин заметил, что будут споры, будет сопротивление. Кантеладзе махнул рукой.

— Обо всем спорим, везде сопротивление. Новая конструкция судна, новые приемы лова, освоение новых районов океана — думаешь, сразу соглашаются? Это же дополнительные деньги! Каждый новый миллион ассигнований — выпрашиваю, выбиваю, вытряхиваю, выщипываю!.. Ничего, справляемся. А здесь речь, о безопасности людей — думаешь, это плохой аргумент против сомневающихся?

Березов заметил, что на весеннем промысле в Северо-Западной Атлантике удастся осуществить только часть нововведений.

— Сколько б ни было, каждое принесет свою пользу. Теперь ответьте, кого пошлем руководить весенним промыслом? Давно просил подготовить кандидатуры, где они?

Соломатин подал описок. Управляющий быстро посмотрел его.

— Люди хорошие! Трофимовский, Новожилов, Петренко... А говорили с кем-нибудь? Мы намечаем, а человек может отказаться.

— Думаю, ни один не откажется.

— Я вот предложил одному хорошему капитану, Сергею Соломатину, знаешь такого? Ну, и что? Наотрез отказался.

— А вы предложите еще раз, — спокойно сказал Соломатин.

— Еще раз? Хорошо. Предлагаю! Что теперь ответишь?

— Скажу коротко: согласен!

Кантеладзе несколько секунд изумленно смотрел на него. Потом, захохотав, огрел его пятерней по плечу.

— Черт ты упрямый! Чтоб тебя все дьяволы взяли! Ох, и надавал бы я сейчас по твоей дурацкой шее!

Алексей поморщился.

— Шалва Георгиевич, зачем ругаться?

Управляющий радостно огрызнулся:

— Не агитируй! Я от пяток до лысины на макушке сто тысяч раз распропагандированный. И когда злюсь, не ругаюсь, а такой вежливый, что самому страшно. А сейчас буду ругаться! И ты не мешай!

Немного остыв, он осторожно поинтересовался:

— А как дома? Понимаешь, твоя Ольга Степановна...

— Она не возражает, чтобы я снова ушел в море.

Березов напомнил, что надо уточнить первоочередные мероприятия, суда вскоре начнут концентрироваться в Северо-Западной Атлантике. Обсуждение пошло чисто техническое. Алексей удалился к себе. В приемной сидел Кузьма. Он встал при появлении Алексея.

— Вызывали, Алексей Прокофьевич?

— Да, вызывал. Заходи.

В кабинете Алексей сердито сказал:

— Появился-таки! Три дня нет дома. Отец твой просил разыскать тебя и разузнать, куда подевался. Пришлось послать требование на судно, чтобы явился сюда. Где прохлаждался?

— Не прохлаждался, а подогревался. У сердечного приятеля Сеньки Ходора гощу.

— Сколько знаю, его в море по-прежнему не выпускают?

— В береговых командах подмолачивает. На хлеб с колбасой ему хватает. На остальное я добавил.

— Все три дня кутил?

— Чадил помаленьку. Убивал свободное время.

— Не одно свое, но и казенное. Капитан сообщил, что одну вахту ты пропустил.

— Что потратил казенного, отвечу. Долгов не зажму. Алексей помолчал перед новым вопросом:

— У Алевтины был?

Кузьма, вспыхнув, ответил со злостью:

— Зачем вызывали, Алексей Прокофьевич? Насчет Лины — каше личное дело. А если о прогуле, то мелковато для этого кабинета. Беспартийного матроса таскают в партком!..

Алексей спокойно сказал:

— Ты прав, Кузьма. И если бы ты явился домой, поговорили бы там, а не здесь. Все-таки столько лет добрыми соседями были. Поставим на этом точку. Зайди к Сергею Нефедычу. Он твой бывший капитан, у него тоже к тебе имеются вопросы.

Кузьма не шевельнулся.

— Не пойду...

— Почему так?

— Пять лет с ним плавали. Он обо мне одно хорошее высказывал. Еще объявит, что теперь по-другому оценивает... Лучше уж с вами.

— Значит, продолжаем беседу?. — Да уж так получается.

— Не одного меня, всех ты нас беспокоишь. Перестал интересоваться семьей. Раньше такого поведения у тебя не замечалось.

Кузьма хмуро ответил:

— Что семью интересует, все выполнил.

— Что ты имеешь в виду?

— Вчера послал Лине с верным человеком всю получку за два рейса. Полностью перекрыл потерянные деньги, еще столько же добавил заработанных за повторный рейс.

Алексей холодно спросил:

— Она поблагодарила? Кузьма опустил голову.

— Не взяла... Велела [передать, что если по почте пошлю, тоже возвратит.

— Не взяла! И как ты это толкуешь!

— Ни любви, ни уважения ко мне...

— Любовь, ты сам сказал — ваше личное... А что до уважения, то за что тебя уважать? Почему не ответил на последние радиограммы? Чуть до болезни не довел родных своей молчанкой. Придумал же такой метод издевательства!

— Мало я потрудился, стало быть, раз не за что уважать? — с обидой опросил Кузьма.

— Мы с тобой однажды уже разъясняли этот вопрос. Как раз перед твоим уходом на «Бирюзе». Ты требуешь, чтобы тебе в ножки кланялись за твой труд. А как тогда с равенством будет?

Кузьма ответил с вызовом:

— В жизни везде неравенство. Тот — начальник, этот — подчиненный, один работяга, второй — лодырь, кто-то трудовой герой, а кто-то тунеядец. А раз так, то хочу быть сверху, а не снизу.

— Интересная жизненная философия!

— Какая ни есть, а не опровергнете! Разве не по работе... — Бык больше тебя наработает.

— Быков тоже ценят.

— Ценят — да. Ты же требуешь не цены, а высокого человеческого уважения. И почет, которого ты домогаешься от людей, нужен тебе, чтобы подминать их под себя. Ты эксплуататор своего трудового почета, вот ты кто!

— Эксплуататоров у нас давно — тю-тю!

— Конечно, нету неандертальцев, которые тащат за волосы соседа в свою пещеру. Или князей, которые кичились голубой кровью. Или богатеев, давивших тяжестью золотого мешка. Все эти грубые формы угнетения человека — сила, титулы, богатство — истреблены у нас. Зато люди, мечтающие покуражиться — а ты из таких, — нередко, очень нередко используют свои достоинства во вред другим.

— Вас огорчает, что для эксплуататоров своего почета нет статьи?

— Радует! Не дай бог, если бы такие тонкие дела решались статьями. Но и помириться с теми, кто унижает других, чтобы возвеличить себя, нет, ни один честный человек с этим не примирится. Хочешь знать правду? Твой индивидуальный интенсивный труд с общественной точки зрения — непроизводителен.

— Вот это новость!

— Очень жаль, что для тебя это новость. А ведь ты учил в школе, что по Марксу производительный труд — это такой труд, который укрепляет и развивает общество. Мы строим коммунизм — и материальное благополучие и новые, благородные отношения между людьми. Разве не записано в главном документе нашей эпохи: человек человеку — друг, товарищ и брат! Материальное благополучие твой труд увеличивает. Это хорошо. А дружеские взаимоотношения, коммунистическую психологию?.. Это он развивает? Вот почему я говорю — труд твой можно ценить. Но собственное твое отношение к своему труду — нет, оно не вызывает уважения!

Кузьма покачивал головой.

— Эксплуататор трудового почета! Хитро заверчено! — Он помолчал. — Раз уж коснулось насчет Лины... Неладно все обернулось. На пристань встречать не пришла. Денег не приняла. Разводом грозится. Не хочет меня видеть...

— А ты приди к ней сам, узнаешь, хочет ли тебя видеть?

— А если прогонит? Прогнала же друга, что принес ей деньги!

— Один раз прогонит, иди в другой. Ты ей муж, отец ее ребенка. И ты ее обидел — не забывай об этом.

— Не знаю, не знаю...

— Думай, что делать. И возвращайся домой от своего Ходора. И лучше — с Алевтиной и ребенком. А теперь извини — дела.

Кузьма встал, хотел что-то сказать, но, раздумав, молча вышел.

15

Луконин вернулся в Светломорск в марте. План большого поиска в океане был разработан в деталях, надо было его осуществлять. Морозильный траулер «Чехов» должен был появиться в порту в апреле, в отряд, кроме него, входили суда поменьше. Луконин пошел к Соломатину согласовывать оперативные вопросы и узнал, что Сергей Нефедович, возглавив промысел в Северо-Западной Атлантике, ушел туда на «Тунце».

— Ищу нового заместителя, дорогой Василий Васильевич, — со вздохом сказал Кантеладзе. — Такой хороший был зам, все знал, все понимал. Но душа рвалась в морскую даль, пришлось посчитаться с требованием его души.

— Нового заместителя найдете, — сказал Луконин. — Свято место пусто не бывает.

— Какая же святость? Очень беспокойное местечко — зам. Хорошего моряка сюда надо. Вы не пойдете, Василий Васильевич?

Луконин только насмешливо улыбнулся. Иного ответа Кантеладзе и не ждал. И оценив значение улыбки всегда серьезного капитана, Кантеладзе рассмеялся, словно сам сказал что-то очень смешное.

— Идите к Березову. Оперативное руководство промыслом опять вручили ему..

У Березова Луконин попросил, чтобы ему передали целиком команду «Бирюзы» вместе с ее капитаном, она составит костяк экипажа «Чехова». Остальные суда промысловой экспедиции Луконин согласился комплектовать обычным порядком, постепенно подбирая моряков из тех, кто уже не раз ходил в море, — рейс предстоит дальний и долгий, понадобиться побывать в разных климатических районах. С Карновичем разговор был простой, тот с восторгом принял предложение командовать «Чеховым». А чтобы не терять времени, пока в порт прибудет новый траулер и в отделе кадров подберут экипажи на другие суда, Карнович согласился сделать короткий выход в Балтику и Северное море. Начиналась весенняя путина, вылов той самой салаки, «проклятой рыбешки», которая в прошлом году вызывала такое негодование у молодого капитана. Сейчас он говорил о «салачном рейсе» с ликованием, а Шарутин, разделявший радость своего друга, даже написал стих о «салачке и корюшке, нежной и тонкой, пахнущей зеленым огурчиком» и читал новое творение всем знакомым.

«Салачный рейс» продолжался около месяца. Получив радиограмму, что в Светломорске ошвартовался «Чехов», Карнович помчался из Северного моря в порт. Здесь экипаж «Бирюзы» распрощался со своим судном и перешел на новый траулер. В солнечное весеннее утро Алексей поднялся на палубу «Чехова». Причал был усеян людьми, любовавшимися изящным теплоходом. Восхищаться было чем, мировое судостроение создало, наконец, давно обещанный образец судна автономного плавания для дальних промысловых рейсов: морозильный траулер «Чехов» превосходил другие рыболовные суда и скоростью хода, и остойчивостью, и механизацией добычи, и быстротой замораживания рыбы, и емкостью трюмов и — что было немаловажно для жизни на нем — удобством внутренних планировок.

— Начальник экспедиции на борту? — спросил Алексей вахтенного у трапа.

— У себя, — ответил тот. Луконин писал за столом.

— Поглядим судно, — предложил он, Поднимаясь.

Луконин провел Алексея по внутренним помещениям, показывал рефрижераторное хозяйство, лаборатории, три рубки — ходовую, штурманскую, радиорубку, — вычислительный центр, с электронной вычислительной машиной, кинозал, библиотеку.

В ходовой рубке Алексей поздоровался с Красновым.

— Вечный старпом, — пошутил Алексей. — А мог бы, Илья Матвеевич, и самостоятельно взять траулер.

Краснов усмехнулся. Он был хороший работник, но не любил первых ролей.

— Лучше помощником на таком судне с Карновичем, чем капитаном на маленьком СРТ.

По переходам нижней палубы, освещенным лампами дневного света, шел Куржак с Кузьмой. У старого рыбака был восхищенный, почти растроганный вид.

— Моряк с помещениями знакомит. — Он показал на Кузьму. — Дворец! Картины, зеркала, сияние... А каюты? И дома об этих удобствах не мечтать! Лина вчера была, сказала: вот бы нам на берегу такую квартирку! Рано я родился, рано! — сказал он грустно. — Был бы помоложе, образования бы набрал, все бы океаны исходил!

— Все не исходим, а из Атлантики, вроде бы, пойдем в Индийский, — сказал Кузьма. — Так ведь, Василий Васильевич?

Луконин подтвердил, что по рейсовому заданию выйти на месяц и в Индийский океан придется.

В просторной — из двух комнат — каюте капитана сидели Карнович, Шарутин и Дина.

— Каюта у вас получше, чем у начальника экспедиции, — заметил Алексей, оглядываясь. В ней были и диваны, и кресла, и шкафы, и холодильник, а на переборках висели картины и несколько приборов, дублирующих основные указатели ходовой рубки...

— Каюта отличная. Товарищ буфетчица, — строго сказал Карнович Дине, — прошу приступить к исполнению своих обязанностей. Принесите нам кофе и булочек. Десять минут на приготовление.

Дина, вспыхнув, хотела сказать что-то резкое, но смолчала и вышла.

Алексей вскоре уехал из порта. Во второй половине дня Луконин пришел в «Океанрыбу». В приемной секретарша поспешно поднялась, когда он направился к двери Березова. Луконин с удивлением спросил:

— К Николаю Николаевичу нельзя? Секретарша, поколебавшись, опять села.

— Он просил его не отвлекать. Думаю, к вам это не относится, Василий Васильевич.

Луконин приоткрыл дверь, просунул только голову. Березов стоял перед большой картой Северной Атлантики.

— А, ты! — сказал он и отошел от карты.

Березов сел за стол, положил на него руки, выжидающе посмотрел на Луконина. Он казался больным — глаза лихорадочно блестели, на щеках разлился румянец. Вчера у них на судне Березов выглядел по-иному — и шутил, и смеялся, и произнес горячую речь об открывшейся новой главе в истории океанского промысла. Луконин вытащил из портфеля блокнот, разложил на столе карты Юго-Западной Атлантики. Березов безучастно следил за его приготовлениями. Луконин спросил, не начиная доклада:

— Не температуришь? Может быть, я не вовремя...

— Нет, все в порядке, — прервал Березов. — Скоро конец рабочего дня, никто не будет мешать. Давай свои соображения.

Луконин заговорил о готовящемся рейсе — как пройдет промысел сардины, тунца, марлина, нототении и других перспективных рыб, что требуется разведать, какие перспективы в новых районах мирового океана. Березов вдруг остановил Луконина и набрал номер телефона.

— Почему нет сообщений? — сердито прокричал он в трубку. — Каждые полчаса приказывал... Двадцать минут прошло?.. Сообщи, что нового за двадцать минут!

Теперь Березов слушал Луконина внимательней. Он уточнял цифры, задумался, когда Луконин заговорил, что нельзя, не изучив воспроизводства сардины, форсировать ее добычу.

— Резон здесь есть, — сказал Березов. — Превращать деликатесную рыбу в массовую продукцию — нерационально, независимо даже от состояния стада. Но понимаешь, в классических сельдяных районах уловы катятся вниз. Столетия черпали селедку между Норвегией и Гренландией — и поредело стадо! А людям есть-то надо!

Луконин стал спорить. Березов остановил его, снова набрал номер, снова напряженно что-то выслушивал. Луконин посмотрел на часы — между двумя звонками прошло пятнадцать минут.

— Что-нибудь там? — Луконин кивнул на карту Атлантики.

— Ураган. Вроде того... Соломатин два раза в час радирует, как штормуется.

— Давно начался?

— Штормовое предупреждение передали два дня назад. Неожиданности на этот раз не было. А забушевал к вечеру, у нас середина ночи шла.

— И как?..

— Три порядка сетей порвало, на одном СРТ мачту повалило, на другом шлюпку снесло. Никишин вышвырнул в пучину полсотню бочек, у Бродиса смыло уложенные сети, у Петренко разнесло два стекла в рубке — забили досками. В остальном — все суда держат на волну, о больших авариях сообщений нет.

— Перспектива?

— Сатанеет Нептун. Меня вызвали в два ночи, с того момента ветер непрерывно усиливается. Метров около сорока в секунду...

Район промысла охватывал сотни квадратных километров.

Луконин смотрел на карту, но видел бушующий океан, слышал рев ветра, ему вдруг почудилось, что пол в кабинете кренится, как палуба. Он знал, что и Березов видит те же картины, слышит тот же шум.

— Полдень у них. Все же легче при свете!

— Да, полдень. Легче, конечно, — эхом откликнулся Березов. Он помолчал. — Усиливается, вот что тревожит. Долгий, долгий спектакль поставил старик Нептун... А Сергей Нефедыч еще успокаивает, вредный человек — не волнуйтесь, мол, у нас все в порядке!

— Я пойду, — сказал Луконин, убирая документы в портфель.

— А может, здесь набросаешь предложения и запросы по рейсу? Вчера ты много дельного высказывал, лучше бы это зафиксировать.

— Ну, конечно. У тебя подготовить доклад удобнее, — поспешно сказал Луконин. — В случае чего, сразу уточним формулировки.

Он снова расстелил карты, разложил бумаги. Березов вставал из-за стола, прохаживался по кабинету, останавливался перед картой, снова садился за стол, хватал, не дождавшись оговоренных полчаса, трубку телефона и требовал сообщений, как штормуют суда.

Вскоре Луконин, поглядывавший на Березова, уловил закономерность в его действиях. После каждого разговора с диспетчером Березов оживлялся, начинал ходить, спрашивал и отвечал, оживление продолжалось минут десять, потом движения Березова замедлялись, он становился рассеянным, погружался в кресло, закрывал глаза, молчание тянулось минуты три-четыре, и, словно подтолкнутый в спину, Березов вдруг хватал телефон, раздраженно допытывался, почему его вовремя не информируют о положении в океане. Перед Березовым на столе тоже были бумаги, Луконин не сомневался, что многие срочные, — несрочные лежат в папках, а не раскладываются по столу — но ни одной Березов не брал. Его ни на что сейчас не хватало, кроме того, что совершалось в Атлантике.

В десять часов вечера, после очередного сообщения диспетчера, Березов с отчаянием выругался. Ругался Березов так редко, что Луконин в испуге вскочил.

— Нет, все по-прежнему, — сказал Березов. — Вот эта и бесит! Сутки бушует — давление не повышается, ветер не слабеет. С ума сойти!

По осунувшемуся лицу Березова Луконин видел, что нервы его на исходе. Луконин заметил, что ураган на сутки не в новинку, случалось и подольше. И еще никогда светломорские флотилии не были так хорошо подготовлены. Сам Березов столько сил отдавал укреплению безопасности на промысле... И радиограммы Соломатина столь спокойны...

— Да, да, — сказал Березов. — Все так. Но кончится он когда-нибудь или нет, вот что скажи!

— Ты давно ел? Пойдем в столовую. Я бы подзакусил.

Березов безнадежно махнул рукой. Столовые давно закрыты, в рестораны идти не время. Луконин решил наведаться к себе на «Чехов», там в буфете можно чего-нибудь раздобыть. Он вышел, когда Березов снова звонил диспетчеру.

Давление не поднималось, ураган не ослабевал, суда держали носом на волну. Американцы сообщили, что направление циклона меняется, раньше он топтался на одном месте, медленно смещаясь на юг, сейчас устремляется на восток. Англичане и скандинавы послали штормовые предупреждения судам, забеспокоились западные немцы и датчане. Березов вздохнул с облегчением. Много горя еще принесет новая катастрофа, разразившаяся в атмосфере, но его судам станет легче. Если до того, как этот зверь умчится, не произойдет несчастья, поправил он себя.

Он закрыл глаза, покачивался в кресле, размышлял. Зверь, именуемый циклоном, был чудовищно велик. На акватории, где он кружился вокруг собственной оси, свободно уместится и Англия со Скандинавией, и обе Германии, и Франция в придачу. Его морда уже нацеливает клыки на Европу, а задние ноги еще взметают океан у Нью-Фаундленда, таков он. Даже убегая, он скоро не даст покоя судам, им еще много часов бороться с бурей. Самые опасные, часы борьбы с бурей — последние. Слабеют силы урагана, но слабеют и силы противодействия. Законы борьбы одинаковы и на войне, и в природе — слабейший уступает не сразу, он может вначале успешно сопротивляться. Все может быть, все может случиться!

Березов вызвал диспетчера. В районе промысла изменений нет, смещение циклона на восток усиливается, суда в Северном море бросаются в укрытие, московский институт прогнозов послал штормовые предупреждения балтийским портам и пароходствам.

— Днем забушует и у нас, — сказал диспетчер. — Я предупредил все пристани и суда: срочно готовиться к буре.

Итак, скоро конец. Теперь циклон не изменит направления, пока не дорвется до Урала, только за Уралом, в казахских степях, он иссякнет так же вдруг, как вдруг зародился возле Лабрадора. Березов подошел к карте. Почти сто точек усеивали ее, возле каждой стоял номер или название. Он смотрел на точки и видел суда, их капитанов, прильнувших к стеклам рубок, старпомов, боцманов, штурманов, стармехов... Суда были стандартных серий, но он узнавал каждое по облику, рожденному не конструкцией, а характером. Суда были своеобразны, как люди, были с норовом, веселые и мрачные, быстрые и замедленные, одни лихо шли на волну, другие напрягались каждым шпангоутом, содрогались каждой переборкой... Он видел их порознь, видел всех вместе — тяжко, вторые сутки бедуют, ни одно пока не подставило бока ветру, каждое рвется грудью на ураган, только так, только так...

— Где же Василий? — рассеянно пробормотал Березов. — Запропастился, охламон!

Он возвратился в кресло. Вот так же он сидел когда-то в кресле, а на всех сторонах буря швыряла его суда. Нет, тогда он руководил сражением, сейчас, наблюдает его со стороны. Тогда он сражался и был сражен, на него потом показывали пальцами, чуть к ответственности не привлекли. Теперь он сам сможет ткнуть в кого-то пальцем, привлечь к ответственности, высечь строгим выговором. Легче тебе от этого? Мне не легче, нет, даже тяжелее, так я тебе скажу, Березов. Раньше ты был подобен бойцу, на которого навалился враг, — надо от врага отбиться, устоять под его нажимом. А сейчас ты — конструктор, испытывают твое оружие. Ты лучше всех знаешь, каков враг, у тебя было время подготовиться против него, тебе дали в руки все материальные средства борьбы, все, что ты требовал, удовлетворено — вон там буря экзаменует тебя: как еще ты выдержишь экзамен!

На этот раз диспетчер позвонил раньше, чем вызвал Березов. Метеостанция Галифакса передала, что у Гренландии устанавливается спокойствие, с промысла радируют, что давление медленно повышается, ветер не ослабевает, волна такая же. Европейские радиостанции сообщают о начавшейся в Северном море буре.

— Вот и я! — Луконин вошел с пакетом. — Что нового?

— Южнее Гренландии — отдых, у Ирландии — бушует, в Северном море — началось. На промысле — без изменений.

— Аварий нет?

— Пока не сообщают.

Луконин развернул пакет. В нем была бутылка коньяка, ветчина и хлеб. Оживившийся Березов сказал:

— Отлично! Делай бутерброды и разливай поскорей, я еще побеспокою диспетчера. — Он взял трубку. Луконин вопросительно смотрел на Березова, держа в руках нож и хлеб. Березов положил трубку. — Наконец-то! Ветер спадает! К ночи, по всему, успокоится. Соломатин с утра обещает возобновить промысел. Флагманы флотилий уже намечают, кому в каких квадратах действовать. Ты что же тянешь? Хочешь голодом меня уморить?

— Через пять минут все будет готово!

Луконин нарезал ветчину и хлеб, налил по полстаканчику коньяку.

— Начинаем, — весело сказал он.

Березов не откликнулся. Он спал в кресле. Лицо его медленно менялось. Оно словно выпрямлялось и выглаживалось — стиралась усталость, подтягивались обрюзгшие было щеки. Оно уже не казалось больным, в него возвращались прежние, обычные у Березова, энергичные, четкие линии.

Луконин набрал номер диспетчера.

— Говорит Луконин. Если понадоблюсь, я в кабинете Березова.

Луконин раскрыл окно. Березов не шелохнулся. Луконин высунул голову, его охватило ветром. В проводах протяжно гудело. Траулеры, в три линии стоявшие у причала, толкались бортами, по морскому каналу бежала рябь.

Буря, еще не покинувшая Ирландии, приближалась к Светломорску.

16

Степан не захотел «идти по салаку», а после салачной путины — в долгий океанский рейс. Он перевелся на траулер, уходящий в Северо-Западную Атлантику. «Вы — за приключениями и океанскими диковинками, а я — за рублем подлинней» — грубо отвечал он тем, кто допытывался, почему он покидает команду, с которой сжился.

Лишь с Мишей Степан разговаривал откровенней. Боцман пригласил Мишу к себе и «раскрыл душу».

— Не вышел мой план насчет Лины, — признался он. — По-прежнему влюблена в своего Кузю — и слышать ни о ком другом не хочет. Кузьма еще в море, Лина грозит разводом, а придет муженек — кинется ему на шею. Любовь зла, точно старики говорили.

— Кузьма — шебутной, вспыльчивый, но человек хороший, — защитил Миша приятеля.

Степан хмуро махнул рукой.

— Какое это теперь имеет значение — хороший он или плохой? Лина с ним не расстанется — вот единственно важное для меня. Отсюда вывод — хватит надеяться на невозможное. Мне за тридцать перевалило, пора и об устройстве семьи подумать. Имею твердый план насчет этого. И буду тот план в дело превращать.

Степан деловито объяснил Мише, в чем его «план». Раньше он, боцман Степан Беленький, гонялся за великой любовью. Великой любви не вышло, придется помириться на привязанностях поменьше. Женщин неплохих — много. И за него пойдут охотно — не стар, не уродлив, не алкаш, зарабатывает прилично, мужем и отцом будет верным. Чего еще желать? Одного он боится — не дать бы самому промашки. Поспешишь, такую подберешь подругу, что век потом каяться. Все женщины при коротком знакомстве показывают себя с лучшей стороны, ни одна напрямик не скажет: «Я злая, придирчивая, ленивая, неряшливая, буду тебя каждый час пилить и корить, ни любви, ни верности не обещаю». Стало быть, надо получше присмотреться, потом лишь решаться на брак. При таком намерении уходить ему в долгие рейсы нет охоты. Три месяца в море, месяц на берегу! За месяц, за другой можно разглядеть, что за человек с тобой в кино и на гулянье под ручку ходит.

— В общем, вернешься из своего дальнего рейса, сразу же заявляйся ко мне на новую квартиру, Миша. Жена моя тебе понравится, обещаю. Кто она, еще не знаю, но что подберу хорошую, не сомневайся. На всю ведь жизнь — тут уж постараюсь!

Степан посмеивался, излагая свой «план», но Миша понимал, что на душе у него скребут кошки. Еще недавно его просто невозможно было увидеть хмурым, он каждому дружелюбно улыбался широким, розовым лицом. Сейчас он легко впадал в задумчивость, лицо его при этом становилось недобрым. Когда он был в таком состоянии, его старались не трогать, он раздражался. Это тоже было новое, Степан раньше удивлял всех неизменной уравновешенностью.

Миша проводил Степана на новое судно, встретил в гавани Тимофея. Китобойная флотилия уходила в южные моря летом, Тимофей усердно «набирался морской выучки»: делал короткие рейсы в Балтику, попал в шторм — и уцелел.

— Волны были — ужас! Трясло на шесть баллов, так сказал наш боцман, — радостно делился впечатлениями Тимофей. — Меня всего выворачивало, голова мутная, шагу сделать не могу! Но вытерпел! Боцман сказал — выломается из тебя настоящий рыбак! Не врал, как думаешь?

Мише, пережившему великую бурю, шторм на шесть баллов казался вполне приличной погодой. Но он успокоил Тимофея: самый страшный шторм — первый. Если вынес знакомство с весенней непогодой, и осенние ураганы будут уже не страшны.

После «салачного рейса» Миша распрощался с «Бирюзой» и переселился в двухместную каюту на «Чехов». Вторым жильцом стал Кузьма, он вернулся наконец на берег и — как предсказывал Степан — помирился с Алевтиной.

Накануне отхода Миша посетил Анну Игнатьевну в новой квартире.

Он готовился к новой встрече с Анной Игнатьевной давно, но все не мог решиться постучать в ее дверь. Несколько раз он подходил к пятиэтажному дому, где она теперь жила, но постояв в парадном, уходил назад. Больше откладывать встречу было нельзя. Ему хотелось только, чтобы Анна Игнатьевна была одна, в присутствии дочери искреннего разговора могло не получиться. Миша, посетив Юру в больнице, встретил там Варю. Она, видимо, не поняла, почему он так внимательно ее разглядывает, она нахмурилась. Миша узнал, что Варя занимается во второй смене, уроки кончаются к вечеру, и к Юре она ходит сразу из школы. Он прикинул про себя — Анна Игнатьевна возвращается домой часов в пять, до прихода Вари остается часа два-три — вполне хватит поговорить по душам.

На всякий случай он подошел к дому Анны Игнатьевны пораньше, скрылся в парадном такого же пятиэтажного дома, стоявшего напротив, увидел, как Анна Игнатьевна прошла к себе, постоял еще немного, потом поднялся на третий этаж и постучал в ее дверь.

Она открыла и, пораженная, молча смотрела на него.

— Пришел проститься, — сказал он поспешно. — Ухожу на полгода в океан, хотелось бы сказать несколько слов перед расставанием.

— Входите, Миша. — Она пропустила его вперед, закрыла дверь.

Он сел у завешенного окна, Анна Игнатьевна пододвинула свой стул к столу, положила на стол руки. Она переменилась, уже не казалась такой красивой, какой явилась ему в первый раз. У нее было утомленное лицо, она дышала, словно не могла преодолеть большой усталости. Вероятно, она и впрямь возвратилась усталой, к тому же волновалась. Ему было все равно, как она выглядит. Когда-то он делил женщин на уродливых, нормальных и красивых. Сейчас было важно одно: Анна Игнатьевна — та единственная женщина, которая дорога, остальные оставляют его безучастным. Он знал это, когда шел к ней. Он еще сильней убедился в этом, увидев ее. Именно так и надо объявить ей перед расставанием. Но он не был уверен, найдутся ли нужные слова, чтобы открыться ей. В прошлую их встречу он говорил плохо, не о том, что было нужно, не так, как было нужно. Нужно ее убедить, а он только вызывал в ней сопротивление.

Она помогла ему:

— О чем же мы будем говорить, Миша? Опять выяснять отношения? И не надоело?

— Объясниться хочу, а не выяснять отношения. О себе скажу, а потом уйду.

И он повторил, что любит ее, теперь это ему ясней, чем когда-либо раньше. И что если она согласится стать его женой, он будет счастлив. Он познакомился с Варей в палате у Юры, девочка ему понравилась, он станет ей добрым отцом, обещание это твердо. Вот и все, что он хочет сказать. И пусть она ничего пока не отвечает. Он придет за ответом через полгода. У нее будет достаточно времени поразмыслить над его словами, разобраться без спешки в собственных желаниях.

Она слушала его, смотрела на него, удивлялась ему. Он говорил о том же, почти теми же словами, что и три месяца назад. Но эти прежние слова говорил другой человек — и от этого они звучали по-иному. В старой ее квартире с ней беседовал порывистый, вспыльчивый парень, тот раздражался от любого несогласия, приходил в гнев от неудачи. Сейчас у окна сидел сдержанный, вежливый мужчина, чувство, в котором он опять признавался, было уже не юношеским увлечением, быстро вспыхнувшей, непрочной страстью, это была серьезная привязанность серьезного человека. И он не просил немедленного ответа. Она растерялась, не знала, что говорить. Надо было разобраться в себе самой, прежде чем отвечать. Он встал и протянул руку.

— До свидания, Анна Игнатьевна. Через шесть месяцев встретимся.

Она слабо ответила на его крепкое пожатье. Он торопливо пошел к двери. В прихожей она с усилием улыбнулась.

— Что пожелать вам на дорогу, Миша? Ни пуха, ни пера?

— Рыбакам говорят: ни хвоста, ни плавника, — пошутил он. Она прикрыла за ним дверь, минуту постояла у двери. Она слышала, как Миша спускался вниз. До нее доносились твердые, неторопливые, четкие шаги. Даже ходил теперь Миша по-другому. Она вздохнула, возвратилась в комнату, подошла к окну. Миша подходил к повороту на уже проложенную, но еще не заасфальтированную улицу. Он не оборачивался. Через несколько секунд его уже не стало видно.

17

Наступил радостный день, когда Тышковский разрешил взять Юру из больницы. Радость была грустна — Юра передвигался на костылях. Тышковский перед выпиской пригласил в свой кабинет Алексея.

— Хочу дать несколько наставлений вам.

— Почему мне, а не Марии?

— Ваша жена отличный врач, Алексей Прокофьевич. Я доверяю Марии Михайловне любые операции. Но в данном случае она — мать, и это осложняет дело. Материнская жалость часто мешает.

— А я отец, — напомнил Алексей. — И существует такая вещь, как отцовская жалость.

— Вы мужчина. И я всегда вас знал, как мужчину с ясным разумом и сильной волей. Так вот — окончательное выздоровление Юры зависит от него самого. Он должен много ходить. Без костылей! Это больно, так больно, что временами — непереносимо! Но если Юра не будет мучить себя, его нога останется искалеченной.

— И я должен терзать его жестокими упражнениями? — сумрачно спросил Алексей.

— Скрывайте свою боль за него. Юрочка — умный мальчик, он все понимает. И он — маленький герой, уверяю вас. Он так держался во время операции и перевязок... Он способен вынести такое, чего и от взрослого не всегда дождешься.

— А как с легкими? — спросил Алексей, помолчав.

— Отлично! Скоро Юра забудет, что у него было ранено легкое. Но нога, нога!..

Прокофий Семенович водил Юру в садик, возил в больницу на лечебную гимнастику и массаж, сам быстро научился массажировать больную ногу. Алексей, однако, видел, что отец дает поблажку внуку.

Раньше Алексей обедал в столовой, теперь стал приезжать в обед домой. В это время Юра гулял в садике. На костылях он двигался проворно, а без костылей ходил, держась за стену и почти не выпрямляя согнутой ноги. Прокофий Семенович поощрял внука возгласами:

— Крепче упирай руки! Руками прихватывай, руками!

Раза три Алексей молча наблюдал за упражнениями сына, а однажды сурово сказал:

— Плохо, Юра. Слишком осторожно.

Прокофий Семенович с обидой сказал:

— А как лучше? Нога-то болит. Юра со страхом смотрел на Алексея.

— Попробуй, сынок, — сказал Алексей. — Пройди до ближайшей яблоньки.

На первом же шаге Юра упал. Алексей поднял сына. Позади послышался грохот двери — Прокофий Семенович убежал в дом. Лицо Юры исказила боль, на лбу выступил пот. Алексей молча поддерживал его.

— Я попробую еще, — сказал Юра, отдышавшись.

На этот раз он какую-то долю секунды продержался на больной ноге. Алексей снова поднял его и дал отдышаться. Так, с помощью отца, Юра добрался до яблоньки. Здесь оба опустились на скамейку.

— Ты побледнел, папа, — сказал Юра. Алексей с усилием усмехнулся.

— И у тебя не розовые щеки, сынок. Они помолчали. Алексей спросил:

— Выдюжишь? Упражнение трудноватое! Юра печально смотрел в землю.

— Иначе не выздороветь, папа? Алексей облизнул пересохшие губы.

— Боюсь, что нет...

— Пойдем обратно к стенке, — сказал Юра, поднимаясь на здоровой ноге.

— На сегодня хватит, — сказал Алексей, когда Юра после нескольких падений добрался до костылей, приткнутых к стене.

Юра прижался головой к плечу отца.

— На обратном пути я падал меньше, ты заметил?

— Меньше. А скоро совсем перестанешь падать. И тогда будем избавляться от хромоты. И с ней тоже справимся!

— Я хочу делать эти упражнения с тобой, — попросил Юра. — Мама пугается, когда я припадаю на больную ногу... А на дедушку смотреть жалко. С тобой спокойней.

— Каждый день будем упражняться, — пообещал Алексей. — Даже не один раз, а два-три раза в день.

Он ушел после обеда в трест, Мария Михайловна — в больницу. Прокофий Семенович, убедившись, что внук сидит в большом кресле, а костыли прислонены к спинке кресла — только протянуть руку, чтобы взять их, — удалился в сад: шла весна, нужно было чистить землю от прошлогодних листьев, прививать одичавшим яблонькам хорошие черенки, высаживать розовые кусты. Иногда в помощь ему выходила Гавриловна, но она рано уходила за внучкой, а потом уделяла внимание только ей, а не саду. Прокофий Семенович не сетовал, уход за распускающимся садом все больше увлекал его.

Кресло стояло у книжного шкафа, в два ряда заполненного морской литературой. И кресло, и шкаф с книгами были подарком Елизаветы Ивановны. Те два месяца, что Юра провел в больнице, она твердо держалась обещания — не уезжать, пока мальчик не поправится. Юра выписался, занимался дома лечебными упражнениями, начатыми еще в больнице. Теперь у его постели уже не надо было дежурить. Елизавете Ивановне становилось все тоскливей в просторной, пустой квартире. Она попросила Ольгу Степановну свезти в комиссионный магазин все, что не смогла захватить с собой — коллекции и ценная мебель давно уже были в Севастополе, — а Юре подарила большое кресло, в котором любила сидеть, и шкаф с книгами, собранными Доброхотовым.

— Юрочка, Борис Андреевич сам их мало читал, но собирал усердно, — сказала она перед отъездом. — Сначала он готовил библиотеку для Павлика, а потом увидел, что пристрастилась к чтению я, и стал покупать книги для меня. Павлику они уже не нужны, а мне перечитывать их незачем. Тебе они пригодятся. Пусть они напоминают тебе, что мы все тебя очень любили. Пиши мне, Юрочка.

Так Юра стал обладателем собрания морских книг. Каждый день он рассматривал их, вынимал, ставил обратно. Далеко не все годились для чтения — книги были и на английском, и на немецком языке, и старинные издания, написанные труднопостигаемыми словами. Юра эти книги разместил в задний ряд, когда-нибудь он доберется и до них. А впереди, издали видные, стояли мемуары великих путешественников, рассказы о морских открытиях, описания морей и океанов, романы и повести о моряках... Утром, Юра готовил уроки и ждал друзей. Каждый день, после занятий, к нему приходили одноклассники. У них был разработан график посещений по одному, по два, чтобы не скапливаться в небольшой комнатке. Митя, лучший математик класса, приносил задания по алгебре и геометрии, и проверял, сошлись Ли с ответом уже сделанные Юрой уроки. Коля и Костя, два знаменитых в школе радиолюбителя — их самодельный приемник демонстрировали на областной школьной выставке знакомили Юру с материалами по физике, а однажды, притащив приборы, реостаты и провода, проделали с ним вместе практическое задание по электротехнике. Люба помогала учить биологию — у нее дома стояли два аквариума с рыбками, жили в закутке хомяки, на веранде росли в горшках и бочонках тропические растения, а один из кактусов так ярко расцвел в прошлом году, что его демонстрировали на городской выставке цветов. Маша, худенькая, молчаливая девочка, помогала по химии, она была из зубрилок и очень огорчалась, если у Юры не выходило по ответу, — он химию не любил, но чтобы не расстраивать Машу, старался учить получше. Бывали и другие одноклассники.

Но кто бы и как ни сменял другого, Варя Анпилогова приходила каждый день. У нее не было своего специального предмета, она помогала Юре по всем. Ему было неудобно, что она тратит на него так много времени ежедневно. Он сказал ей, что она может приходить, как другие ребята, — раз, два в неделю. Но она посмотрела с такой обидой, у нее так вдруг задрожали губы, что он поспешно поправился:

— Нет, я же это для тебя, а мне очень приятно, что ты каждый день приходишь! Приходи, пожалуйста.

Она успокоилась и продолжала являться ежедневно.

Когда ребята уходили, Прокофий Семенович приносил внуку обед.

После обеда наступило время для чтения морских книг.

Сегодня это была переводная повесть о хорошем, но плохо знавшем море человеке, случайно попавшем на судно, которым командовал жестокий капитан, пират по профессии, палач по натуре. И в повести описывалось, как слабосильный, мирный пассажир смело бросает вызов грозному капитану и в беспощадной борьбе с ним, тысячи раз сражаемый и избиваемый, но ни разу не укрощенный, добивается наконец победы над зверем в образе человека. А еще в повести были бури, штили, морские течения, ветры, дующие правильно по часовой стрелке, ветры, дико мечущиеся по всем тридцати двум румбам компаса... Юра положил книгу на колени, рассеянно глядел в окно. День был уже долгий, подошло к вечеру, но еще светило уходящее под землю солнце — красноватое сияние озаряло стволы деревьев. Из сада доносился стук топорика Прокофия Семеновича, дед обрубал лишние ветки. Печальные, не по-детски серьезные мысли полонили голову мальчика. Ему никогда не ходить по морю, не бороться с пассатами, не испытывать муссоны, не защищаться от тайфунов и циклонов, не посещать удивительные страны, не гулять по удивительным городам. Он инвалид — и, может быть, навсегда, если не найдет в себе силы восстановить здоровье. Как часто он слышал эти слова от отца: «От тебя одного теперь зависит, останешься ли ты хромым» — но еще ни разу так остро, так больно не ощущал их значения. И ему горячо хотелось побороться с самим собой, мужественно напасть на собственную болезнь, не отступать, какой бы трудной ни вышла борьба... Книга упала с колен на пол, Юра не заметил ее падения.

В комнату вошел Алексей, испытующе поглядел на сына:

— Как чувствуешь себя, Юра?

— Отлично, папа! — бодро ответил сын. — Я читал, хорошо отдохнул.

Алексей сказал, колеблясь:

— Как ты думаешь?.. Может, поупражняемся немного перед сном?

Сын поспешно схватил костыли.

— Я готов. Пойдем, папа!